



ГОЛОСЬ МИНУВШАГО

№ 2

1923 г.

Оглавление

	<i>Стр.</i>
1. А. А. Кизеветтер. Совестные суды при Екатерине II (окончание)	3
2. В. Гейман. Сумасшедший генерал-губернатор (быль)	35
3. П. Шванебах. Записка (1906 г.)	39
4. Ю. Кашкин. В гейдельбергском университете	43
5. С. М. Уездный город 100 лет назад (из воспом. А. И. Ишимовой)	47
6. Н. В. Сивков. Донесения раба и холопа помещику Ром. у. Яросл. губ.	51
7. И. П. Белоконский. Отрывки из воспоминаний	59
8. П. А. Антонов. Автобиография (с предисл. В. Н. Фигнер)	77
9. Л. М. Клейнборт. В. Г. Короленко	97
10. В. Н. Фигнер. Студенческие годы	125
11. Г. А. Лопатин. Письмо о беседе с Энгельсом о России	146
12. Б. Е. Сыроечковский. Шесть писем декабриста И. И. Горбачевского	149
13. А. Н. Хвостов. Из воспоминаний	161
14. В. Чешихин-Ветринский. Письма И. А. Gonчарова к В. П. Боткину	169
15. Памяти ушедших:	
Редакция. Е. Н. Водовоза-Семевская. Н. И. Кареев. Е. Н. Водовозова-Семевская. Ю. В. Гольте. А. Н. Савин	177
16. Мелочи прошлого:	
1) Стихотворение Г. А. Лопатина (34). Символический кабинет (49). К материалам для биографии М. А. Антоновича (58). Крестьянские мечтания о земле (124). Попытка арт. Сандиной нанять дачу (176).	
17. Портрет Е. Н. Водовозовой-Семевской (1898 г.)	

ГОЛОС МИНУВШЕГО

ЖУРНАЛ ИСТОРИИ и ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

(Год издания XI).

*Светлой памяти
В. И. Семевского*

№ 2

Март—Апрель

1923

Главлит. № 5843.

Москва.

Тираж 2000 экз.

Типография „Полиграфическое Искусство“, Крестовоздвиженский, 9.

Совестные суды при Екатерине II¹⁾.

VI.

Обширную категорию дел в составе компетенции совестных судов представляли дела по преступлениям, учиненным несовершеннолетними. Еще задолго до учреждения совестных судов, еще в 60-х годах XVIII столетия Екатерининское законодательство уделило серьезное внимание вопросу об ответственности несовершеннолетних по уголовным преступлениям. И тогда были уже установлены нормы, которыми затем руководствовались в своей деятельности и сами совестные суды. Однако, в 60-х годах XVIII ст. почему-то еще опасались открыто и гласно установить пониженную ответственность и облегченную уголовную репрессию для несовершеннолетних преступников и предпочитали подойти к этому вопросу путем секретных указов.

Так, 26 июня 1765 года вышел указ сената по Высочайше утвержденному докладу следующего содержания. Совершеннолетие по уголовным делам установлено было считать с 17-летнего возраста. О преступниках моложе 17 лет, которые по законам будут подлежать наказанию кнутом и смертной казни, повелевалось, не подвергая их пытке, докладывать Сенату. Тем из преступников моложе 17 лет, которые по законам будут подлежать телесному наказанию без смертной казни, заменять кнут и батоги, без представления Сенату — преступникам от 15 до 17 лет плетьми, а от 10 до 15 лет — розгами; тех же, кому отроду десять лет или менее того, просто отдавать родителям или помешнику и преступление, совершенное ими в малолетстве, впредь в подозрение им не числить. Этот указ воспрещено было предавать гласности, а повелевалось хранить в судах секретно²⁾. Когда затем в ноябре 1765 г. Алаторская Провинциальная Канцелярия, разобрав дело о 16-тилетнем экономическом крестьянине, изнасиловавшем и убившем 8-милетнюю девку, и присудив его к наказанию плетьми и вечной ссылке на Нерчинские заводы, в своем доношении о том Сенату подробно прописала указ 26 июня 1765 г., то Сенат сделал за это помянутой канцелярии выговор и разъяснил, что в доношениях нужно ограничиваться лишь упоминанием года и числа издания этого указа, который велено хранить в тайне, а отнюдь не прописывать его содержания; если же

¹⁾ См. „Голос Минувшего“, № 1 за 1923 г.

²⁾ Д. С. З. № 12424.

по обстоятельствам дела окажется совершенно необходимым изложить в доношении содержание этого указа, то в таком случае на пакете надлежит делать надпись: *секретно*¹).

Когда, с учреждением совестных судов, к их юрисдикции были отнесены также и дела по преступлениям несовершеннолетних, то при этом очевидно имелось в виду обеспечить для несовершеннолетних преступников более мягкие формы уголовной репрессии. Посмотрим же, в какой мере на практике достигалась эта цель по сравнению с тем, что было уже предустановлено в этом отношении указом 26 июня 1765 года.

Прежде всего заметим, что малолетство преступника (т.-е. согласно указу 1765 г. возраст моложе 17 лет) всегда вызывало то или иное смягчение судьбы его при постановлении приговора совестным судом. Но степени и пределы этого смягчения бывали различны.

В ряде случаев совестные суды находили возможным освобождать несовершеннолетнего преступника от всякого наказания. Я не причисляю сюда, конечно, тех случаев, когда подсудимый избегал наказания по недоказанности самого факта преступления. Относительно таких случаев замечу только, что совестные суды довольно тщательно учитывали те обстоятельства, которые могли возбудить сомнение в доказанности преступления, даже в таких делах, по которым, в духе того времени, к подсудимым вообще относились с наибольшою строгостью: я разумею дела по убийству помешников их дворовыми людьми. Характерный пример тому может представить дело, разбирающееся в 1778 г. в Псковском совестном суде о скоропостижной смерти помешника Елагина²).

Дело было начато разбирательством в Лугском уездном суде. И там установлено было подозрение в убийстве Елагина на его дворовых девок Пелагею, Акулину и Анисью. Так как им было от 14 до 17 лет, то по распоряжению Наместничьего Правления дело было передано в Псковский Совестный Суд. В предложении о том Наместничьего Правления был упомянут, между прочим, и указ 15 января 1765 года. Любопытно, что Псковский Совестный Суд, заслушав это предложение, записал в журнал: „так как содержание сего указа совестному суду неизвестно, то просить Наместничье Правление тот указ прислать в совестный суд“. Эта журнальная запись заслуживает внимания. Ее нужно иметь в виду для тех случаев, когда мы будем встречать в практике совестных судов отступления от норм, установленных помянутым указом. Такие отступления могли, следовательно, произтекать в иных случаях из простого незнакомства совестных судов с содержанием указа 15 января 1765 года. Однако, в делопроизводстве иных совестных судов находятся определенные указания на то, что им этот указ был известен и они прямо ссылаются иногда в своих приговорах на его постановления. Значит, могло быть и так, что отступления от этого указа вызывались порою и другими условиями.

¹) П. С. З. № 12510.

²) Дела Псковского совестного суда. В. I. Журнал от 2 окт., 16—17 ноября и 7 декабря 1778 г.

В данном случае этот указ, очевидно, был затем сообщен псковскому совестному суду из Наместничьего Правления, ибо в дальнейшей резолюции по тому же делу есть уже на него ссылка.

Основанием к возбуждению подозрения в том, что Елагин погиб насильственной смертью, послужил осмотр трупа, произведенный местными дворянами и церковнослужителями. Осмотр этот обнаружил на теле Елагина ряд знаков, которые были признаны осмотрщиками за следы насильственного нападения и борьбы: передавленная шея, избитая грудь, на правой руке перерезы в четырех местах, левый пах исцарапан, тайные уды и ствол тоже исцарапаны, а ядра и кожа в пяти местах разодраны. Однако, когда труп вторично был осмотрен, спустя известное время, заседателем Нижнего лугского суда, то заседатель, хотя и нашел все сходно с первым осмотром, но добавил, что утвердительно принять эти знаки за боевые нельзя. Священник, присутствовавший при обмытии тела, показал, что ран на теле не было, а был только след ушиба у правой брови и тайные уды исцарапаны. Звонарь, занимавшийся в усадьбе Елагина обучением крестьянских детей, показал, что у Елагина еще при жизни была ушиблена правая бровь, а на указательном персте правой руки имелась небольшая рана. Тайные уды при омытии тела оказались по показанию этого звонаря не исцарапанными, а почесанными.

Совестный суд признал, что в виду противоречивости всех этих показаний, на них утвердиться невозможно, и обратил внимание также на то, что для участия в осмотре трупа не был приглашен лекарь. Итак, самый факт насильственной смерти Елагина признан был неустановленным. Нужно сказать, что первобытные приемы осмотра трупа действительно давали основание для такого осторожно-благоприятного для подсудимых заключения суда. Впрочем, в деле имеется еще одна подробность, которая могла сыграть немаловажную роль в исходе данного процесса. К осмотру трупа были допущены жена и брат Елагина. Осмотрев труп, они дали отзыв, что Елагин по их мнению умер волею Божией. И суд в определении своем особо отметил, что от них „челобитья и доноса не поступало“. Более, чем вероятно, что жена и брат покойного вообще желали прекращения дела, которое могло раскрыть картину безнравственного поведения Елагина. И может быть, это-то именно обстоятельство и повлияло на решимость суда оправдать девушки за недоказанностью преступления, признав, что одно их нахождение в ночь, когда умер Елагин, в комнате, смежной со спальней Елагина, не составляет еще улики. Предполагаю так потому, что вообще в делах об убийстве помещиков крестьянами и дворовыми, суды того времени—в том числе и совестные—не были расположены к мягкости и к толкованиям обстоятельств дела в пользу подсудимых. Зато в таких делах, в которых не были замешаны социальные мотивы, совестные суды вообще обращали достаточно тщательное внимание на степень доказанности преступления. Приведу хотя бы следующий пример. Малолетний саратовский купеческий сын Тугов служил в приказиках у купца Петелина. За какие-то дела Тугов был посажен в острог. В остроге при нем оказалась книжка, принадлежащая Петелину! „Похождение г-жи графини“. Эту книжку Тугов

в остроге заложил одному колоднику за 20 коп. Петелин возбудил против Тугова дело в покраже книжки. Однако, Саратовский совестный суд, разобрав дело, постановил Тугова из под стражи освободить и отдать отцу под роспись, признав что факт покражи не доказан, так как Тугов мог взять книгу в острог не с целью присвоения ее себе, а только для чтения¹⁾.

Гораздо важнее для нас такие дела о несовершеннолетних, в которых преступление было признано доказанным, но тем не менее подсудимый все же был освобождаем от наказания. Малолетняя дворовая девка секунд-майора Барановского украла у своего господина 27 рублей и купила на них нарядов. Преступление было признано доказанным. Тем не менее Саратовский совестный суд, куда дело перешло из Камышинского уездного суда, постановил освободить девку от наказания. В основу такого решения были положены два мотива: 1) девка, купив наряды на украшенные деньги, принесла их в дом своего же господина, из чего суд усмотрел, что преступок совершен был по глупости вследствие малолетства и 2) из дела открылось, что господин подвергнул ее немилосердным побоям. Таким образом, здесь побои, претерпенные от господина, были ей зачтены в наказание по суду²⁾. Другой случай освобождения от наказания несовершеннолетнего преступника находим в деле, разобранном псковским совестным судом. В 1778 г. от поручицы Елены Козловой сбежала принадлежавшая ей вдова Катерина Васильева. Беглянку укрыл у себе крестьянин той же поместьи, Сидор Осипов. Затем Осипов удавил Васильеву и труп ее спустил в реку. При этом находился сын его Осип, которому шел тогда 13-й год. Преступление осталось необнаруженным, но через шесть лет Осип, уже по смерти своего отца, по собственному побуждению раскрыл дело властям. Торопецкий уездный суд привлек Осила к ответственности за то, что он не донес своевременно о преступлении отца.

Однако, псковский совестный суд признал нужным освободить Осила от наказания (ему грозило наказание кнутом), и выдвинув при этом следующие мотивы: 1) Осилю было в момент совершения его отцом преступления всего 13 лет, 2) он боялся отца, 3) уложение (гл. 22, ст. 5) не только воспрещает приносить извести на родителей, находящихся в живых, но еще устанавливает за такие извести телесное наказание и 4) прия в возраст и дождавшись, когда отец умер, Осип добровольно открыл все дело³⁾. Так, в обоих этих случаях не малолетство подсудимого само по себе вызывало отмену всякого наказания, а важные обстоятельства самого дела, дававшие суду основание к постановке оправдательного приговора. Малолетство преступника только побуждало обращать на такие обстоятельства сугубое внимание.

Впрочем, если в подобных случаях дело шло о малолетних господских людях, то иногда совестные суды хотя и не видели надобности присуждать подсудимых к наказанию по суду, тем не менее предоставляли

¹⁾ Саратовский уездный суд, в. 7. Журнал 1790 г. 20 августа.

²⁾ Ibid. Журнал 23 октября 1790 г.

³⁾ Псковский сов. суд, в. 5. Журнал 20 июня 1785 г.

самим господам подвергнуть виновного взысканию по собственному усмотрению. Примером тому может служить следующее дело. В доме тульского каменщика Киреева в 1781 г. произошел пожар. Киреев заявил в тульскую полицию, что несчастие произошло от поджога и поджигателем явился 12-летний мальчик Николаев, живущий у Киреева для обучения кафельному мастерству; это—дворовый человек помещика тульского уезда Данилова, отанный им в науку Кирееву на пять лет. Мальчик сознался в том, что, оставшись в доме Киреева один, он по неразумию и глупости взял из очага угольев и в черенке отнес их в сарай, подложил их там под солому, а сам ушел в мастерскую избу. Сарай через некоторое время загорелся, но пожар вскоре был потушен домашними средствами. Совестный суд в виду несовершеннолетия и чистосердечного признания Николаева постановил отдать его попрежнему в вотчину его помещика с роспискою, и приказать, чтобы помещик сам учил ему наказание соразмерно его проступку и имел бы над ним впредь смотрение¹⁾. В случаях, которые были изложены ранее, суд сверх малолетства преступника усматривал и некоторые дополнительные смягчающие вину обстоятельства и потому вовсе освобождал подсудимых от всякого наказания, но в данном деле суд отпускал Николаева без судебного наказания только по одному малолетству и потому наказать Николаева было предоставлено его господину.

Весьма часто совестные суды зачитывали малолетним преступникам в наказание продолжительное предварительное заключение. Так, наприм., в 1791 г. Саратовский суд разбирал дело о покраже 500 рублей у штаб-лекаря Меллера несовершеннолетним евреем Старантовичем, который чистосердечно признался в своем преступлении. Оказалось, что Старантович по этому делу уже с 1787 года, т. е. в течение четырех лет содержался под крепкою стражею, в ножных оковах. Именно ввиду этого суд и постановил зачесть ему в наказание (ему угрожало наказание кнутом) столь долговременное и тяжелое предварительное заключение²⁾. В данном случае поводом к такому решению послужила именно продолжительность и тяжесть заключения, несоразмерных с возрастом преступника и его проступком. В других случаях к зачету в наказание предварительного заключения совестные суды прибегали, принимая во внимание незначительность вины. Так, напр., в 1881 г., Псковскому совестному суду пришлось разбирать дело о двух малолетних крестьянских сыновьях Спиридоне и Степане Ивановых, обвинявшихся в корчесмстве. На поверку оказалось, что все их преступление сводилось к следующему. Сидели они дома одни, отец их куда-то уехал. К ним в дом заявился незнакомый им человек, сказавший, что он бегает от рекрутского набора, купил он в соседней деревне у дворцового крестьянина на 10 копеек корчесменного вина, но затем был пойман разъездом компанийских поверенных, которые и отобрали у него вино. Этот человек и послал двух названных мальчиков на лошади купить для него у корчесника вина. Ови, по малолетству не имея понятия о корчесменном уставе и не сознавая

¹⁾ Тульский сов. суд, в. 2, № 67.

²⁾ Саратовский сов. суд, в. 7. Журнал от 21 января 1791 г.

значения своего поступка, поехали, но также были захвачены компанейскими поверенными и во всем им признались. По уставу о винокурении 1765 г. они были бы повинны уплате пятирублевого штрафа, как попавшиеся в корчемстве в первый раз. Суду, конечно, было до очевидности ясно, что ни о каком корчемстве по отношению к этим двум младенцам не могло быть и речи. И вот, суд основался на том, что у подсудимых нет никакого собственного имущества для уплаты штрафных денег, отец же их, как находившийся в отсутствии, не имеет никакого отношения к данному делу. Потому и было решено зачесть Ивановым в наказание тюремное заключение в Острове и в Пскове¹⁾.

Приведу еще одно дело этого рода, заслуживающее внимания потому, что в нем разительно проявилось, насколько в иных случаях совестные суды смягчали соровую участь, которая без них угрожала бы несовершеннолетним преступникам. В новоржевском нижнем земском суде служил копиистом некий Матвеев, незаконнорожденный сын подъяческой дочери. В 1781 г. он,—имея тогда от роду 14 лет,—взял у торопецкого мещанина Чистовского шелковый платок ценою в 1 руб. 75 коп. под расписку с обязательством уплатить те деньги, но так как собственной его подписи для этого было бы недостаточно, то он подделал на расписке подпись секретаря Глазунова, так как ему часто приходилось подписываться под его руку. Новоржевский уездный суд глубоко-мысленно рассудил, что от Машнева, как от *приблудного сына*, „добра ожидать не можно“ и потому он подлежит строгой ответственности. По законам того времени Машневу угрожала бы за подлог подпись—на основании воинского артикула ни более ни менее, как смертная казнь, а по указу 1775 г.—вечная каторга. В виду несовершеннолетия Машнева дело его перешло в Псковский совестный суд и там принял совсем иной оборот. Совестный суд принял во внимание, во-первых, малолетство подсудимого, во-вторых, то обстоятельство, что Машнев решился на подлог, не сознавая всей важности преступления, из любви к матери, желая сделать ей подарок, и имея в виду уплатить те деньги из первой же получки жалованья. На всех этих основаниях совестный суд и постановил, зачесть Машневу в наказание его предварительное заключение в тюрьме с 19 мая того же года (приговор помечен 2 июля), даже разрешить ему вновь поступить на службу, только не по новоржевским присутственным местам²⁾. Мы имеем любопытное доказательство также и тому, что совестные суды иногда вникали и в другие подробности тех обстоятельств, в которых подсудимый находился до предъявления его совестному суду и извлекали из этих обстоятельств основания для смягчения участии подсудимого. Так, можем указать пример зачета малолетнему преступнику в наказание предварительного заключения во внимание к тому, что на предварительном дознании подсудимый был подвергнут *допросу с пристрастием*.

В имении помещика Наумова, в Гдовском уезде, малолетний крестьянский сын Родионов поджег дом старосты по злобе на старость за то, что

¹⁾ Псковский сов. суд, в. 2. Журнал 27 января 1781 г.

²⁾ Псковский сов. суд, в. 2 (bis). Журнал от 23 июня и 2 июля 1781 г.

тот бранил его за худую пастьбу. Псковский совестный суд постановил освободить Родионова от всякого наказания в виду долговременного содержания его под стражею и в виду того, что ему учинен был *пристрастный допрос* посредством *сечения прутьями*¹⁾.

Мне остается теперь рассмотреть те случаи, когда несовершеннолетние преступники присуждались совестными судами к тем или иным наказаниям. В какой мере и в силу каких условий малолетство приводило к облегчению их участия? Я различаю здесь, прежде всего, два ряда случаев. Во-первых, те дела, по которым смягчение наказания вызывалось не одним только малолетством преступника, но кроме того еще и какими-либо смягчающими вину обстоятельствами, сопровождавшими совершение преступного действия и во-вторых, — те дела, по которым смягчение наказания приходилось основывать на одном только малолетстве преступника. Остановлюсь сначала на делах первого рода.

По отношению к преступлениям не против жизни совестные суды прискивали признаки смягчающих обстоятельств, придавая довольно широкий смысл этому понятию. В одном деле, например, обвинялся 16-летний крестьянский сын Василий Макарьев в краже лошади у другого крестьянина. По Уложению (21 гл., 9 ст.) и воинским артикулам Макарьеву грозило бы телесное наказание. Кража была установлена и никаких обстоятельств, которые бы извиняли Макарьева, в деле не открылось. Тем не менее, суд счел возможным избавить Макарьева от телесного наказания. На основании одного только несовершеннолетия Макарьева сделать этого было бы нельзя, ибо указ 26 июня 1765 г. только облегчал для несовершеннолетних телесное наказание, но не освобождал их вполне от наказания на теле. И вот псковский совестный суд сверх малолетства Макарьева обратил внимание еще на *малоценность украденного* (украденную лошадь ценовщики Островского магistrата оценили всего в три рубля), а также и на то обстоятельство, что после привлечения Макарьева к суду лошадь была возвращена собственнику. На этих основаниях суд заменил Макарьеву телесное наказание отдачею в работный дом, где он должен был заработать стоимость украденной лошади и сверх того 6% в пользу рабочего дома²⁾.

Замена телесного наказания обязательными работами была тут произведена в виду того, что 16-летний возраст подсудимого давал ему возможность справиться с нетяжелыми работами. Но иногда легкая форма телесного наказания в интересах малолетнего подсудимого предпочиталась обязательным работам. В том же псковском совестном суде в 1784 г. было разобрано дело о покраже одиннадцатилетним крестьянским сыном у другого крестьянина ленты с золотым подзатыльником, шелкового пояса, бумажного платка и женской шапки из зеленого сукна, всего на сумму 1 р. 15 к. Согласно указу 3 апреля 1781 г. кража на сумму менее 20 руб. каралась отработкой в рабочем доме стоимости украденного. Но по осмотру подсудимого в присутствии совестного суда было найдено, что он при одиннад-

¹⁾ Псковский сов. суд, в. 1. Журнал 9 октября 1779 г.

²⁾ П. вязка 2 (bis). Журнал 28 июня 1783 г.

цати летнем возрасте имеет „весьма слабое сложение“, так что работы при работном доме вынести не может. И поэтому совестный суд приговорил его к наказанию при нижнем земском суде *лозами*. Это соответствовало указу 1765 г., по коему преступники в возрасте от 10 до 15 лет могли быть наказываемы на теле не паче, как розгами¹⁾. Переходя к более тяжким преступлениям, остановимся на одном деле о разбое, любопытном, между прочим, и в том отношении, что подсудимыми явились тут несовершеннолетние юноши и дворянского и крестьянского звания, совместно учинившие разбой. Как видим, совестный суд одинаково отнесся к подсудимым, принадлежавшим к различным общественным состояниям.

Крестьянин деревни Бобовиц, Холмского уезда, Клементий Тимофеев, войдя в свой дом, ваткался там на шайку разбойников, расхищавших его имущество. Разбойники напали на него и нанесли ему тяжкие побои, от которых у него на теле остались багровые и спные пятна. Среди разбойников Тимофеев опознал помещика Александра Васильевича Калитина и пять принадлежащих этому помещику дворовых людей. Расследованием, произведенным местным капитаном-исправником, выяснилось, что разбой был учинен молодыми помещиками — Калитиным, 14 лет и 6 месяцев и Болотниковым 14 лет и 10 месяцев и группой дворовых людей Калитина. Затеял все дело Калитинский дворовый Карп Иванов, который подговорил своего барина и других его дворовых людей напасть на двор Тимофеева. Когда составившаяся таким образом шайка находилась на пути к месту преступления, к ней подошел соседний помещик Болотников, вышедший с ружьем на охоту. Его также уговарили принять участие в готовящемся нападении. Все турьбой пришли в дом Тимофеева. Когда появился сам Тимофеев, его стали бить руками и по указанию его вынули из-под пола зарытый там в земле сундучок, разбили этот сундучек и найденные в нем 161 руб. 40 коп. поделили между собою. Калитин признался во всем сразу. Болотников упорно запирался и только уже после того, как дело перешло в совестный суд, тоже дал откровенное показание. На повальном обыске местные жители дали о подсудимых хороший отзыв. По Уложению (гл. 21, ст. 16) надлежало бы каждому из участников этого разбоя отрезать правое ухо и затем посадить их на три года в тюрьму с высылкою в кандалах на казенные работы, и с отдачею их имения в выть истцу, а по ми-новании трех лет — отослать их на поселение. По указу же 21 ноября 1721 г. надлежало вырезать им ноздри и сослать вечно на каторгу. Из числа участников разбоя только трое в качестве несовершеннолетних подлежали суду совестного суда. То были два названные помещика и еще 17 летний дворовой Никитин.

Псковский совестный суд счел нужным понизить им наказание, во-первых, в виду их несовершеннолетия; кроме того было принято во внимание девятимесячное их содержание в заключении во время производства о них следствия в Холмском нижнем земском, а затем в уездном суде. Сверх чего суд придал важное значение тому обстоятельству, что Калитин не полу-

¹⁾ Ibid. в. 5. Журнал от 17 сентября 1784 г.

чил пристойного для дворянина воспитания. По смерти родителей он остался малолетним в несовершенном разуме и подпал под влияние алчущих прибытка дворовых своих людей, которые в своих корыстных целях потворствовали егоshalостям и по их-то подговорам он пошел на разбой „не постигая важности своего бесчестного предприятия“. На этих основаниях совестный суд и нашел возможным ограничить Калитину наказание содержанием его под стражей на хлебе и воде в течение полутора месяца и с отдачею его по истечении этого срока под опеку добросовестных дворян. У Болотникова не было такой извивавшей его жизненной обстановки. Он не был покинут на произвол невежественной дворни; он служил фурьером в Преображенском полку и был отпущен в деревню, по болезненному его состоянию. Притом же вина его еще усугублялась продолжительным упорным запирательством. И тем не менее, совестный суд и к нему применил то же самое наказание, что и к Калитину. Видимо, в этом смягчении наказания помимо прочего сыграло немалую роль дворянское происхождение подсудимых. Вина третьего подсудимого Никитина была гораздо менее значительна, нежели вина Калитина и Болотникова. Никитин пошел в лес, ничего не зная о намерении учинить разбой; он узнал об этом уже тогда, когда все участники собрались и обязали всех присутствующих не выдавать друг друга. Роль Никитина ограничилась тем, что он стоял у ворот дома Тимофеева на страже и потом получил по разверстке свою долю из похищенных денег. И все же Никитин был присужден совестным судом к телесному наказанию розгами. Суд сам мотивировал, что различие в наказании Никитину и двум помещикам тем обстоятельством, что: содержание на хлебе и воде, к которому присуждены те помещики, „в рассуждении его рабства и крестьянского воспитания, чувствительным наказанием и к исправлению его служить не может“. Итак, суд сознательно применял неодинаковую меру схождения к дворянину и крестьянину¹⁾.

При отсутствии каких-либо иных смягчающих обстоятельств, совестные суды придавали важное значение одному уже чистосердечному признанию подсудимого, даже по отношению к весьма тяжким преступлениям. Перед нами, напр., растление полуторагодовалой девочки. Некая Захарова, уйдя из дома к обедни, оставила полуторагодовалую дочку на попечение своего служителя, 14-летнего мальчика Матвея Иванова. Тот положил младенца на лавку и растлил его. Когда Захарова вернулась, он во всем ей признался. По законам ему грозило за это вырезание ноздрей, наказание кнутом, проставление знаков на лбу и на щеках и ссылка в каторжные работы, в Нерчинские рудники. К этому и приговорил его уездный суд. Однако Тульский совестный суд, куда перешло это дело, в виду несовершеннолетия подсудимого, обратил внимание на то, что Иванов, учинив свое преступление наедине с своей жертвой, имел бы полную возможность утаить свою вину, которая открылась исключительно благодаря его собственному чистосердечному признанию. В виду этого совестный суд признал возможным ограничить наказание Иванова „наказанием розгами при

¹⁾ Псковский сов. суд, в. 4. Журнал 9 февраля 1783 г.

народном собрании и затем церковным покаянием по усмотрению духовных властей¹⁾). Даже в делах об убийстве чистосердечное признание само по себе, помимо каких-либо иных смягчающих обстоятельств, вызывало значительное смягчение наказания в приговорах совестных судов. В Малороссийской слободе Успенской вотчины Льва Александровича Нарышкина оказались зарезанными Астафий и Михаил Гончаренковы. Несовершеннолетняя жена Астафия Гончаренкова Агафья на допросе чистосердечно призналась в том, что она вступила в блудную связь с малороссиянином Бережненком и затем согласилась с ним и еще двумя малороссиянами убить своего мужа, при чем Бережненко обещал ей жениться на ней и бежать вместе с нею. По указу 30 сент. 1754 г. ее надлежало бы подвергнуть наказанию кнутом и ссылке на вечные каторжные работы. Но совестный суд по совокупности ее малолетства и чистосердечного признания постановил отослать ее в Проказ Общественного призрения для отдачи в рабочий дом на три года, с тем, чтобы два раза в неделю ее посыпали оттуда в церковь на увещание²⁾.

Преступления против жизни вызывали против себя, конечно, наиболее суровую уголовную репрессию. Но и в таких преступлениях несовершеннолетние преступники получали от совестных судов значительное облегчение своей участи. Однако, на основании случаев, которые нам довелось подвергнуть исследованию, можно, кажется, придти к заключению, что по таким делам для значительного смягчения наказания помимо малолетства преступника требовалось непременно еще какое-либо важное смягчающее обстоятельство. Зато совестные суды, при наличии таких обстоятельств, шли на очень сильное облегчение участи обвиненного. Во-первых, строго различалось непосредственное совершение убийства от второстепенного соучастия в таком преступлении. В сельце Закрутье, Беневском округе, староста и местный ткач убили помещика Павлова. Прикосновенными к этому преступлению оказались три малолетних дворовых мальчика названного помещика. Один из этих мальчиков ночевал в одной горнице с барином, и при этом не запер дверей и, зная о готовящемся убийстве, не предварил о том своего господина; другой видел, как прикащик Алешевский, приготовляя для господина кофе,сыпал в него что-то из бумажки, и когда потом у господина началась рвота, не сообщил ему о своем наблюдении; третий, видя, как убийцы вошли в спальню горницу господина, не закричал и после нее донес об этом. Совестный суд нашел, что все эти дворовые мальчики поступили так по младости лет от напавшего [на них] страха, что усматривается из того обстоятельства, что все они при появлении убийц залезли в печь и просидели там до света. В виду этого суд ограничил их наказание розгами и церковным покаянием³⁾.

В другом случае мы имеем перед собою помимо недонесения также и участие несовершеннолетних уже в самом совершении убийства. В селе

¹⁾ Тульский совестн. суд, в. IV, № 151.

²⁾ Саратовский совестный суд, в. VII, Журнал от 21 августа 1790 г.

³⁾ Тульский совестный суд, в. 3, № 85.

Большове, Богородской округи, задушен был дворовыми своими людьми подпоручик Хомяков. Выяснилось, что в самом задушении принимали участие малолетние дворовые Филатов и Киселев, которые во время задушения сдавили грудь и тайный уд Хомякову. Одному из них было 10 лет, другому—13 лет. По указам 30 сент. 1754 г. и 31 мая 1780 г. им грозило наказание кнутом с вырезанием ноздрей, и ссылка в вечную работу на Днепровскую линию. Совестный суд освободил их от всякого наказания на теле и приговорил к заключению на три года в смирительный дом и церковному покаянию, основавшись на том, что эти малолетние преступники действовали под нравственным давлением старших участников убийства¹⁾. Берем, наконец, наиболее тяжкую форму преступления против жизни со стороны несовершеннолетних. Это опять убийство помешка дворовыми людьми; но на этот раз убийство—задуманное и осуществленное исключительно одними несовершеннолетними. Помешек Арбузов настойчиво преследовал свою 16-летнюю девку Акулину, склоняя ее к блудному сожитию. Она упорно отвергала его предложение, просила защиты у двоюродных племянников своего господина, но безрезультатно. Иногда, нестерпя приставаний Арбузова, сопровождавшихся побоями, она уходила к одному из его племянников, который жил в версте от усадьбы дяди, но тот отсыпал ее обратно к господину. Просила она защиты у священника, но и это ни к чему не привело. В конце концов ей пришлось уступить настояниям Арбузова, и она почевала с ним на постели. Тогда свет стал ей не мил, а господин, недовольный ее огорчением, начал сильно бить ее. Она жаловалась на свою горькую долю людям и говорила, что готова наложить на себя руки. Но староста и люди твердили ей, чтобы она все сносила терпеливо, потому что господину во всем приходится повиноваться. Наконец она уже не в силах была терпеть более и по договору с своим братом Аниkiem (14-ти лет) решила покончить с своим притеснителем. Улучив время, когда он, пьяный, крепко уснул, они наложили ему на лицо подушку, сели на подушку и сидели, пока Арбузов не задохся.

Рассмотрев это дело, Псковский совестный суд учел как молодость и несовершенство разума подсудимых, так и поведение Арбузова по отношению к Акулине и в виду этого не признал возможным применить к ним наказание кнутом и проставление знаков. Вместо того суд приговорил учинить им через палача на самом месте их злодейства жестокое и нещадное наказание—Акулине плетьми, а Анику, как более юному, — розгами. После чего суд указал было отдать их обратно в вотчину, но как племянник и наследник Арбузова не пожелал принять их в вотчину, то их велено было сослать в Оренбург²⁾. Конечно, приняв во внимание безвыходное положение, в которое Арбузов поставил Акулину, мы найдем на наш современный взгляд и такое наказание слишком тяжелым, но не забудем, что разбираемое дело относится к эпохе, когда господствовали иные, несравненно более суровые воззрения на уголовную репрессию, а в особен-

¹⁾ Ibid., в. 2, № 65.

²⁾ Псковский сов. суд, в. I, Журналы 20 июня 1779 г. и 22 июня 1779 г.

ности по делам о преступлениях, направленных против помещичьей власти. При таком положении вещей данный приговор также приходится отнести к обращикам значительного смягчения участи несовершеннолетних преступников.

Читатель заметил, конечно, что все разобранные нами случаи убийств, учиненных несовершеннолетними, представляют собою убийства помещиков малолетними дворовыми людьми. Это — не случайность, это — типическая черта эпохи, это — естественное следствие того расцвета помещичьей власти, которым ознаменовалось время Екатерины II и который сопровождался величайшим измывательством многих помещиков над человеческим достоинством подвластных им людей. Само по себе убийство взрослого человека малолетним принадлежит к числу редчайших преступлений. Но именно на почве крепостного права сплошь да рядом создавались такие жизненные условия, при которых и для малолетних не оставалось иного исхода, кроме самозащиты посредством убийства взрослых насильников. Совестные суды, конечно, ничего не могли тут поделать. В их власти было лишь проявить известное милосердие к малолетним жертвам этого противоестественного жизненного строя. В какой мере они выполняли эту задачу, пусть судит читатель по фактам, предложенным выше его вниманию. При оценке этих фактов не следует упускать из виду также и того обстоятельства, что в совестных судах первенствующее положение принадлежало судьям из дворянского сословия, а крепостные крестьяне и дворовые люди не имели своих представителей в составе этих судебных корпораций.

VII.

До сих пор мы рассматривали такие дела, которые выделялись из общей подсудности в состав особой юрисдикции совестных судов на основании вполне объективных признаков: либо на основании несовершеннолетия или психической болезни подсудимых, либо на основании того, что дело относилось до преступлений, совершенных на почве суеверия. Но учреждение о губерниях отнесло к компетенции совестных судов еще и такие дела, в которых обвиняемому могло грозить наказание „свыше меры им содеянного“, в виду того, что преступление было совершено „по несчастному стечению обстоятельств“. И здесь вступало в силу уже чисто субъективное суждение о том, можно ли было отнести к этой категории то или иное дело. И вот, являются вопросы: 1) откуда исходили постановления о направлении дела в совестный суд по этому признаку и 2) каковы именно были основания, по которым устанавлилась наличие „несчастного стечения обстоятельств“, обусловливавшая направление дела в совестный суд и затем соответствующее облегчение участи подсудимого в этом суде. Что касается первого вопроса, то во всех рассмотренных нами случаях дело направляется в совестный суд постановлением уголовной палаты или губернского магистратса уже после того, как оно прошло через все предшествующие инстанции. При этом мы встретили только один случай, когда совестный суд отказался приступить к разбирательству дела, направлен-

ного к нему таким порядком, признав его себе неподсудным. Мы отметим этот случай в дальнейшем изложении.

Направляя в совестные суды дела этого рода, уголовные палаты и губернские магистраты подробно излагали при этом свои соображения, побуждавшие их отнести данное дело к числу таких, в которых подсудимому грозило наказание „свыше меры им содеянного“. Совестные суды обычно целиком воспроизводили в своих приговорах те же самые соображения, так что на долю их собственного усмотрения выпадало лишь определение степени облегчения участия подсудимого.

В каких же именно случаях делам по уголовным преступлениям сообщалось такое течение и в чем выражалось облегчение участия подсудимых в этих случаях?

Здесь прежде всего любопытно отметить, что судебные учреждения выходили из тех рамок, которые были намечены в учреждении о губерниях для определения круга дел, подсудных совестным судам, по признаку несоответствия наказания „мере содеянного“. Учреждение о губерниях относило сюда дела по преступлениям, учиненным в силу „несчастного стечения обстоятельств“. Между тем, уголовные палаты к той же категории относили дела также и по признаку недоказанности вины подсудимого. Казалось бы, раз вина недоказана, то единственным выводом отсюда должно было служить немедленное освобождение подсудимого от всякой ответственности. Но уголовные палаты предпочитали направлять такие дела в совестные суды, приравнивая эти дела к таким, по которым подсудимому грозила ответственность „свыше меры им содеянного“.

Рассмотрим несколько типических случаев этого рода. В селе Богослове, Чернской округи Тульской губернии, проживала вдова неслужащего дворянина Семена Ползикова с сыном Василием и дочерью. 22 апр. 1884 г. в ее доме произошло следующее. Часа за два до вечера Ползикова с детьми сидела в своей избе. К ним вошел крестьянин Андреев, очень пьяный. Он сторговал у Василья Ползикова за 10 копеек пол-осмыхи вина. Оба они сходили за этим вином к соседу и вернулись, успев по дороге поссориться. Андреев стал бранить Ползиковых матерными словами и вынул из кармана нож. Ползикова тотчас схватила Андреева за руки, а Василий Ползиков ударил Андреева в висок дубиною и проломил висок до крови. Василий после того вышел из избы, а Андреев затем умер. Верхний земский суд присудил отправить Ползикова на поселение. Но Тульская уголовная палата рассудила, что еще недоказано, чтобы смерть Андреева последовала от удара, нанесенного ему Ползиковым ибо 1) мать Ползикова показала, что сын ее ударил Андреева не дубиной, а палкой и не по виску, а по плечу, и крови на Андреева не было и 2) Андреев еще и до этого удара был кем-то сильно избит. В виду этого уголовная палата признала, что Андреев был заподозрен в убийстве „по несчастному стечению обстоятельств“, и потому дело о нем должно быть рассмотрено в совестном суде. Совестный суд с своей стороны нашел, что Ползиков виновен лишь в том, что в своем доме бил пришедшего к нему человека, и постановил зачесть

Ползикову в наказание предварительное годичное заключение в тюрьме¹⁾. Здесь мы имеем перед собой удивительное извращение юридических понятий. Понятие о преступлении, совершенном по несчастному стечению обстоятельств, т. е., иначе говоря, при отсутствии злой воли, подменено здесь совершенно своеобразным воззрением, по которому под „несчастным стечением обстоятельств“ разумеется то, что подсудимый совершил действия, давшие повод к подозрению его в преступлении, оставшимся недоказанным. Путем такого-то извращение понятий уголовная палата и пришла к выводу о необходимости направить дело Ползикова в Совестный суд вместо того, чтобы просто признать Ползикова по суду оправданным по недоказанности возведенного на него обвинения.

В Одоевском уезде крестьянка Севастьянова, вдова, родила ребенка в господском сарае. На другой день утром другая женщина, зайдя в тот сарай, нашла там мертвого младенца, которому собаки или свиньи уже отъели голову, руки и ноги. Возникло обвинение против Севастьяновой в том, что она умертила рожденного ею ребенка. Но Севастьянова утверждала, что ребенок родился уже мертвым, и она оставила его в сарае, никому о том не объявив, опасаясь гнева господина и „стыда ради“. Одоевский уездный суд приговорил Севастьянову к наказанию кнутом и к заключению в тюрьму на год. Уголовная палата признала недоказанной вину Севастьяновой в умерщвлении ребенка, ибо при этом никого постороннего не было, а необъявление ею о рождении мертвого младенца может быть объяснено не только стыдом, но еще и тем, что она от родов могла впасть в беспамятство, „которое со всяким человеком при таких случаях быть может“. Казалось бы, вывод из этих посылок — один: оправдание. Но нет, уголовная палата направляет дело в Совестный суд, признав, что Севастьянова сделалась жертвой „несчастного стечения обстоятельств“. Совестный суд, отвергнув обвинение в убийстве, решил предать Севастьянову церковному покаянию за необъявление о рождении мертвого ребенка²⁾.

Перехожу теперь к таким случаям, в которых действительно обвиняемым могло грозить наказание „свыше меры содеянного“ именно потому, что преступление совершилось вследствие „несчастного стечения обстоятельств“, т.-е. без участия злой воли преступника. В предшествующих случаях дело сводилось к тому, что обвиняемому вменяли совсем не то преступление, какое им на самом деле было совершено, а гораздо более тяжкое или к тому, что в силу неосновательного подозрения к суду привлекалось лицо, вообще неповинное в каком бы то ни было преступлении. Теперь мы переходим к таким делам, в которых налицо имелось действительно совершенное преступление, но последовавшее при таких обстоятельствах, которые давали основание признать отсутствие злой воли и сознательного намерения при его совершении.

К таким обстоятельствам относили прежде всего состояние крайнего опьянения. В селе Никольском, Ефремовской округи, отставной солдат

¹⁾ Тульский совестный суд, в. 3, № 78.

²⁾ № 80.

Родион Пономарев ходил по гостям и, к ночи возвратившись домой пьяный, вошел в плетневую пунку, разбудил там свою племянницу, девку Гордееву, и согласил ее на блудное падение. Гордеева забеременела и затем стубила родившегося от нее ребенка.

Ефремовский уездный суд, разобрав это дело, пришел к заключению, что на основании 131 артикула 20 главы Воинского Устава подсудимым надлежало бы учинить смертную казнь, но во уважение солдатской службы Пономарева и продолжительного содержания под стражею девки Гордеевой к ним надлежит применить 391 ст. Учреждения о губерниях и указ 19 ноября 1775 г. и отослать их в *Смирительный дом*, на 12 недель. Указа 19 ноября 1775 г. мы не нашли в Полном Собрании Законов, а 391 ст. Учреждения о губерниях говорит о смирильных домах, устраиваемых приказами общественного призрения, при чем там указано, что в названные дома надлежит заключать, между прочим, людей, предающихся поведению противному доброправию и благочинию без стыда и зазора и женщин непотребного и соблазнительного жития. Однако, Верхний Земский Суд, куда затем перешло это дело, признал приговор Ефремовского уездного суда несообразно снисходительным и постановил, на основании указа 30 сентября 1754 г., высечь солдата и девку кнутом, вырезать солдату ноздри и, поставив на нем повеленные знаки, сослать его и девку на вечные работы в новостроющуюся Днепровскую линию.

Далее дело перешло в уголовную палату. Палата взглянула на дело совершенно иными глазами. Она обратила внимание на то, что Пономарев при блудном соитии с Гордеевой был пьян и, следовательно, не сознавал своего поступка, что доказывается тем, что ни прежде, ни после этой ночи он с Гордеевой не сходился, следовательно, если бы он и в эту ночь находился в трезвом состоянии и в полном разумении, то „не поступил бы на такое отвратительное против природы действие“. Также не видно из дела, чтобы и Гордеева после того стремилась к продолжению связи с Пономаревым. Что же касается погубления ею ребенка, то это ее преступление палата признала недоказанным, ибо свидетелей тому не оказалось, а сама Гордеева объявила, что, будучи беременной, она перелезала через изгородь, упала, пришла в беспамятство и, очнувшись, увидела, что во время падения она разрешилась от бремени, но ребенка не оказалось, а около нее ходили свиньи, „знать свиньи и ребенка съели“ — показывала Гордеева.

В виду всего этого палата показала, что судьба подсудимых отягочается выше меры содеянного и „дабы, с одной стороны, дать им почувствовать важность греха сего в полной его мере, а с другой стороны — дабы, не оскорбляя человечества и чрез то не приводя их в отчаяние, обратить совершенно уврачеванием душ их на путь истины“ — постановила направить дело в Совестный суд. Совестный суд и вынес приговор, в сущности уже подсказанный уголовной палатой: оставил Пономарева и Гордееву без всякого на теле наказания, предать их церковному покаянию по усмотрению воронежского архиерея¹⁾. Так, за время производства этого дела в раз-

¹⁾ Тульский совестный суд, в. 1, № 60.

личных инстанциях, судьба подсудимых прошла, можно сказать, через всю гамму разнообразных кар от смертной казни до церковного покаяния, не осложненного никаким иным наказанием.

Если подсудимый в момент совершения преступления был трезв, то вступал в силу вопрос, обнаруживается ли в деле явно выраженное памерение преступника совершить преступное деяние, или оно последовало нечаянно, помимо желания того, кто неожиданно для себя впал в него.

Сюда прежде всего были относимы дела об убийстве в драке или вообще о смертях, последовавших от побоев. Являлся вопрос, наносились ли побои с действительным намерением лишить человека жизни?

В Ефремовском округе в вотчине подполковника Бибикова крестьянин Сурков настиг в сарае свою жену, которая в течение нескольких дней бегала от него. Он стал бить жену палкой по спине, но нечаянно один удар пришелся по голове и жена от этого удара умерла. Сурков зарыл тело жены в землю, никому не сказав о случившемся. Только впоследствии он во всем признался брату. Ефремовский уездный суд на основании 163 п. 19 главы Воинского Устава присудил Суркова к наказанию кнутом и возвращению в вотчину его господина. Верхний земский суд усилил наказание и постановил, наказав Суркова кнутом, вырезать у него ноздри и сослать на каторжную работу на новоднепровскую линию. Но тульская уголовная палата из показаний самого Суркова и др. допрошенных свидетелей усмотрела, что Сурков хотел только поучить жену, отнюдь не желая убивать ее, что жена действительно бегала от него, а если Сурков не сразу открыл совершенное им преступление, то видно, что „оное происходило не для укрывательства или умысла какого, но от торопости и умовоображения, свойственных сему роду людей самым образом жизни и понятия и от встревоженного духа от предмета, наносящего ему нарекание и прискорбие“. Находя, что Суркову таким образом грозит кара выше меры содеянного, палата направила дело в Совестный суд, который и приговорил Суркова без всякого на теле наказания к заключению в дом смирения на один год и к церковному покаянию¹⁾.

Два брата, крестьяне Тульской округи, палили вместе зарезанную ими свинью. Один из них, попортив свиную кожу, приказал брату подать снегу и рассердившись на то, что тот замешкался, ткнул его лопатой в затылок, но так сильно, что тот упал замертво. Родственники показали, что братья вообще жили согласно. Уездный суд приговорил виновного к наказанию кнутом. Уголовная палата направила дело в Совестный суд, признав убийство неумышленным. Совестный суд присудил подсудимого к церковному покаянию, а вопрос о телесном наказании решил предоставить на усмотрение помещика того крестьянина²⁾. Крестьянка того же помещика в присутствии двух других женок приказала племяннику своего мужа, державшему в то время на руках ее дочь, поймать сбежавшую с яиц гусыню. Тот не послушался. Она схватила нож,

¹⁾ Ib., в. 3, № 71.

²⁾ Ib., № 82.

лежавший около пеe на постели и бросила его в ослушника. Нож проткнул ему бок, черева вывалились и он умер. Уездный суд определил преступницу наказать кнутом и отдать в вотчину помещику. В данном случае орудием явился нож, а не палка или лопата, а потому отсутствие смертноубийственного умысла надлежало обставить вескими соображениями. Уголовная палата привела следующие соображения, которые стоит воспроизвести для характеристики юридической мысли судов того времени: отсутствие умысла убить племянника усматривается 1) из того, что событие произошло при посторонних женках, тогда как умышленные убийства совершаются тайно и 2) племянник в это время держал на руках дочь крестьянки и потому нельзя предположить в ней намерение подвергнуть племянника смертельной опасности, ибо такой же точно опасности она подвергала вместе с тем и собственную дочь. Следовательно, нож был брошен в запальчивости, безотчетно. Совестный суд, согласившись с этими соображениями, постановил зачесть подсудимой в наказание предварительное заключение, продолжавшееся значительное время¹). Дворовый человек помещика Муромцева Веневской округи Евдокимов ударили повара того же помещика Петрова полено дважды, на четвертый день после того повар умер. Верхний земский суд приговорил Евдокимова к наказанию кнутом, вырезанию ноздрей и ссылке в вечную работу на новостроющуюся Днепровскую линию. Уголовная палата нашла, что умысел не доказан, ибо, как выяснилось на повальном обыске, Евдокимов и Петров не были ранее в ссоре, Петров не подал повода к тому, чтобы Евдокимов мог возжелать его смерти, он только оттолкнул Евдокимова от муки, тело Петрова не было осмотрено „посредством анатомии“ и потому неизвестно, последовала смерть Петрова от нанесенных ему ударов или от другой причины. Совестный суд, куда Палата направила это дело, заменил наказание, постановленное Верхним земским судом, заключением Евдокимова в дом смирения на шесть месяцев и к церковному покаянию²).

Не умножая более подобных примеров, сделаем два необходимые замечания. Рассмотрение приведенных выше и подобных им случаев из судебной практики Екатерининского времени может, пожалуй, внушить читателю несколько преувеличенное представление о гуманном направлении деятельности тогдашних уголовных палат. Не следует, однако, увлекаться этим первым впечатлением. Необходимо принять во внимание, что в совестные суды, архивами которых мы пользуемся, только и попадали такие заключения уголовных палат, которые были направлены на передачу дел в совестные суды, для облегчения участия подсудимых. Сколько же было и таких случаев, по которым аналогичные дела разрешались в ином духе! Только эти случаи не попадают в данном исследовании в поле нашего зрения, ибо они проходили мимо совестных судов. Между тем нельзя не отметить, что в цитированных выше делах подсудимыми являются все крестьяне и дворовые люди, принадлежавшие различным помещикам и не

¹⁾ Тульский совестный суд, в. 3, № 96.

²⁾ Тульский сов. суд, в. 1, № 58.

исключена возможность поставить вопрос,—не ходатайства ли их господ, которые могли принадлежать к людям, имевшим связи и пользовавшимся влиянием в своей местности, приводили к облегчению их участия? И также ли точно разрешались аналогичные дела в тех случаях, когда подсудимые не пользовались особым покровительством?

Впрочем, для той задачи, которую мы ставили настоящему своему исследованию, это обстоятельство не имеет существенного значения. Нас занимает не состояние вообще юстиции в Екатерининское время, а лишь та роль, которая выпадала на долю именно Совестных судов. И следовательно, нам важно исследовать лишь те именно случаи, которые до совестных судов доходили. Не следует только распространять вытекающие отсюда заключения на все судопроизводство той эпохи.

Другое замечание, которое необходимо здесь сделать, сводится к следующему. Из вышеприведенных примеров читатель мог бы вывести то заключение, что совестные суды в случаях такого рода ограничивались лишь определением степени смягчения наказания, тогда как признание данного преступления результатом „несчастного стечения обстоятельств“ и самая мотивировка такого признания были уже предуказаны уголовными палатами, и совестные суды беспрекословно принимали к сведению эти предуказания и в точности воспроизводили в своих приговорах мотивы, формулированные уголовными палатами. В громадном большинстве случаев так именно и бывало. Однако, все же, не всегда. Мы можем привести пример, когда совестный суд не признал подсудным себе дело, к нему направленное, не найдя, чтобы в деле были основания для признания данного преступления совершенным по несчастному стечению обстоятельств. И надобно заметить, что как-раз в этом случае совестный суд едва ли был прав. Дело было в городе Великих Луках. Местный магистрат послал рассыльника Попова за мещанином Мясниковым, для доставления его в магистрат. По дороге в магистрат Мясников зашел в питейный дом и стал пить там вино. Попов начал воспрещать Мясникову винопитие, торопя его в магистрат. Мясников, разгоряченный вином, выхватил нож и угрожал зарезать Попова. В таком возбужденном состоянии Мясников вышел, наконец, из питейного дома в сопровождении Попова. Вдруг кто-то схватил его сзади. Мясников, не видя схватившего, начал обороняться, махать пожком и нанес рану приставшему к нему человеку, который оказался купцом Гридиным. Гридин от той раны умер. Мясников показал, что ранее у него с Гридиным никаких ссор не бывало, что и в этот раз он не желал убивать Гридина и даже не знал в момент борьбы, с кем именно имеет дело, а нож взял с собой, опасаясь магистрата, как бы магистрат не приказал посадить его под арест за невоздержное пьянство, как это и раньше бывало.

Великолуцкий магистрат приговорил Мясникова к наказанию кнутом, вырезанию ноздрей и ссылке в Балтийский порт вечно. Главный магистрат нашел, что дело должно быть передано в Совестный суд ввиду того, что преступление было совершено Мясниковым в пьяном состоянии, следовательно, бессознательно и неумышленно, по „несчастному стечению обстоя-

тельств“. Однако, Совестный суд признал, что дело ему неподсудно, ибо в действиях Мясникова усматривается „действительное умышление“, в котором он сам же признался, сказав, что взял с собою нож для противодействия распоряжениям магистрата. На этом основании Совестный суд отоспал это дело обратно в губернский магистрат¹⁾). Не трудно заметить неправильность такого постановления. Ведь Мясников обвинялся не в неповиновении магистрату, которого он и не успел еще ни в чем проявить, хотя бы и намеревался это сделать в будущем. Он обвинялся в убийстве Гридина и совершенно очевидно, что это убийство произошло неумышленно и в гораздо большей мере „по стечению несчастных обстоятельств“, нежели во всех тех случаях, которые мы рассматривали выше. И конечно, совестные суды были гораздо более правы, когда они относили к непредумышленным преступлениям, преступления, совершенные в пьяном состоянии, или убийства, происшедшие в драке или от ударов, нанесенных в запальчивости и раздражении, под влиянием минутного возбуждения, при случайной ссоре, и при отсутствии каких-либо обстоятельств, которые указывали бы на преднамереное убийство.

Были, однако, и такие случаи, когда совестные суды признавали „несчастное стечание обстоятельств“ и в таких делах, в которых „злая воля“ просвечивала с полною ясностью. В тульской округе в вотчину помешников Верещагиных прибыл заседатель тульского уездного суда прaporщик Бибиков с командою, и коронный поверенный тульских питейных сборов со служителями для выемки корчменного вина. Они оцепили дом дворового человека Евсевьева, жившего отдельно от господского двора, но вина там не нашли. Затем прибывшие намеревались приступить к обыску крестьянских дворов. Крестьяне заволновались. Образовалась толпа, вооружившаяся кольями. Прикащик Посников закричал: „Бейте всех!“ Крестьяне бросились на прибывших, били их и выгнали из села, отбив у них лошадь и две телеги. Верхний земский суд приговорил привлеченных по этому делу к ответственности прикащика Посникова и шестерых дворовых и крестьян к наказанию кнутом и штрафу по пяти рублей с каждого по уставу о винокурении. Уголовная палата признала это наказание превышающим „меру содеянного“, рассудив, что „таковое происшествие последовало от людей несмысленных и внемлющих мечтательным воображениям и предрассудку и есть паче стечение случая, нежели по каковой-либо умышленности последовавшее, почему и надлежало бы с точностью открыть начинателя и с ним, яко подавшим повод к преслушанию сему, поступить по всей строгости законов“. Между тем зачинщик и подстрекатель не найден, а — „преступление сие есть такого рода, что если рассуждать о нем по всей строгости, не разделяя намерения от невежества и неразумия, то отягощает судьбу их выше меры им содеянного“. Уголовная Палата на основании этих соображений препроводила дело в Совестный суд и при этом высказала мнение, что можно было бы зачесть обвиняемым в наказание десятимесячное их предварительное заключение.

¹⁾ Псковск. сов. суд, в. I. Журнал 8 ноября 1779 г.

Совестный суд не пошел так далеко в облегчении участи подсудимых но все же существенно понизил наказание, постановленное Верховным земским судом. Кнут был заменен для прикащики Посникова плетьми, для остальных подсудимых — батогами¹⁾. Итак, здесь состав преступления был признан, но ответственность была облегчена в виду предположения, что подсудимые действовали не по собственному почину, а по подговору необнаруженного зачинщика. Но вот — случаи, в которых не могут подлежать никакому сомнению ни наличие злой воли, ни самопроизвольность преступного действия подсудимого и в которых тем не менее совестные суды усматривали „нечастное стеченье обстоятельств“ и на этом основании освобождали подсудимых от всякого наказания. Очень любопытно, что такие случаи относятся к делам о злоупотреблениях помещичьей властью.

Помещик каширской округи, прaporщик Емельянов, собрал к себе в дом своих крестьянских женок для пения песен. По окончании этого вокального вечера Емельянов отпустил женок по домам, но одну из них, Сергееву, задержал, начал ей делать выговор за то, что она не слушается мужа и свекра, которые на нее за это жалуются. Сергеева ответила неучтиво. Емельянов рассвирепел и позвал двух дворовых. С Сергеевой сняли платье, оставили ее в одной рубашке и дворовые, по приказанию Емельянова, начали сечь Сергееву батожьем, а сам Емельянов бил ее арапником и проломил ей голову, после чего Сергеева через три часа умерла. Муж и свекор Сергеевой показали, что она никакого ослушания им не оказывала и жалоб на нее они помещику не приносили. Кроме того, односельчане на повальном обыске отзвались, что Сергеева отличалась добрым поведением. По лекарскому осмотру оказалось, что голова у Сергеевой была проломлена в двум местах до самого мозгу, вся она была избита и покрыта сине-багровыми пятнами, переносица расшиблена. Уездный суд постановил Емельянова лишить чинов и оставить при его вотчинах. Но и это мягкое наказание уголовная палата признала „превышающим меру содеянного“, так как поступок Емельянова, по мнению палаты, должен быть отнесен к „восторженной горячности его духа“, показаниям ее мужа и свекра доверять нельзя по их родственной связи с убитой. Оставился еще повальный обыск. Но палата не сочла возможным утвердиться и на повальном обыске, ибо окольные люди не могут знать, „какое Сергеева по дому обхождение имела, постоянное или худое“ и находила, что „более следует утвердиться на показании Емельянова, — иначе говоря, показание самого обвиняемого было признано заслуживающим большего уважения, нежели показания свидетелей! Совестный суд согласился с соображениями Уголовной палаты и ограничился наложением на Емельянова церковного покаяния²⁾.

Между тем, это было уже не убийство в драке или в случайной скоре; это была смерть, последовавшая от господского наказания, которому

¹⁾ Тульский сов. суд, в. I, № 57.

²⁾ Тульский сов. суд, в. II, № 68.

по воле господина придан был характер истязания, в полной мере могущего привести к смертельному исходу для истязуемого. О „нечаянности“ и „случайности“ умерщвления Сергеевой говорить в данном случае очевидно не приходится. Емельянов мог и не иметь намерения непременно убить Сергееву, но, нанося ей удар по голове, проламывая ей в двух местах череп до мозгу, он не мог не сознавать, что такое истязание почти наверное должно вызвать смерть. И как игнорирование палатой и совестным судом без дальних рассуждений имеющихся в деле свидетельских показаний, так и освобождение Емельянова от всякого наказания кроме церковного покаяния—может быть объяснено не иначе, как только общей слабостью уголовной репрессии той эпохи по отношению к злоупотреблениям помещиков властью. На эту крайнюю ослабленность судебной репрессии помещик мог тогда рассчитывать не только в случае злоупотребления своею властью по отношению к собственным дворовым и крестьянам, но и при столкновениях своих с людьми ему не подвластными, а только стоящими ниже его на ступенях социальной лестницы. Для доказательства правильности этого положения приведу следующий характерный пример. К крыльцу господского деревянного дома помещика Волчкова, отставного прaporщика из дворян, подошел оружейник Овчинников, пьяный и начал кричать. На крик вышел сам Волчков. Овчинников стал требовать от Волчкова денег за купленный у него лес. Волчков предложил Овчинникову рассчитаться с прикащиком и потом прислать за деньгами работника. Но Овчинников этим ответом ве удовлетворился, стал дерзко браниться и ухватил Волчкова за шлафрок. Тогда Волчков приказал дворовым высечь Овчинникова плетьми, и тот на пятый день после этого сечения умер. И Уголовная палата и Совестный суд нашли, что хотя Волчков и не имел права предать сечению неподвластного ему человека, а должен был бить на него челом в судебных местах, но Овчинников сам подал повод к ученической над ним расправе и потому Волчков должен быть освобожден от всякой кары кроме церковного покаяния¹⁾). Эта мотивировка весьма достопримечательна. Самоуправство помещика над неподвластным ему человеком признается допустимым и не подлежащим наказанию, если потерпевший сам подал к тому повод. Не значило ли это вообще открыть безграничный простор для самоуправных действий помещиков по отношению к людям, хотя бы им и не подчиненным, но припадлежащим к низшим разрядам населения?

Кажется, после всего изложенного, мы можем сказать, что понятие „несчастного стечения обстоятельств“ оказывалось в практике судебных учреждений того времени слишком растяжимым, слишком злостным, слишком доступным для произвольных истолкований в угоду и субъективным настроениям отдельных судей, и господствующим предубеждениям, и социальным отношениям данной эпохи.

¹⁾ Тульский сов. суд, в. I, № 54.

VIII.

Как бы ни были несовершенны судопроизводственные приемы совестных судов, как бы не отставали в иных случаях совестные судьи по складу своих воззрений и понятий от уровня возложенной на них законом высокой задачи,—все же передача дела в совестный суд в последнем итоге всегда обеспечивала подсудимым то или иное и, всего чаще, весьма существенное облегчение их участия. *В последнем итоге!* Но до наступления этого последнего итога передача дела в совестный суд соединялась, как это на первый взгляд ни странно, с довольно значительным обременением тягостного положения тех, кто попадал в те времена под ферулу судебных учреждений. Нам надлежит теперь обратить внимание и на эту оборотную сторону изучаемой нами картины.

В „Учреждении о губерниях“ не было дано никаких указаний по вопросу о том, каким порядком должны быть направляемы в совестные суды подсудные им дела, если не считать указания, содержащегося в ст. 398, в которой читаем: „Совестный суд ни в какое дело сам собою не вступается, но принимается за дело или по повелению правления или по сообщению другого места или по прошению и челобитью“. Это весьма общее и совершенно недостаточное указание не разрешало очень важного вопроса о том, в какой стадии производства уголовного дела, по существу подлежащего юрисдикции совестного суда, оно должно было поступать на рассмотрение этого именно учреждения. По смыслу и духу закона, казалось бы, дела по преступлениям, подлежащим ведению совестного суда, совсем не должны были рассматриваться в порядке общей подсудности, ибо ведь весь смысл, все значение института совестных судов по делам уголовным сводилось именно к тому, чтобы преступники несовершеннолетние, психически иенормальные, отуманенные суевериями, впадшие в преступление по „случайному стечению обстоятельств“, были ограждены от несовершенства общего процесса, не приоровленного к особенностям этих особых видов преступных деяний. Так ли однако было в практике, установившейся в судебных учреждениях того времени?

В главе VII Учреждения о губерниях, озаглавленной: „о течении дел уголовных“, устанавливается, что уголовные дела по таким преступлениям, за которые не полагается лишения жизни или чести или торговой казни, должны быть решаемы окончательно в уездных судах или городовых магистратах или Нижних расправах по принадлежности; но такие дела, по которым обвиняемые подлежали бы вышеперечисленным наказаниям, во всех случаях должны быть переносимы из уездных судебных инстанций в Верхние земские суды, губернские магистраты или Верхние расправы по принадлежности, а оттуда — в палаты уголовного суда.

И вот, когда в уездные судебные инстанции поступало дело, по существу своему подлежащее ведению совестного суда, то уездные инстанции отсылали его прямо в совестный суд лишь в том случае, если оно принадлежало к числу тех, которые могли быть разрешаемы окончательно в

первой инстанции, но если это было дело, в котором подсудимому могла угрожать смертная казнь, или лишение чести, или торговая казнь, то уездные инстанции, рассмотрев такое дело, непременно передавали его в следующую инстанцию в порядке общей подсудности, хотя бы это и было дело, подлежащее совестному суду, а из второй инстанции дело направлялось опять-таки в совестный суд, а в уголовную палату и лишь палата, по рассмотрении такого дела передавала его в совестный суд, если из обстоятельств дела усматривалось, что подсудимые принадлежат к числу таких, кому должны быть судимы в совестных судах. Что же получалось в результате такого порядка? А получалось то, что лишь в небольшом сравнительно числе случаев несовершеннолетние, психически не-нормальные, объятые суеверием, или подлежащие наказанию „свыше меры содеянного“ преступники ссыпались от всех тягостей затяжной волокиты и прочих несовершенств тогдашнего процесса, в большинстве же случаев им приходилось испивать всю эту горькую чашу и только уже испив ее до дна, насидевшись по тюрьмам, пока их дело проходило по всем инстанциям в порядке общей подсудности, затем в виде, как бы сказать, дополнительной премии, они переходили еще и в совестный суд и только тогда получали удовольствие услышать приговор, из которого узнавали, что все их предшествующие мытарства по разным судам претерпевались ими совершенно напрасно, так как к ним должны быть применены совершенно иные приемы судопроизводства и совершенно иные нормы при квалификации учиненных ими преступлений и при определении следуемых им за это наказаний.

Среди рассмотренных нами довольно многочисленных делопроизводств совестных судов Екатерининского времени нам встретился только один случай, когда уголовное дело поступило в совестный суд прямо из первой общей инстанции и было принято совестным судом к рассмотрению. У помещицы Веневского уезда Тереховой живущий в ее деревне однодворец сжег стог сена среди дня и потом стал похваляться, что и дом ее сожжет. Расследование, произведенное Нижним земским судом, обнаружило, что этот однодворец замечен местными жителями в ряде поступков, которые свидетельствуют о его безумии. Нижний земский суд отоспал однодворца в Тульскую Нижнюю расправу, а расправа, усмотрев его безумие, направила дело прямо в Совестный суд. Однодворец умер, прежде чем Совестный суд успел приступить к освидетельствованию его психического состояния¹⁾.

Во всех других случаях совестные суды приступали к рассмотрению подлежащих до них дел не прежде, нежели они прошли через все инстанции в порядке общей подсудности. И даже в тех случаях, когда высшие инстанции направляли дело прямо в совестный суд в виду обнаружившихся в деле соответствующих обстоятельств,—совестные суды отказывались приступать к рассмотрению дела, пока оно в общем порядке не пройдет через все инстанции. В Ефремовском уезде был убит помещик Елагин, ночью, в своем доме. Подозрение в совершении убийства пало на

¹⁾ Тульский сов. суд, в. I, № 50.

малолетних дворовых девок убитого. Дело поступило в Ефремовский уездный суд. В виду малолетства подсудимых уездный суд направил дело в Тульский совестный суд. Но Тульский совестный суд постановил резолюцию в том смысле, что Ефремовский уездный суд должен был направить дело с своим заключением в Верхний земский суд, ибо *дела не могут быть передаваемы из уездных судов прямо в совестные суды*¹⁾.

В Новосильский уездный суд поступило дело об убийстве в драке Присяжный уездного казначейства толкаул мещанина Сыромятникова в грудь и тайные уды. Сыромятников упал и скончался. Отец Сыромятникова показывал, что смерть его сына последовала именно тотчас вслед за нанесенным ему ударом. Но лекарь, осмотревший тело Сыромятникова, дал заключение, что тот умер не от побоев, а от возжения кишек. Новосильский уездный суд нашел, что в виду противоречивости этих показаний подсудимого оправдать нельзя, а в случае обвинения ему грозит на казание „выше меры содеянного“ и потому дело было направлено прямо в Совестный суд. Подлежало ли дело такого рода вообще ведению совестного суда,—это вопрос особый, но Тульский Совестный суд даже и не вошел в рассмотрение этого вопроса, а постановил резолюцию, тождественную с той, которая была нами выписана выше²⁾.

Тульская нижняя расправа прислала в Тульский совестный суд дело несовершеннолетней девки, обвинявшейся в сожжении 11 дворов в ее деревне. Тульский совестный суд постановил—отослать дело обратно в Расправу, так как оно еще не было на ревизии Уголовной палаты³⁾. Крестьянская женка Григорьева удавила свою падчерицу. Григорьевой от рождения было только 14 лет. Белевский уездный суд направил дело в совестный суд. Но совестный суд не принял дело, как не прошедшее по всем инстанциям⁴⁾. Все эти примеры относятся до практики Тульского совестного суда. Но и другие совестные суды держались такого же порядка. Приведем пример из практики Псковского совестного суда, тем более любопытный, что здесь мы находим и мотивировку такого по существу неправильного порядка. Разбирая одно уголовное дело, Псковский уездный суд, лишь только из дела открылось несовершеннолетие обвиняемых, прервал дальнейшее слушание дела и направил его в Псковский совестный суд. Надлежит признать, что Псковский уездный суд поступил совершенно согласно с 399 ст. Учреждения о губерниях, в которой говорится, что дела о преступлениях, учиненных по несчастному стечению обстоятельств, или учиненных несовершеннолетними, или безумными, или дела о колдовстве „надлежит отсыпать в совестный суд, который един право имеет учинить о вышеписанном решение⁵⁾. На основании этого постановления закона всякое дело, лишь только в нем обнаружилось одно из вышеписанных обстоятельств, несомненно подлежало отосланию в

¹⁾ Ib., в. III, № 90.

²⁾ Ib., № 95.

³⁾ Ib., № 104.

⁴⁾ Ib., № 107.

⁵⁾ Пскоеский сов. суд, в. V, Журнал 12 сентября 1785 г.

совестный суд. Между тем Псковский совестный суд, отказываясь принять к своему рассмотрению вышеуказанное дело, опирался именно на эту 399 ст. Учреждения о губерниях, толкуя ее так, что ею совестному суду предоставляется только *решение*, а не *следствие* по соответствующим делам. Толкование явно несостоятельное и из текста этой статьи не вытекающее, ибо там вовсе не указано, чтобы следствие по таким делам производились какими-либо другими судами, а постановка решения сама собою подразумевает, конечно, предварительное следствие, которое, таким образом, тоже должно было входить в обязанность совестных судов по делам, отнесенными к их компетенции. И мы видим из делопроизводства, что совестные суды таковые следствия по делам, принятым ими к своему рассмотрению, действительно производили они, в случае надобности передопрашивали свидетелей и подсудимых, производили вновь освидетельствование подсудимых и т. п., словом, производили чисто следственные действия, прежде чем приступить к постановке своего решения.

Между тем это усвоенное совестными судами и не основанное на законе требование, чтобы всякое дело, их компетенции подлежащее, предварительно прошло через все инстанции в порядке общей подсудности, ложилось тяжелым бременем на тех подсудимых, которым, по смыслу закона, как-раз должен был обеспечиваться более быстрый и более гуманный суд, нежели прочим преступникам.

IX.

В заключение настоящего этюда я остановлюсь на практическом применении 401 статьи Учреждения о губерниях, коей на совестные суды возлагалась важная функция контроля над административными арестами. Согласно этой статье всякий арестованный, содержащийся в тюрьме, без объявления ему в течение трех дней причины ареста или без допроса, мог подать о том заявление в совестный суд. Получив такое заявление, совестный суд, не выходя из присутствия, должен был послать повеление, чтобы проситель, если только он содержался в заключении не в оскорблении особы императорского величества, не в воровстве или разбое, был доставлен в совестный суд с объяснением, почему он взят под стражу и почему не допрашивал. Это повеление совестного суда должно было немедленно быть исполненным. Если какое-либо место более суток затянет исполнение такого предписания, то председатель того места штрафуется тремя стами рублями, а заседатели платят пеню в сто рублей каждый. При доставлении такого арестованного в совестный суд на дорогу полагается срок по 25 верст в день. За сим, если совестный суд усомнится, что проситель содержится не в оскорблении особы императорского величества, не по измене, смертоубийству, воровству или разбою, то, не выходя из присутствия, приказывает освободить просителя из заключения и отдать его на поруки в том, что он будет держаться добродорядочного поведения и явится к разбирательству своего дела к тому суду в данной губернии, который он сам изберет. Впредь до разрешения судом его дела никто уже не может вновь заключить его в тюрьму.

В высшей степени любопытно исследовать, как и в какой мере применялся на практике этот закон, представлявший собою попытку пересадки на русскую почву некоторых элементов знаменитого института *habeas corpus*.

Для ответа на этот вопрос обратимся к рассмотрению соответствующих производств, сохранившихся в архивах совестных судов Екатерининской эпохи.

В декабре 1778 г. мещанин г. Острова Никифор Кузнецов подал в Псковский совестный суд¹ заявление о том, что отец его Козьма Кузнецов 29 ноября того же года был вызван в Островский словесный суд и там ратман словесного суда Гурянов бил его по щекам до крови и посадил его под арест, где он и находится по настоящее время. Совестный суд, заслушав это заявление, постановил взять с Никифора Кузнецова сказку, съявленную ли его отцу причина ареста и был ли он допрошен в течение трех дней. Так как ни того, ни другого по заявлению просителя не было, то Совестный суд обратился к Островскому словесному суду с требованием прислать Кузнецова в совестный суд с прояснением причин его ареста и почему он не допрашиван. Постановление это состоялось 5 декабря 1778 г., и так как почта в Остров должна была отойти только через три дня, 8 декабря, то, „дабы под стражею содержащийся безвинно не претерпевал притеснения“, суд постановил отдать эту бумагу Никифору Кузнецову для предъявления ее в Островский словесный суд.

Только через неделю — 11 декабря — Островский словесный суд приспал в Псковский совестный суд свои объяснения.

В них значилось, что Козьма Кузнецов вызван был 29-го ноября 1778 г. в словесный островский суд вследствие жалобы, поступившей на Кузнецова от старости островского купечества и мещанства Корузина в словесной обиде. Когда Кузнецов явился в прихожую словесного суда, то случившийся там ратман островского магистрата Гурянов, стал бить Кузнецова по щекам так сильно что тот, весь в крови, упал на пол и не мог ничего говорить. Затем Гурянов, незнаемо для чего, задержал Кузнецова под караулом при магистрате, в словесном же суде никакой „производимости“ о том не было. Итак, словесный суд отвел от себя ответственность на магистрат. Однако,—ответственность все же его не миновала. Совестный суд нашел, что словесный суд, яко департамент магистрата, обязан был полученное от совестного суда предложение в тот же день доложить магистрату с тем, чтобы это предложение было исполнено немедленно, между тем как он остается невыполненным с 8 декабря. Все это совестный суд постановил довести до сведения Наместника для учинения с виновных подлежащего взыскания. 8 января 1779 г. в совестный суд пришло объяснение и от магистрата. Магистрат также стремился переложить с себя ответственность на чужие плечи. Он доносил что Кузнецов был заключен под стражу не по резолюции магистрата, а по приговору мещанского общества, как годный к сдаче в рекруты от мещан. Вместе с этим отношением в совестный суд был доставлен, наконец, и сам Кузнецов. Совестный суд признал это доношение явно несостоятельным и не заслуживающим доверия,

признав совершенно несбыточным, чтобы общество мещанства без ведома магистрата дерзнуло отдать под стражу подведомственного магистрату человека и чтобы магистрат не ведал о содержащемся целый месяц под стражей без допроса и объявления вины. Далее совестный суд обратил внимание на то, что доношения словесного суда и магистрата противоречат друг другу в объяснении причины задержания Кузнецова и что из этих объяснений вина Кузнецова постигнута быть не может. В виду этого Совестный суд постановил Кузнецова из под стражи освободить и отдать на поруки и предоставить ему самому избрать по своему усмотрению тот или иной суд в пределах наместничества для разбора дела о его задержании и о нанесении ему побоев ратманом Гурьяновым. Тогда Кузнецов подал сказку о том, что для разобранья своего дела он избирает псковский губернский магистрат. Совестный суд сделал постановление об усылке дела Кузнецова в названный магистрат. До сих пор, как видит читатель, дело протекало в точном соответствии с 401 ст. Учреждения о губерниях. Но затем оно сразу сходит с этих законных рельс по вине наместника Сиверса. Сиверс распорядился, чтобы дело Кузнецова и все аналогичные дела направлялись в Нижние присутственные места и уже оттуда по инстанциям доходили до губернских судебных учреждений. Это распоряжение явно шло в разрез с Учреждением о губерниях, ибо в ст. 401 учреждения лицам, освобожденным из под ареста по требованию совестных судов, предоставлялось *самим* избирать любое судебное место в губернии для разбора своего дела. Сиверс в данном случае своим вмешательством несомненно нарушил закон¹⁾.

В 1785 г. при Саратовском городовом магистрате содержались в заключении кадомский купец Дьяконов, мещанин Серков, и два крестьянина. Они обратились к заступничеству Саратовского совестного суда на основании ст. 401 Учреждения о губерниях. Оказалось, что они содержатся под стражей без всякой вины, только как свидетели по делу саратовского содержателя питейных сборов из опасения, как бы они не отлучились самовольно из города. Саратовский совестный суд распорядился, немедленно освободить их из под стражи и только взять по них поруки в том, что они явятся в суд для дачи своих свидетельских показаний. А саратовскому городовому магистрату дано было предложение, чтобы он впредь от таких наглых притеснений воздержался¹⁾. В первом случае вмешательство совестного суда возвратило свободу человеку, попавшему в заключение явным образом по каким-то личным счетам, „только этим и можно объяснить и стремление местных учреждений“ переложить ответственность друг на друга и слишком сбивчивые и туманные указания этих мест на причины задержания Кузнецова, из которых нельзя было извлечь ничего определенного относительно вины его. Во втором случае выяснилось очевидное злоупотребление саратовского городового магистрата, заключавшего под стражу не только подсудимых, но и свидетелей по делу. Обыкновенно, в

¹⁾ Псковский совестный суд, в. I. Журналы 5 декабря и 11 декабря 1778 г. 8 января и 3 октября 1779 г.

¹⁾ Саратовский сов. суд. Книги, вязка 6, Журнал 5 июня 1786 г.

случаях арестов без объявления заключенному вины его, совестному суду приходилось употреблять не мало усилий, чтобы доискаться, откуда исходило распоряжение об аресте. Но совестные суды кроме того входили в исследование и всех вообще обстоятельств, которыми сопровождалось взятие под стражу человека без объявления ему вины, а также обращали внимание и на способы содержания под стражей, если жалобщик указывал на какия-либо злоупотребления или притеснения, допущенные в этом отношении. Интересный пример тому находим в следующем деле. В сентябре 1788 г. в Саратовский совестный суд поступило прошение от царицынского купца Лапшина. В прошении жалобщик указывал на то, что он содержится под стражею с 31 мая по 22 августа при местном магистрате, не будучи осведомлен о причинах своего задержания. Кроме того, содержат его очень строго, не дают чернил и бумаги. Когда он, наконец, запросил у магистрата объяснения, за какую вину его так строго содержат под караулом, ему было отвечено надписью на его прошении, что он взят под стражу за непредставление порук в невыезде из города, но что о таком строгом содержании его от магистрата распоряжения не было.

Сверх того Лапшин жаловался еще на то, что магистрат, злобясь на него, собрал некоторых граждан и принуждал их дать подписку о нежелании иметь Лапшина в царицынском купеческом обществе. Многие, уступая принуждению, дали подписки, но некоторые отказались. Лапшин просил совестный суд милостиво исследовать чинимые ему от магистрата притеснения и от наводимого на него бедствия его защитить. Саратовский совестный суд дал ход жалобе Лапшина. Прежде всего он запросил Царицынское комендантскоеправление о том, по чьему приказу Лапшин содержится на гауптвахте с такой строгостью и потребовал присылки официальных офицерских списков, веденных при царицынской гауптвахте с 31 мая по 27 августа. Далее Царицынскому нижнему земскому суду совестный суд предписал опросить всех граждан, подписавших приговор о нежелании иметь Лапшина в обществе, добровольно ли дали они свои подписи или по принуждению. З октября комендантскоеправление ответило, что Лапшин содержался совместно с другими колодниками весьма не долго, а большую частью его содержали в офицерской кордегардии и почти ежедневно по просьбе его жены его отпускали в его дом и сад, но только под караулом, чернил и бумаги ему не давали по той причине, что от него исходили многие несправедливые бумаги. Затем совестный суд потребовал от царицынского магистрата подлинное дело о Лапшине. Из этого дела совестный суд усмотрел, что причиной задержания Лапшина было непредставление им по себе порук о невыезде из города. Но из того же дела оказалось, что поруки по Лапшине в магистрат подавались, но магистрат их не принял на том основании, что принесли их в магистрат не сами поручители. Совестный суд признал этот поступок магистрата неправильным и нашел, что магистрату во всяком случае надлежало принять поруки, а затем вызвать поручителей и допросить их, признают ли они свои подписи и желают ли за Лапшина ручаться; в случае утвердительного их ответа, Лапшина надлежало из под стражи освободить, а при отри-

цательном ответе—судить Лапшина по законам. Все это магистратом было упущено и тем Лапшину от магистрата сделано было притеснение. На этом основании Совестный суд постановил—вызвать Лапшина, освободить его из-под стражи и предоставить ему избрать то судебное учреждение, в которое он желает перевести разбирательство своего дела¹⁾.

Приведенные примеры показывают, что ст. 401 Учреждения о губерниях не оставалось мертвой буквой и вмешательство совестных судов на основании этой статьи в дела о неправильном задержании людей по предписаниям различных учреждений приводило действительно к раскрытию серьезных злоупотреблений и к возвращению свободы тем, от кого она была пезаслуженно отнята.

Но мы должны указать также и на то, что совестные суды бывали под час обременены такими жалобами заключенных, которые при их поверке оказывались неосновательными и которые приходилось поэтому оставлять без последствий.

Канцелярист Саратовской казенной палаты Крылов был предан суду по обвинению его в самовольном убавлении числа душ в ревизских сказках, поступающих в ту палату. Отвергая это обвинение, он заявил самому Наместнику, что в Казенной палате никаких дел не делают без пристрастия и корысти. Но когда Наместник дал этому заявлению ход, Крылов от своих слов отперся. Тогда Наместник предписал уголовной палате разбирать дело о показаниях Крылова. Заключенный под стражу, Крылов жаловался в совестный суд на свое задержание. Но Уголовная палата, отвечая на запрос совестного суда, доказала, что Крылов был отдан под стражу в качестве подсудимого, при чем ему была объявлена и вина его. В виду этого совестный суд и постановил объявить Крылову в присутствии, что он просил недельно и чтобы „впредь он такими неосновательными просьбами на совестный суд бесплодного труда не наводил“²⁾. Этим выговором и ограничилась кара, постигшая Крылова за неосновательную жалобу. Таким образом в данном случае не было соблюдено постановление ст. 401 Учреждения о губерниях, по которому проситель, должно написавший совестному суду о том, что он яко бы сидит в заключении без объявления ему вины, подлежал заключению в тюрьму „пуще прежней“. Постановления о применении к Крылову более тяжелого тюремного режима сделано не было.

В Исковский совестный суд поступило заявление от псковского священника о том, что его работник Агеев взят в полицейское отделение и содержится там под стражею в колодке по жалобе на него отставного городового секретаря Нефедьева в том, что Агеев якобы хотел растоптать Нефедьева лошадью на дороге и бесчестил его поносительными словами. Священник просил освободить Агеева из под караула. Совестный суд не

¹⁾ Саратовский сов. суд. Книги. Вязка 6. Журналы 1778 г.

²⁾ Ibid. Журналы 1786 г. В других совершенно аналогичных случаях совестные суды приговаривали таких жалобщиков к заключению в тюрьму пуще прежней. См. Ibid., вязка 7. Журнал 1789 г. 20 июня.

счел возможным освободить Агеева в виду того, что Агеев, по заключении его под стражу, был допрошен и вина ему была объявлена. Совестный суд обратил затем внимание и на то, что, по заявлению священника, Агеева держат ~~под~~^в полиции в колодке. В расследование этого обстоятельства совестный суд не вошел, отдавшись от него довольно своеобразным соображением: так как жалоба на это поступила не от самого Агеева, то суд и считает неимоверным, чтобы полицейское отделение поступило с ним столь немилосердно¹⁾.

Конечно, совестный суд слишком спешно успокоился на таком соображении, явно недостаточным для того, чтобы на основании его оставить без расследования заявление священника. Тем не менее, из всего этого яствует, что контроль совестных судов простирался не только на порядок задержания, но и на способы содержания под стражей лиц, лишенных свободы, ибо, если бы жалоба на забитие в колодку поступила от самого Агеева, то суд вошел бы в расследование также и этого вопроса. Но ст. 401 Учр. о губ. этого не предусматривала, и в этом отношении практика шла далее постановлений закона. Бывали случаи и таких обращений к защите совестного суда со стороны заключенных, которые, не имея под собою достаточных юридических оснований, в тоже время носили характер чисто сутижнической настойчивости.

В марте 1787 г. дворянский заседатель Саратовского совестного суда Веревкин представил совестному суду два письма, полученные им от коллежского ассессора Филиппа Исаева, находящегося под следствием при Уголовной палате. Первое письмо было вложено в конверт с партикулярным адресом, к письму была приложена жалобница от Исаева в совестный суд на то, что уголовная палата держит *три дня без допросов* петровских пахотных солдат, а в самом письме к Веревкину оказались многие не принадлежащие до совестного суда доносы.

Веревкин, найдя, что эта жалоба не имеет связи с 401 ст. Учреждения о губерниях, отоспал ее обратно Исаеву с объяснением, что он на дому таких жалоб принимать не может. Через некоторое время после этого Веревкин получил от Исаева и второе письмо уже угрожающего характера.

Заслушав представленные Веревкиным письма, совестный суд истребовал от Уголовной палаты Исаева, а от Исаева запросил объяснения, в чем состоит его просьба и какое отношение может иметь его дело к совестному суду. Рассмотрев затем представленные Исаевым заявления, совестный суд нашел, что в них содержатся доносы, до ведения этого суда не относящиеся, и ходатайство за пахотных крестьян, якобы содержимых долгое время под стражею без допросов, ходатайство, которое суд не счел возможным принять, ибо „о том не ему Исаеву, а самим тем солдатам по силе законов просить было должно“. Все эти заявления были возвращены Исаеву и сам он был отослан вновь в распоряжение Уголовной Палаты²⁾.

¹⁾ Псковский сов. суд, вязка 2, Журнал 1780 г.

²⁾ №., Журналы 1787 г.

Если рассмотренные выше случаи вмешательства совестных судов в распоряжения об арестах на основании ст. 401 Учреждения о губерниях показывают, что совестные суды добивались реальных результатов в смысле устраниния несогласных с законом злоупотреблений, нарушающих права граждан по обеспечению их от произвольных арестов, то и приведенные только что примеры необоснованных обращений к совестным судам могут быть объяснены лишь тем, что статья 401 Учр. о губ. не считалась и самим населением мертвой буквой, и к защите этой статьею пробовали на всякий случай прибегать даже и такие лица, которые под действие этой статьи подойти не могли. Разумеется, никто не стал бы пускать в ход таких попыток, если бы заступничество совестных судов за лишенных свободы во всех случаях заведомо было обречено на неудачу, если бы практическое значение ст. 401 Учреждения о губерниях равнялось нулю.

Практическое значение этой статьи несомненно было выше нуля: в этом нас убеждают все материалы, приведенные в предшествующем изложении. Но в какой именно мере эта статья влияла на практику учреждений той эпохи—дать ответа на этот вопрос мы все же не решимся на основании изученных нами документов. Ведь опять-таки не следует упускать из виду, что в делопроизводстве совестных судов зарегистрированы только те дела этого рода, которые *доходили* до совестных судов. А сколько таких дел до них вовсе не доходило? Имеем достаточное основание предположить, что в громадном большинстве случаев аресты, производившиеся с нарушением условий, предписанных названной статьей, оставались неизвестными совестным судам. Слишком уже редки и малочисленны дела по 401 ст. в общем составе делопроизводства совестных судов Екатерининской эпохи. Эта статья, не пройдя совершенно бесследно для тогдашней практики, скользнула по ней лишь слегка, поверхностно, не внеся сколько-нибудь существенного освежения в правовую атмосферу русской жизни того времени. Таково заключение, к которому, думается нам, обязывает нас в этом вопросе исследовательская осторожность.

A. Кизеветтер.

Стихотворение Г. А. Лопатина.

В недавно изданном в Петрограде сборнике „Герман Александрович Лопатин“ в числе других автобиографических материалов шлиссельбургского узника помещены его стихотворения. В число их не вошло, однако, одно стихотворение, которые мы и помещаем ниже. Стихотворению предпосылается письмо Г. А. Лопатина Б. И. и Е. Н. Семевским, интересное тем, что оно отражает в известной степени и отношение самого автора к своим стихотворным произведениям. В письме этом, написанном 4 августа 1915 г., Г. А. пишет:

Дорогие В. И. и Е. Н.!

Отыскал я тот сборник („Под Сводами“), в котором были „само-чинно“ напечатаны мои бедные стихотворения; их тут всего 10, при чем только 4 из них я читал Вам и только 2 написал уезжая. Опечатки и иска^жения почти в каждом, при чем некоторые просто убийственные, иска^жающие смысл, ритм и пр.; а одно сердит меня самым фактом своего поме-щения, не говоря уже о том, что Морозов ¹⁾ процензировал его, сделав, по своим соображениям, подлежащие пропуски... Я уже сказал Штрайху ²⁾, что я беру назад у него свои стихотворения для поме-щения их (и еще других) в „Мин. Годах“ с надлежащими примечаниями, поясне-ниями, и пр. Он обещал вернуть мне их сегодня, но пока еще не приспал, что впрочем не важно. После завтра уезжаю на „погибельный Кавказ“, а пока—до свидания!

Г. А.

Под Новый год.

Ужель и этот новый год
Нам ничего не привесет?
Ужель над спящую страною,
С ее могильной тишиной,
Свободы солнце не взойдет?

1899 г.

¹⁾ Ник. Александрович — шлиссельбуржец.

²⁾ С. А. — историк.

Сумасшедший генерал-губернатор

(Быль).

В ранний час ясного летнего утра (22-го июня 1905 г.) на рейде Феодосии стал 3-хтрубный огромный броненосец „Потемкин“, разукрашенный красными флагами. А спустя час Феодосия уже имела собственного сатрала, назначенного для борьбы со взбунтовавшимися Потемкинцами и для водворения порядка. Официально правителем города состоял командир 2-й бригады 13-й пехотной дивизии—генерал-майор Плещков. Однако, этот тихий генерал обладал необыкновенно скромным характером, и власть осуществлялась его помощником, полковником 52-го пех. Виленского полка А. А. Герцыком. Этот армейский полковник заставил говорить о себе всю Россию своими смехотворными приказами с восхвалением деятельности солдат, подвиги коих по представлению начальству находимых у товарищей прокламаций он описывал в самых восторженных выражениях. Стал он известен и по другому поводу. Придя на вечер, устроенный в пользу курсисток, он задал автору сих строк, заведывавшему кассой, вопрос: „в пользу каких курсисток устраивается вечер?“ Узнав, что пособия из вырученных сумм получают и русские и заграничные курсистки, полковник пришел „в ужас“, заявив, что „заграничным давать денег не желает, а русским даст“. Услышав в ответ, что никакого деления в указанном смысле устроители не делают,—Герцык набросился на меня и только вмешательство пришедших с ним друзей, бывших в таком же нетрезвом виде, как и он сам, удержало его от немедленной расправы. Обещание вызвать роту для того, чтобы „высечь“ меня (студента последнего курса), не было выполнено, так как в конце концов пьяный полковник свалился в соседнем клубе с ног. Впрочем, впоследствии, став ген.-губернатором в декабре 1905 года, Герцык свел счеты с „оскорбившим“ его корреспондентом, воспретив к обращению в Феодосии газеты, в коих тот сотрудничал. Однако, не зная, в каких, именно, изданиях сотрудничает ненавистный ему адвокат, полковник считал за благо—воспретить к обращению более двух десятков газет, и в том числе все Крымские („Южные Ведомости“, „Южный Курьер“ и др.), а также почти все столичные. За провоз газет виновные не раз присуждались им к 2—3-х месячному аресту, и в конце концов чтение газет в Феодосии в те времена стало делом нелегальным.

В дни „Потемкина“ Герцык сразу повел здесь решительную линию. Получив от такого же решительного начальника—корпусного генерала, бар. Меллера-Закомельского, телеграфное распоряжение „арестовать крамольный броненосец и прекратить изменнические сношения с ним с берега“, полковник прекратил мирно начатую гражданами погрузку быков и муки и устроил засаду из отборных солдат полка, паливших из-за угла по матросам. В награду за удачное отбитие атаки и арест матросов (в том

числе и Константина Фельдмана, бросившегося с судна в воду и пойманного на пристани местным портовым надзирателем Бойчевским, предлагавшим свои услуги в качестве палача и вскоре получившего должность Иркутского полицеймейстера!)—в награду за эти успехи от начальства он получил вне всяких очередей генеральский чин, а от солдат вверенного полка—выстрел в упор за зверский расстрел восставших „Потемкинцев“. Однако, стрелявший барабанщик Мачидлобер промахнулся, и тогда и началась мучительная пытка, придуманная для него Герцыком. Будучи приговорен к казни, несчастный Мечидлобер просидел в камере более полугода, сойдя в конце концов с ума. Лишь тогда было приступлено к завершению этого акта драмы, и в глубокую октябрьскую ночь по улицам Феодосии повезли в закрытом фургоне несчастного мученика, оглашавшего пустынные окраины нечеловеческими криками. Бравый же генерал вскоре получил назначение в гвардию в Петроград, где замечен был знаменитым Мином, заняв затем должность командира полка и бригады.

Этот Герцык управлял Феодосией до сентября 1906 г., т.-е. до своего перевода в Петербург. В начале марта прибыл и настоящий наш генерал-губернатор, рожденный, казалось, для управления сатрапиями и генерал-губернаторствами—ген. Давыдов. Первый опыт в этой области он получил в Херсоне, где до нового назначения управлял дисциплинарным батальоном, и где был поднят солдатами на штыки за какие-то мучительства. В конце концов генерал остался жив, а из поднявших его на штыки солдат половина была перевешена. Конечно, десяток колотых ран оставил неизгладимые следы и на теле генерала, и в его психической сфере. Генерал стал... положительно ненормальным, и тем не менее был назначен генерал-губернатором в наш скромный уголок, где и пробыл целых 6 месяцев, т.-е. до января 1907 года.

Вступив в отправление должности, генерал с места в карьер начал издавать обязательные постановления. Каждое из произведений генерала заканчивалось предупреждением горожан о том, что за нарушение правил (скажем,—о непрописке или чего-либо в таком же роде) против виновных будут „приниматься самые суровые меры без всякого предупреждения“. Эти необычные меры воздействия на лиц, нарушавших самые невинные распоряжения генерала, сразу вызвали замешательство в рядах обитателей города. Вскоре стали сыпаться, как из рога изобилия, всякие запрещения. Воспрещены были, конечно, все газеты, воспрещено появление на маскарадах в масках; обычай стрельбы на Иордан, в случае применения, должен был бы быть подавлен „без всякого предупреждения“, и обыватели заготовившие голубей для выпуска на волю, вынуждены были держать их до следующего года. Вообще же обычай водосвятия прошел в тот год при участии одних монашек и шпиков, ибо район был оцеплен войсками, а при большой вероятности применения „суровых мер без всякого предупреждения“ выбраться из этого круга обывателю было бы уже невозможно.

В такой же обстановке происходила процесия перенесения иконы Казанской Божьей Матери в подворье Топловского монастыря. Надо сказать, что генерал наш страшно опасался покушений, и потому горожанам под страхом принятия мер предупреждения, т.-е., короче сказать,—стрельбы

татар-драгун по обывателям, воспрещено было останавливаться на улицах (!), идти более, чем двум, и держать руки в карманах. Все это создано было в целях предупреждения возможности покушений во время **мимолетных** проездов сатрапа, окруженного сотней драгун, и пр.

Применение этого правила нередко вызывало инциденты. Однажды в тюрьму брошены были рыбаки-турки, ни слова не понимавшие по-русски и ни за что не „хотевшие“ выполнить приказа Давыдова о руках. С некоторого времени он стал, между прочим, требовать, чтобы прохожие не только вынимали руки из карманов, но и поднимали их кверху, дабы сразу различать, какое направление принял рука обывателя. И вот, турки, полагая, повидимому, что имеют дело с экспроприаторами, ни за что не желали поднять руки кверху и поплатились за это неделей свободы. В другой раз лично Давыдовым был арестован ревизор Севастопольского участка Южных жел. дорог и контролер той же ветки Михайлов, прибывшие в командировку по важным делам и не успевшие во время проезда сатрапа ознакомиться с его странными требованиями, а также последовать совету горожан—отбежать в переулок.

При проезде генерала по городу в процессии, все магазины закрывались, балконы и окна должны были быть пустые и пр. Нарушение этого правила каралось без всяких послаблений, и 17-го октября, напр., генерал лично выругал по-извозчики жену непременного члена землеустроительной комиссии — г-жу С-кую, осмелившуюся выйти на балкон и посмотреть на процессию, в коеи следовал и ее супруг (содействовавший, между прочим, в должности поручика расстрелу „Потемкинцев“). Автору сих строк, попавшему в процессию, пришлось поплатиться 1000-рублевым штрафом, обыском, с применением со стороны генерала самого отборного лексикона и затем возней с жалобой генерала в Петроградский университет, куда он насторочил длиннейшее слезное повествование о том, что студенты вместо того, чтобы учиться, участвуют в религиозных процессиях.

Впрочем, штраф в 1000 рублей (наложенный, между прочим, не на самого корреспондента, а... на его отца) был уменьшен до 100 р., после того, как пломбировавший генералу зуб дантист потребовал **смягчения** меры, угрожая в противном случае зубной болью пациенту!

В средине ноября на генерала было произведено покушение,—окончившееся неудачей. Около 10 часов утра, когда генерал ехал почему-то один на извозчике, у собора к нему подбежал неизвестный, бросивший к экипажу корзинку со свертком. Никакого взрыва из-за порчи механизма не последовало, но перетрусивший генерал потерял способность говорить и, молча, толкал в спину извозчика. Последний, конечно, остановился, и тогда неизвестный поднял скоро сверток и бросил бомбу вторично,—и снова неудачно. На этот раз манипуляции были замечены городовыми, и за неизвестным учинена была погоня. Сам генерал с револьвером в руках мчался по улицам, и, когда покушавшийся был пойман солдатами через 3 квартала, он подбежал к нему и после нескольких ударов плонул ему в лицо. Неизвестный через ночь был расстрелян, но долго еще Давыдов не мог успокоиться, и, не доверяя помощникам, приказал разрыть могилу и показать

зать ему останки казненного. Извощик № 91, не понявший толчков в спину, был посажен генералом на 3 месяца в тюрьму.

После покушения генерал стал особенно осторожным. Стоявшие у занятого им бывшего ханского татарского дворца великолепные тополя были срублены, охрана была усиlena, сам он почти не выезжал. Однажды, когда спокойствие генерала было нарушено стуком вставляемого стекла, генерал посадил на 2 недели прислугу, не предупредившую его о починке окна, и стекольщика, оказавшегося страдальцем в чужой беде. Дома режим был установлен самый строгий, и меню обедов подавалось генералу на утверждение в письменной форме.

Явившуюся к генералу с поздравлениями по случаю избавления от бомбы депутацию от мыслящих по „истинно-русски“¹⁾ генерал приказал основательно обыскать, что вызвало бегство депутатов до окончания церемониала. Любимое развлечение генерала—вывод дрессированной лошади на парад пред всем полком для демонстрирования ее танцев—было также заброшено, и таким домоседом генерал остался до последних дней управления. В особенности сожалели жители города своего престарелого полицеймейстера—комичного В. Я. Попова. Этот Попов, получивший повышение в Севастополь, в 1905 году, за расстрел толпы у тюрьмы, был снова возвращен в Феодосию, где и кончил свои дни на посту градоправителя. Попов абсолютно не разбирался во всем происходившем, и интересовался только стихами. Правда, и в этой области он являлся дилетантом, складывая, при своей неграмотности, жалкие двухстишия в роде: „Мы с вами—говорим стихами“ и т. п. Попов дотого не разбирался во всем, выходившем за пределы полицейского обихода, что питал необычайную вражду ко всяkim иностранным словам, запрещая, напр., исполнение „Интермеццо“ из „Сельской чести“ и разрешая его лишь под названием вступления. Небольшого роста, толстенький, Попов бывал одержим необычайным страхом перед лицом толстого, упитанного и тучного генерала. Последний гипнотизировал его, как удав кролика, заставляя 65-ти летнего старца ложиться на пол и прислушиваться к шуму воды, стекавшей в соседней с дворцом бане, усаживал его на передок экипажа, в коем выезжал в город, присоединяя и сына и адъютанта к числу намечаемых покушавшимися жертв. В таком виде и ездила эта компания.

Наконец начальство обратило внимание на ненормальность градоправителя. Было сделано представление в столицу, и в конце января военное положение было снято. Давыдов оставил пост ген.-губернатора после полугодового управления городом, но еще 1/2 года (до своей смерти) оставался командиром бригады. Следует заметить, однако, что при таком терроре никакого ущерба революции нанесено не было, ибо сатрап вел борьбу с обывателем, совершившио не интересуясь революционерами.

B. Гейман.

¹⁾ „Союза русского народа“ здесь не было по следующей причине: прибывшие из Симферополя организаторы были отхлестаны драгунами за неподнятие рук при проезде генерала. После этого желающих открывать Феодосийское отделение союза не нашлось.

Записка Шванебаха¹⁾.

Июнь 1906 г.

Роковою ошибкою было бы искать в Государственной Думе ключ того, в последней степени, опасного положения, в котором находится Россия.

Важна не Дума, а то, что готовится в стране и чему Дума служит прозрачною только завесою.

А готовится в стране взрыв анархической революции, того бессмыслиценного жестокого бунта, о котором говорил еще Пушкин.

С октября прошлого года вожаки анархии бросили вызов правительству: „Мы дадим царскому правительству последнее и окончательное сражение тогда, когда мы к нему будем готовы!“ Москва и ряд усмиренных мятежей — это лишь форпостные дела. Финальный бой впереди, когда администрация будет окончательно дезорганизована, войска деморализованы, и население, измученное безнаказанными убийствами и грабежами, и не видя себе защиты и помощи со стороны власти, склонит головы под топорами убийц.

План террористов намечен в прилагаемой заметке-беседе немецкого журналиста с некоторыми из главарей грядущего катаклизма. И не призраки же рисует эта заметка: ведь все действительно идет по намеченной программе. Не симптом ли надвигающейся катастрофы организация террористов в Белостоке, где дружины уже открыто облеклись в форменный наряд — черные блузы, и где всякий агент правительства, попавший в их штаб-квартиру — Суражскую улицу, — идет на верную смерть? Не симптом ли гангрены, подкрадывающейся к войску, мятежные проявления в Преображенском полку?

Связанное по рукам и по ногам лозунгом выжидательной политики, правительство, ясно видя надвигающиеся со всех сторон тучи, вынуждено продолжать бессмыслиценную шахматную игру с Думой, ежедневно роняя достоинство русской императорской власти перед лицем России и Европы в бесславной игре с подонками русской „интеллигенции“.

1) В „Голосе Минувшего“ уже была помещена одна Записка Шванебаха, (1918 г. № 1—3), бывшего довольно крупной фигурой среди министров Николая II.

Данная Записка, написанная на год раньше, отчасти дополняет содержание той, от части развивает ее отдельные положения. Ред.

Трудовики же, стоящие позади одураченных кадетов, потирают руки, видя, что правительственный столбняк ежечасно приближает их к зверской развязке.

Пребывать в нерешительности, значит итти на верную гибель. Решение же может быть принято только одно из двух:

Или безотлагательное сформирование нового министерства, способного найти примирение с Думой, дабы объединенными усилиями достигнуть успокоения страны; или же предоставление существующему правительству итти на неизбежный и ничем неотвратимый бой с революцией.

Новое министерство могло бы быть взято или из состава Думы, т.-е. из кадетов, или же из общественных деятелей не думских¹⁾.

Оставляю в стороне все трудности исполнения и предполагаю, что в том или ином виде кабинет из небюрократов составлен.

Что же произойдет в дальнейшем? Чтобы снискать расположение Думы, министры должны будут итти навстречу думским требованиям? Не сделай они этого, положение ни на волос не изменится против настоящего. Пришлось бы, следовательно, дать амнистию, отменить смертную казнь, снять повсюду военное положение, словом — не говоря о многом другом — разоружить власть, сделав страну беззащитною добычею террористической революции. Податливое правительство, конечно, все время будет чуять грозящую и ему гибель, но когда перед дерзкою мобилизациею революции оно, наконец, с отчаяния, кинется в репрессию, то битва наперед окажется проигранною администрациею, которую само оно развратило, и она откажет правительству в повиновении; войско спасут перед мятежом или примкнет к бунтовщикам; и даже обыватель, дрожащий за жизнь и имущество, станет искать милосердия у вожаков революции скорей, чем итти на помочь правительству, в которое он изверился.

Нет! Не быть этому! Господь бог вложит в сердце государя ту царственную решимость, которая спасет Россию от столь бесславного конца.

При решимости не уклоняться от неотвратимого боя, а смело итти навстречу ему, надлежало бы держаться строго определенного хода действия:

1) Первому шагу — роспуску Думы — должно бы предшествовать широкое и торжественное оповещение крестьян, объясняющее всю несбыточность и миражность думских земельных проектов и излагающее совокупность практических мер, коими правительство пойдет навстречу крестьянской нужде²⁾.

Если таким путем и не будет уничтожен сразу навеянный на крестьян гипноз, то все-таки можно рассчитывать на некоторое отрезвление в крестьянской среде и на то, что сплоченными массами оно при роспуске Думы не станет на сторону революции.

¹⁾ Такой план в тогдашнем правительстве, как известно, существовал, и переговоры по этому поводу вели между прочим известный Трепов. (Ред.).

²⁾ Эта мысль, равно как и та, которая высказана в п. 2-м, нашла до некоторой степени свое выражение в манифесте 9 июля 1906 г. о роспуске первой Думы. (См. „Законод. акты переходного времени“. Спб. 1909 г., изд. 3-е, стр. 391—93). Ред.

Сporадические аграрные беспорядки, конечно, будут, ибо яд двухлетней аграрной провокации ни сразу, ни даже скоро исчезнуть не может.

2) Величайшее внимание должно быть обращено на царское воззвание к русскому народу при распуске Думы.

Тут ясно должно быть сказано, что отечество и русская государственность в опасности. Что каждый, верный заветам русской истории, сын отечества обязан дать себе отчет: за что он стоит: за нераздельную ли Россию с царем во главе, или за мятежников, которые, одурманенные лжеучениями, хотят ввергнуть страну в потоки крови, вести ее к расчленению. Но надо сказать и другое,—что царь, верный обету, данному своему народу, твердо намерен управлять страною в единении с представителями народа: что мятежная Дума потому и распускается, чтобы спасти начало народного представительства, вопреки представителям, не оказавшимся достойными сего звания.

3) Дабы более еще осозательно подчеркнуть мысль, что распуск Думы не знаменует возврата к старому порядку, и что шаг не сделается ради торжества бюрократии, надлежало бы ввести в состав кабинета, на второстепенные посты, трех или четырех общественных деятелей либерального направления, но, конечно, патриотических монархистов¹⁾.

4) Нет ни малейшего сомнения, что распуск Думы вызовет в разных местах революционные движения.

К их беспощадному подавлению должна быть направлена вся энергия правительства, и в сих видах действия гражданской и военной власти должны быть строго координированы, с предоставлением председателю Совета министров полномочий, настолько широких, чтобы устраниены были столь опасные в критические моменты проволочки.

5) Коли в предстоящей борьбе русскому правительству суждено погибнуть, то оно погибнет с честью в сознании исполненного долга. Но оно не погибнет, раз только оно решилось победить. Все победы, одержанные когда-либо, одерживались всегда раньше, чем раздавался первый выстрел, в сердце того, кто решался на бой и шел с непреклонною волею не отступать. И где же победить дряблой русской революции, лишенней творчества и не имеющей другой цели, как разрушение и хаос? Русская революция сильна только слабостью и нерешительностью правительства; она способна только на подпольную организацию, выйдя же на свет божий, она теряется и распускается, не создавши ни вождей, ни хотя бы временной организации. Это достаточно доказали все бунты как прошлого, так и текущего года.

Это доказывает сама Дума с ее чудовищною, бесформенною неработоспособною болтовней.

6) Как только правительство проявит решимость, силу и выдержку, раз поймут, что оскорблять русское знамя оно не дозволит всякому негодяю, атмосфера очистится. Миллионы людей мирного труда поймут, около какой пропасти они стояли, как велика была опасность, грозившая Рос-

¹⁾ Как известно, после распуска первой Думы 8 июля 1906 г. Столыпин, тогдашний премьер, вел такие переговоры с некоторыми общественными деятелями, во безрезуль-татно. (Р е д.).

сии. Произойдет то же, что произошло в конце 1905 года, после уклона московского мятежа. Но тут-то не дай бог повторить ту ошибку в какую была вовлечена Россия нечестною политикою гр. Витте.

Надо будет отстаивать, как бы легко ни стала даваться реакция, новый дарованный России строй, стараясь очищать его от злоказнеческих нарости. В числе таковых на первом месте стоит злополучный избирательный закон, давший нам нетрудоспособную и революционную Думу, Новый избирательный закон надлежало бы провести через Государственный Совет, при первом прояснении общественного сознания и, не складывая оружия перед революцией, итти дорогой упорного и неустанного труда поднятия материального благосостояния народных масс России.

В гейдельбергском университете.

Осенью 1861 г. вследствие студенческих волнений был закрыт Петербургский университет. По совету моего хорошего знакомого, известного малороссийского писателя Понтелеймона Александровича Кулиша, я решил поехать за границу продолжить образование, но так как мне в то время было менее восемнадцати лет, то предварительно я отправился к отцу в село Прыски Козельского уезда Калужской губернии и он, со свойственным ему благодушием, а также, как человек высоко культурный¹⁾, немедленно меня благословил на эту поездку и дал значительную сумму денег. И вот я в октябре того же года выехал из Петербурга на Верхнеболотово.

В Гейдельберге я остановился на соборной площади, в скромной, но солидной гостинице Zum Ritter, но на другой же день я уже нашел себе квартиру в ближайшем переулке Semmelgasse № 6 у милейшей старушки Frau Wohlfahrt, у которой я нанял одну комнату за баснословно дешевую цену в шесть рейнских гульденов шестьдесят крейцеров в месяц. (Не надо забывать, что тогдашний рейнский гульден был ниже австрийского гульдена и равнялся на наши деньги шестидесяти копейкам, тогда как австрийский — стоил девяносто копеек).

Квартира эта, правда, состояла только из одной комнаты, но с двумя окнами, выходившими на улицу — с занавесками ослепительной белизны и чистоты, с таким же ослепительной белизны постельным бельем и скатертями на столе и комоде, с обязательством благодушнейшей старушки чистить мое платье и сапоги, и приготовлять мне воду для умывания, а также и подавать по утрам кофе, и все это приблизительно за три рубля девяносто пять копеек в месяц. Когда сравнишь это с невероятно дорогими теперешними ценами, то невольно удивляешься.

Я стал ходить обедать в необычайно дешевый ресторан под громким названием Zum Türkischen Kaiser, где за двадцать крейцеров получал обед из трех блюд и где всегда велись самые горячие и оживленные споры, ибо туда собиралась масса бедной учащейся молодежи, и где по-

¹⁾ С. Н. Кашкин привлекался по делу декабристов и был выслан в Архангельск, но вследствие смерти отца ему скоро было разрешено уехать оттуда.—Сын С. Н. Кашкина — Николай Сергеевич, принадлежал к числу „петрашевцев“. См. о нем ст. В. И. Семевского „Кружок Н. С. Кашкина“ в № 3 „Гол. Мин.“ за 1916 год. Автор воспоминаний — брат Н. С. Кашкина. (Ред.).

этому бывало так весело, что никто не обращал внимания на отвратительный немецкий габер-суп и на противную жесткую говядину с сладким черносливом, которыми нас угождал ежедневно хозяин этого заведения. Никогда не забуду, как милейший юноша Баклановский (живший вместе с солидным химиком Линевым) восторгался неистово только что вышедшем произведением Victor Hugo *Les Misérables*, и как ему казалось совершенно правдоподобно, что одна из героинь романа, работница Фанни, не только продала парикмахеру свою дивную косу, но даже вырвала почти все свои зубы и продала их за ничтожную цену, только чтоб остаться честной и как-нибудь поддерживать свое скучное содержание (тогда-то вошли в моду знаменитые цепочки *à la Jean Valjèan*, которыми мы все увлекались; я также приобрел себе железную цепочку — в память тех цепей, которые носил этот герой романа на каторге). Кроме сбираща в этом ресторане, мы собирались очень часто в гостинице Russischer Hof Веттштейна, где у нас бывало даже некое подобие лекций с возражениями и прениями. Помню, как сам Неклюдов, незабвенный Николай Адрианович, знаменитый впоследствии автор книги „Руководство для мировых судей“ (настольной книги, необходимой для всякого мирового судьи) и конечно сам наилучший мировой судья и председатель Петербургского мирового съезда, помню, как он читал и блестяще защищал свои этюды о преступности малолетних. (Книга, которую он защищал, как диссертацию на учченую степень магистра уголовного права, ибо в это время, в 1861 г., он уже был магистрантом). В нашей русской колонии тогда были ведь не одни юные студенты — было много и молодых ученых, посланных разными университетами для усовершенствования в науках с тем, чтобы по возвращении занять разные кафедры; в числе их был и мой приятель Неклюдов и мой хороший знакомый, Константин Александрович Рачинский (у которого была прелестная супруга и дом которого был для меня самым приятным семейным очагом во всем русском Гейдельберге). В числе молодых ученых был также и математик Столетов и философ Автократов и филолог Василий Иванович Модестов (киевлянин).

Хотя я говорю о гостинице Веттштейна, где происходили всякие ученые ристалища, но постоянным сборным пунктом была, конечно, кондитерская Frau Helwerth, при которой мы, русские, имели свои две комнаты, служившие нам и библиотекой и читальней, а главное — постоянной ареной для тех бесконечных русских споров, в которых в конце концов каждый из споривших забывает самый предмет и суть темы ицепляется только за последние слова противника.

Библиотека наша состояла, конечно, почти исключительно из запрещенных русских книг, а также из самых новейших французских, немецких и английских изданий, книг, брошюр и газет социалистического оттенка: тут были на первом плане „Колокол“ и „Полярная Звезда“ Герцена, находившегося тогда на кульмиационной точке своего несравненного, могучего таланта. Каждое слово Герцена действовало неотразимо на тогдашнюю молодежь, впечатлительную и жаждущую до новых идей, увлекавшуюся до самозабвения всякими научными и литературными афоризмами, но, конечно, только тогда, когда они высказывались с глубоким убеждением и искренностью.

Кроме Герцена, тут были и Огарев и Бакунин и даже та самая знаменитая газета, о которой упоминает Тургенев в „Дыме“,—газета, называвшаяся: „Бог не выдаст, свинья не съест“ или — A tout venant je crache—т.-е. на всякого прохожего я плюю. И сейчас у меня в руках находится номер либеральной газеты того же времени: „Вперед“ (Forwärts). Из французских писателей были: Виктор Гюго, Жорж Занд, Пьер Леру и Прудон и другие знаменитости тогдашнего мира,—более или менее социалистического направления. Из немецких были — Молешотт и известный зоолог Карл Фогт, Бюхнер и друг. Были тут и творения бессмертного Гейне и не мало еще хороших книг.

Наше общество посещала madame Камарова, очень милая и хорошенькая русская дама, имевшая только один недостаток, а именно—мужа, не в меру ревнивого и глуповатого. Однажды я счел себя вынужденным вызвать его на дуэль за то, что он вдруг запретил своей жене танцевать со мною, а танцевальные вечера в нашем милом полурусском городке бывали в двух местах: в Harmonia и в Museum, сколько помню; в последнем публика была наиболее аристократическая. Население города Гейдельберга—равнялось в то время пятнадцати тысячам жителей, в числе которых было не менее трех тысяч студентов и приблизительно от 400 до 500 иностранцев всевозможных наций. Первое место занимала русская колония, а потом американцы и англичане, меньше было французов и итальянцев, но все-таки были и они. Первое время я жил совершенно скромно, особенно близко сошелся с двумя товарищами, которые были не моего факультета: я был филологом, тогда как Беляев был юристом, а Лачинов—химиком (впоследствии Лачинов сделался профессором химии, а Беляев, если не ошибаюсь, товарищем обер-прокурора уголовного кассационного департамента сената). Мы очень часто сходились втроем друг у друга и пили чай по-московски, хотя и без самовара, но тем не менее бесконечно долго и вели бесконечные русские разговоры и споры.

К тому же периоду относится крайне интересное для меня знакомство с знаменитым Николаем Ивановичем Пироговым, который был в то время командирован министерством народного просвещения в Гейдельберг для наблюдения за молодыми русскими учеными и студентами.

Никогда не забуду нашего интересного разговора, который Пирогов закончил тем, что он никогда не дочитывает никакой книги до конца, ябо, прочитав три четверти, уже понимает все, что хотел сказать автор.

Желая держать экзамен на доктора философии, я счел необходимым сделать несколько визитов профессорам историко-философского факультета. Из числа профессоров этого семестра лекции по истории читали: Гервинус (знаменитый шекспировед и не менее прославленный историк XIX века, автор прекрасного некролога скончавшегося за месяц до моего приезда историка Шлоссера, чьи два солидные труда были переведены на русский язык: Всемирная история и История XVIII столетия) и известный историк Французской Великой Революции—Гёйссер. Эти два ученые были в 1861 г. красною Гейдельбергского университета и главными силами своего факультета. Но я не мог неходить на лекции другого светила науки, хотя и не

моего факультета: я говорю о блестящем профессоре уголовного права Карле Миттермаере. Никогда не забуду начало одной его лекции: *Meine liebe junge Herrten!* (мои милые молодые господа!) *Wahrheit gegen Feind und Freund!* (правда против врагов и друзей!). Философию читал профессор Рейхлин-Мельдекк.

Однако экзамен я не держал, ибо счел себя недостаточно подготовленным.

Как хороша была тогдашняя, простая немецкая жизнь с ее высокими идеалами, с ее культом свободы, поэзии и прав человеческой личности, с ее массой выдающихся ученых сил, разбросанных по множеству маленьких и средних университетов, ибо в те времена Берлин еще не притягивал к себе лучших и даровитейших представителей немецкой науки. Как бы удивились тогда немецкие профессора, если бы им скавали, что в XX веке двери их свободных университетов будут закрываться для русских студентов, что не научные, а политические и административные соображения берлинского министерства народного просвещения будут диктовать программу действий немецким профессорам.

Какая громадная и непонятная разница между тогдашней мирной, ученой и литературной Германией и вынешней, изнывающей под диктатурой главы прусских юнкеров¹⁾.

Юрий Кацкин.

¹⁾ Написано до революции 1918 г. (Ред.).

Уездный город 100 лет назад.

(Отрывок из воспоминаний А. И. Ишимовой).

Автор приводимого ниже отрывка, известная детская писательница, современница Пушкина и Жуковского, — Александра Иосифовна Ишимова, написала в 1875 г. для П. В. Быкова свою автобиографию; на основании ее, г. Быков составил очерк о жизни писательницы, напечатанный в № 8 журнала „Древняя и новая Россия“ за 1878 г. В нашем распоряжении находится теперь самая рукопись автобиографии. Берем из нее небольшой отрывок, неиспользованный биографом и представляющий известный интерес, как характеристика быта глухой провинции в 1819 г. Судьба занесла в этом году семью Ишимовых в Усть-Сысольск. Отец писательницы, служивший чиновником министерства полиции и занимавшийся в то же время ведением судебных дел в роли частного ходатая, взялся за сложное дело о незаконном владении помещиком К-ской губернии 5000 казенными крестьянами и 30000 десятинами земли. Ишимов выступил ходатаем от крестьян. (Сущность дела изложена в упомянутом очерке П. В. Быкова). Ему удалось добиться высочайшего распоряжения на наложение опеки на имение и на рассмотрение самого дела в Государственном Совете. К несчастью, помещик оказался родственником всесильного Аракчеева. И финал для Ишимова был совершенно неожиданный: по высочайшему повелению он был выслан в Вологодскую губернию. Таким путем ликвидировалось начатое дело. В три дня Ишимов должен был собраться, распродать свое имущество и переселиться в самый отдаленный город Вологодской губернии. Кратко-временной жизни в Усть-Сысольске и посвящен помещаемый ниже отрывок из воспоминаний А. И. Ишимовой.

С. М.

О наружности города и говорить нечего: это были две-три улицы с деревянными домиками на довольно большом расстоянии один от другого и только с двумя каменными домами двух первых купцов города: Сухановых. По календарю нынешнего года значится там 3500 жителей, а 50 лет тому назад конечно было не более 2000. Общество состояло из обычновенных чиновников прежнего уездного города: Городничего, Исправника, Судьи, разных заседателей и стряпчего; и купцов,—по большей части разбогатевших зырян, так как уезд Усть-Сысольский населен весь зырянами. Все эти господа довольно резко отличались от тогдашнего петербургского общества, но как я еще в этом последнем не бывала в моем 14-ти-летнем воз-

расте, то ни они ни семейства их не казались мне слишком странными. Я с удовольствием знакомилась с ними, и по вечерам довольно часто бывала у них в гостях, а по утрам была занята уроками, которые давала моему брату и еще 12-ти-летнему сыну городничего, которого маменька через несколько дней после приезда нашего прислала к нам с банкою помады в руках и просьбою поучить его по-французски. Этого мальчика, по имени Васеньку, всегда звали Василием Николаевичем и одевали в черный панковый сюртук с красным воротником, точь-в-точь такой же, какой был у его отца. Сначала я не могла смотреть без смеха на этого маленького городничего, но потом я привыкла к костюму его и очень усердно занималась с ним и братом русским и французским языками. После уроков я помню, что часто играла с учениками моими в горелки. Но кроме того, я усердно занималась сама изучением французского языка и несколько немецкого, переводила разные рассказы из книг, оставшихся от нашего разорения. Руководителей в этом ученьи никаких не было там: никто во всем городе не знал никакого языка, кроме русского и зырянского; но у меня было несколько французских книг и какая-то толстая французская грамматика. Я изучила ее с первой до последней страницы и дошла до того, что могла читать отцу моему французскую книгу по-русски. Он не знал иностранных языков. Кроме этих научных занятий, я имела в Усть-Сысольске и другие, отнимавшие у меня также много времени.

Побывав в первый раз на вечеринке у именинника — судьи (лицо очень почетное в то время в уездном городе) — я поражена была удивлением, когда вдруг раздалась хороводная песня, и хозяйка, взяв за руку одного из молодых людей, начала ходить с ним по зале; он взял другую даму, та опять другого кавалера и так продолжалось до тех пор, пока не составилась длинная цепь из всех молодых дам и мужчин. Как скоро эта цепь сомкнулась в большой круг, началась какая-то хороводная игра, для которой выбирались одна или две пары мужчин и дам. Для меня показалось это очень странным зрелищем: в Петербурге я слыхала, что играют в хороводы только крестьяне да крестьянки в деревнях, да еще где-то в Ямской в праздник, который называется Семик. Я, несколько не стесняясь, объявила всем девицам, что у нас, когда собираются, то танцуют. Они откровенно признались, что слыхали о танцах, по что у них никто не умеет танцевать, да и музыки никакой нет в городе. Тогда я обрадовала их обещанием, выучить их всем танцам, какие танцуют в Петербурге, а что касается музыки, то у нас был человек, который играл на скрипке. Родители мои завезли с собою целую семью людей, и этот доморошенный музыкант был сын нашей кухарки. Итак, на первом же вечере все молодые девушки решили, что начнут учиться танцевать и, выучившись, перестанут играть в хороводы. Вот у меня и было новое занятие — учить их: усердие их к этому учению было так велико, что прежде нежели наступила зима, они танцевали уже все танцы, каким я сама выучилась в пансионе: польской, вальс, экосез, мазурку и еще какой-то, теперь забытый мною, танец: *tempête*. Нельзя описать того удовольствия, какое чувствовали мои ученицы, когда в первый раз на *чьих-то* именинах раздались звуки скрипки нашего Егора, и все они пошли парами

польской. С этих пор танцы так понравились всему обществу, что в лучших домах хороводы были совсем оставлены. Может быть, вы спросите: кто же научил танцевать мужчин? — Сестры их; да, впрочем, молодых людей было очень немного в городе: сыновья купцов жили по большей части в Архангельске, в котором вели торговлю отцы их, а между чиновниками не было ни одного такого молодого, чтобы мог он пуститься в танцы; ученицы мои и не заботились о кавалерах, и превесело танцевали дамы с дамами. Вместе с танцами мне удалось ввести некоторые новые порядки и в туалетах их. Самых богатых семей было только два, и те были купеческие, и в городе было только два каменных дома, принадлежащие им. Все чиновничество было бедное. В обоих семействах было много дочерей. Все они носили на головах шелковые платочки, повязанные по-купечески. Я уговорила их оставить эту моду и носить волосы под гребенку, как носили тогда все молодые девушки в Петербурге. Они охотно согласились, выписали себе черепаховые гребенки из Архангельска; передние волосы завивали в локоны, как также носили тогда. Для платьев сняты были фасоны с моих и моей матери платьев. Я была в 14 лет высока ростом и могла служить моделью для взрослых тамошних барышень. К тому же, обаяние Петербурга действовала так сильно на всю молодежь, что мне, петербургской барышне, верили на слово во всем, что я говорила им, и беспрекословно исполняли все советы мои и моей матушки, которая также скоро сошлась с матерями и старшими замужними сестрами моих молодых приятельниц. Они в самом деле сделались скоро моими истинными подругами. Я любила их всею душой за их искреннюю привязанность ко мне и покорность всем моим желаниям. Эту покорность довели они до того, что не прошло двух лет от нашего знакомства, как они под руководством моим победили свою природную робость и, не видав никогда ни театра, ни чего либо похожего на театральное представление, решились сыграть небольшую пьеску того времени: „Филаткина свадьба“. Это представление до того понравилось всем, что даже старик-купец и хозяин того дома, где оно проходило, с удовольствием смотрел, как его дочери и подруги их разыгрывали свои роли.

Может быть, мы дошли бы еще до чегонибудь лучшего на пути к цивилизации, но через два года над нами разразилась новая гроза: прислано было отцу моему повеление от вологодского губернатора, переехать на жительство в другой городок этой губернии: Никольск. И эта новая невзguna не поколебала того христианского терпения, с которым отец мой переносил судьбу свою. Более его горевала матушка, и нельзя было не горевать ей, видя как уменьшались средства наши к жизни: отец мой не получал ничего от казны, и мы жили только распродажею ценных вещей наших и некоторыми пособиями, присыпаемыми родственниками матушки из Сибири. Что касается до меня, то я, вполне разделяя с отцом моим его надежды на помощь Божию, плакала только о том, что расставалась с моими милыми подругами в этом бедном городке. Они плакали не менее меня.

Мелочи прошлого.

Символический кабинет¹⁾.

И в единены есть система—
Я это доказать готов.
Хоть, может быть, такая тема
Не безопасна для стихов.
„О счастьи мысль из думы выкинь“,—
Так отвечали вместо мер,—
„А горе мыкать—Горемыкин
Не подходящий-ли премьер?
Тянуть за хвост по нужде глядя
То граждан надобно, то суд—
И вот Хвостовы (первый дядя, второй племянник) оба тут.
Когда узлы, предмет заботы,
Их надо тонко растрепать,—
Резонан Трепова позвать.
Чтоб ширь духовного простора
В плоть осязательно облечь,
На должность обер-прокурора
Не мудро-ль Волжина привлечь.
Ведь помиришься и на марке,
Когда монет достать нельзя;
Так можно ехать и на Барке,
За неименьем корабля.
Для земледелья не новинка,
Что глиняке колос не взойдет,
Но там, где не поможет Глинка,
На ум Наумов наведет.
Так символично кабинету
Подображен каждый член:
Теперь сказать Вам по секрету,
В чем символ самых перемен.
Грядущий день наш сер и мутен
Конца распутью нет как нет,—
Вот почему один Распутин
Весь заменяет кабинет.

¹⁾ Из политических сатир последних лет царствования Николая II.

Донесение „раба“ и холопа помещику Романовского уезда, Ярославской губ.

(Страница из истории крепостного права).

„В Санкт-Петербург, Милостивому государю нашему Ивану Сергеевичу, его высокоблагородию Власьеву, в Измайловском полку, живущему своим домом, а прежде бывшего генерал-лейтенанта Малютина. Подателю дано будет—такой адрес имеют около 50 писем-докладов, отправленных в течение 1805-го года (со 2-го января по 31-е декабря) вотчинным правителем Алексеем Васильевым своему барину¹⁾.

Можно думать, что Власьев был помещиком среднего достатка: у него в имении, как видно из писем его правителя, много лошадей, есть конный двор, имеется оранжерея, с его имения приходилось поставить 5 рекрутов—значит, у него было не менее 100 душ м. п., правитель А. Васильев предлагал ему купить имение, стоимое 7—9 тысяч руб., и т. п. Такие помещики часто не жили в своих имениях, управляя ими через управляющих и приказчиков, имели дома в столицах (как и в данном случае) или в губернских городах и только изредка наезжали в свои поместья. В таком случае власть старост, приказчиков и управляющих сильно возрастала, и они являлись фактическими господами для крестьян; но в то же время помещики не доверяли им и требовали во всем подробного отчета; отсюда необходимость постоянной переписки между помещиком и поставленными им в своих имениях властями. Таково происхождение и тех писем-докладов, которые дошли до нас от 1805-го года. Они довольно наглядно рисуют взаимоотношения барина и его вотчинного правителя и в то же время дают не мало интересных черт для характеристики той поры в истории крепостного права, когда, казалось, правительство готово было, наконец, приступить к его ликвидации: мы имеем в виду обсуждение крестьянского вопроса в неофициальном комитете, созывавшемся Александром I. указ 1803 года о „вольных хлебопашцах“ и другие частные законодательные меры; да и вообще это было „дней Александровых прекрасное начало“. Что же происходило в это время там, „во глубине России“?

Довольно регулярно, не больше, как через неделю, правитель Васильев пишет своему барину. Все письма после обращения к барину и его жене (с 22-го марта прибавилось еще обращение к только что родившейся до-

¹⁾ Из архива „Голоса Минувшего“.

чери Власьева „Авне Ивановне“) начинаются трафаретной фразой¹⁾: „Милостию божией в доме вашем Васильевском и в приселках по сие число все благоподучно“. Так же стереотипно заканчиваются все письма: „Более сего вам, милостивые государи, писать не имею. Раб ваш Алексей Васильев, земно кланяюсь...“... дальше идут число, месяц и год.

В высокоторжественные дни, перед Пасхой, Новым годом, трафарет несколько нарушался — письмо начиналось с поздравления. Вообще тон всех писем весьма почтительный, а часто — уличительный. Несмотря на это, вотчинный правитель не раз возражает, хотя и очень осторожно, против распоряжений или намерений барина, вступается иногда за интересы крестьян, и вообще, видимо, перед барином не робеет; неуклонно именуя себя рабом, он, очевидно, вел свою линию; человек аккуратный, деловитый, знающий все хозяйство барина, он действовал осторожно, но, вероятно, умел добиться своего и в своих личных и в крестьянских делах.

Письма правителя Васильева полны всевозможных мелочей. О чем только он не сообщает своему барину! То он сообщает о покупке для конюшни двух ножниц и щеток, то о том, что морошка еще не спела, а поспеет, вероятно, через несколько дней, то о находке в сарае пушки-мортиры. Ни в одном, даже малозначительном вопросе, он как-будто не смеет принять то или иное решение, не узнав предварительно воли господина. Последний, очевидно, и не живя в своем имении, хотел все знать и всем руководить. Отсюда, очевидно, и вся эта мелочность тем, затрагиваемых в письмах правителя. Он не имел от барина каких-либо общих деректив или полномочий, и потому в каждом отдельном случае должен былправляться с волей господина. Отсюда — очевидное отсутствие инициативы у правителя; не проявлял ее, очевидно, и барин, так как это трудно было сделать на расстоянии в 500 верст, а, может быть, и охоты к этому у него не было. И велось все по шаблону, по раз заведенному порядку. Помещик в своем имении не живет, хозяйством не занимается, крестьян не знает, но как-будто боится выпустить дело из своих рук и доверить его правителю; однако, он ведет его по его же донесениям (хотя иногда по месяцам, как тот жалуется, не дает на них ответа) и тем самым вынужден, очевидно, на многое смотреть его глазами. От уменья и ловкости правителя зависит, чтобы барин не замечал этого. Нам кажется, что правитель Васильев умел этого добиться. Таким образом, имение Власьева только по видимости находилось в управлении самого помещика, в действительности будучи в руках вотчинного правителя и родственника владельца, как увидим из дальнейшего.

Так, 5-го февраля Васильев писал, что во время отправления им обоза в Петербург, „Егор Осипов, сам ли собою или кем научен, налил щей у хлебника Петра чашу, п. наливши, принес ко мне в контору с выговором, что даю варить мало говядины во щи. В то время контора была полна народа, своего и постороннего, и за сие я его побравил и погрозил наказанием, того ради, что он бесчестит не меня, а ваше высокоблаго-

¹⁾ Для облегчения чтения мы исправляем орфографию подлинника.

роди^е¹⁾). После этого Егор Осипов написал жалобу на Васильева, и жалоба попала в его руки; тогда он начал искать автора этой жалобы, но узнал лишь, кто переписывал ее набело; это был Парфентий Егоров, который прежде был в бегах, а ныне в доме вашем,—прибавляет Васильев,—нипит тес²⁾. Правитель высек Парфентия розгами, и „в том,—заканчивает он свое письмо,—на меня дворовые ворчат, равно и посторонние...“. Из последующих писем не видно, чтобы это дело имело для Васильева какие-либо последствия. Был еще случай, который показывает, что вотчинный правитель мог сам наказывать крестьян. Производя расследование о пожаре в деревни Горках, он пришел к заключению, что загорелось в доме Филиппа Иванова, „видно (курсив паш) Филипповою женой от неосторожности заронено в сенях“. Хотя таким образом прямых доказательств виновности Филипповой жены не было, тем не менее правитель решил было „наказать их телесно“, т.-е. очевидно, уже и жену и мужа; за что последнего,—неизвестно. Однако, он отказался от своего намерения, „затем, что они уже близ по 70 лет и здоровье имеют слабое“.

Побеги крестьян из имения Власьева случались, очевидно, довольно часто. В письме от 9-го марта Васильев сообщает о поимке в Ростове (Великом) крестьянина Егора Иванова, который был в бегах с чужим похищенным паспортом с августа 1803 года, т.-е. 11^½ года. В письме от 31 декабря упоминается беглый Иван Кондратьев, на которого Васильев просил губернское правление выдать законную рекрутскую квитанцию. Затем, довольно много места в письмах Васильева уделено „беглой жене Маремьяне Федоровой“. Пойманная недели через 3 в Ярославле, она была посажена в тюрьму, а затем уездным земским судом присуждена к 50 ударам плетей и сослана на поселение в Сибирь. Характерно, что муж ее сейчас же стал просить разрешения жениться.

Из дальнейших писем мы узнаем, что четверо из крестьян Власьева были сосланы на поселение; через своего правителя Власьев просил в Ярославле о зачете их в рекруты, но получил отказ, так как выяснилось, что трое из них сосланы „по воле господина“, а о 4-ом в Палате не было никакого производства²⁾. Таким образом в имении Власьева был налицо весь ассортимент важнейших наказаний, применявшихся помешками XVIII—XIX вв. Остается еще добавить, что строптивых крестьян, или подозреваемых в этом, стремились сдать в солдаты. Перечисляя барину крестьян, которые были отправлены в Ярославль для сдачи в рекруты (письмо от 9-го декабря), правитель Васильев называет и того Парфентия Егорова, который за несколько месяцев до этого был им высечен за переписывание набело жалобы Егора Осипова (см. выше). Однако, избавиться от Парфентия Егорова Васильеву не удалось: его не приняли почему-то в солдаты. Предназначенных к сдаче в рекруты Васильев вез „сковаными“.

¹⁾ За несколько дней до этого, по приказу помешка, „застольным на харч“ стало выдаватьться, вместо 15 фунтов мяса в день, 10 фунтов.

²⁾ Ссылка крепостных на поселение была по повелению государя приостановлена „впредь до повеления“. Только в 1822 году она была вновь разрешена, но без зачета в рекруты. Полн. Собр. Зак. XXVII, 20119, п. 3. XXXVIII. 28954. Ред.

Как же при таких порядках жилось крестьянам Власьева? Из писем его „раба“ видно, что власьевские крестьяне находились не все в одинаковом положении. Так как в имении была барская запашка (сеяли овес, 30 четвертей, английский ячмень, 40 четвертей, пшеницу, 4 четверти), то были крестьяне барщинные; есть косвенные указания, что жилось им не сладко: крестьяне стремились перейти на оброк, чтобы уйти подальше от глаз и рук помещика и его правителя. В одном из писем Васильев сообщает, что один крестьянин по распоряжению Григория Никитича (муж сестры Власьева) отпущен за 30 руб. (ассигн.) в год с тем, чтобы и жена его имела „хлеб и харч свой“, а для мальчика держала одну корову и одну овцу и брала на него хлеб „по положению“¹⁾; за цыплят и яйца, взимаемые с барщинных крестьян, нужно было вносить деньгами; этот крестьянин отправлялся „на промысел“ в Москву. Другой был отпущен за 40 руб. в год с тем, чтобы жить в Васильевском на своем хлебе, а жена его с детьми должна была жить на господском хлебе и держать для детей корову на господском корме. Известен также оброк, который обязалась платить Власьеву одна его вотчина, состоящая из 8 небольших деревень, по мирскому приговору от 30 января 1805 г. Крестьяне обижались уплачивать по 35 руб. (асс.) с *тигла* в год, внося всю сумму оброка по полугодиям: к 1-му июля и в декабре; за неисправных плательщиков отвечает мир и потом сам уже получает с них. Но кроме того, в 1805 году крестьяне обязывались скать, перемолотить и убрать посевянную в двух приселках их вотчины рожь (господскую). Такой оброк в 1805 г. даже и для Ярославской губ. нельзя не признать высоким¹⁾. С другой вотчиной, Щербатовской, соглашения не состоялось,— как можно думать из-за работ на господском поле в 1805 году и по поводу того, чьи будут яровые поля: господские или крестьянские. Величину оброка в переговорах со Щербатовской вотчиной предполагалось определить иначе, чем по отношению к предшествующей: помещик требовал с крестьян по 3 рубля с десятины уступаемой им земли, крестьяне предлагали платить за всю землю 500 руб. в год, но так как неизвестно, какое количество земли (пашни и покоса) им уступалось, то невозможно сказать, насколько обе стороны расходились в величине оброка. Но во всяком случае, видимо, большинство имений Власьева было на оброке. По крайней мере, его правитель в одном из писем пишет, что если на изделье останутся только две вотчины, то им будет трудно справиться с барщиной, особенно с сенокосом и возкой дров. С другой стороны, Васильев не раз спрашивает, где и когда именно должны вносить оброк крестьяне, находящиеся в Петербурге и в Москве; очевидно, таких было не мало. Другими словами, на имении Власьева мы имеем наглядный пример того, как в Ярославской губернии уже в начале XIX века оброк стал преобладать над барщиной. В связи с этим, очевидно, стоит и тот факт, что издельные или бардинные крестьяне отпускались на заработки в Москву и в Петербург. Весной возник вопрос о

¹⁾ Ср. „Крестьянский строй“. Изд. кн. П. Д. Долгорукова и гр. С. Л. Толстого. Т. I. 1905 г., стр. 188—189. Ред.

их возвращении домой (письмо Васильева от 27 марта), и вот правитель обращается к барину по просьбе родственников этих крестьян с длинным прошением, не требовать возвращения их домой, а позволить нанять вместо них работников за их счет.

Кроме барщинных и оброчных крестьян, в имении Власьева были дворовые и крестьяне—„месячники“, т.-е. в сущности безземельные батраки, получавшие от помещика месячное продовольствие или „месячину“. Бабы, бывшие на месячине, продолжали поставлять к барскому столу цыплят и яйца; при этом половина требуемого с них взыскивалась деньгами, а половина-натурою; новые „месячники“, муж с женой, получали по корове и по овце; те из них, которые переходили в число столичной дворни получали в дорогу по новой шубе и валенцам; остававшимся в прежнем положении только чинили (в 1805 г.) старую одежду.

Столь важный вопрос в крестьянской жизни, как брак, разрешался во владениях Власьева так же, как и у громадного большинства помещиков того времени. „Прошлого октября 29 дня,—писал правитель Васильев своему барину,—был я у Григорья Никитича в Милкове для исполнения о доме вашем... и о свадьбах при себе сделал регистры и подписал своею рукою“. В другом письме он сообщал: „Григорий Никитич в доме вашем Васильевском изволил быть, и по приказу вашему были собраны изо всех вотчин женихи и невесты, коих изволил разбирать и по разборании по поздельным и оброшным вотчинам определено свадеб Григорием Никитичем всего свадеб крестьянских двадцать пять. А дворовых назначил свадеб...“—далее идет перечисление 14 сосватанных дворовых, из которых 5 парам предписано жениться безусловно, а относительно двух пар вопрос оставлен открытым, и решение его предоставлено барину. Итак, прежде всего вотчинный правитель, а затем муж сестры помещика, но даже не сам он,—вот кто решали в данном случае вопрос о браке крестьян. В сжатых, немногих словах письма вотчинного правителя нарисована очень прозаическая картина, которая, однако, содержала в себе, может быть, не одну трагедию. Вотчинный правитель и родственник помещика, со списками всех крестьян в руках, составляют „регистр“ 32 свадеб, т.-е., другими словами, решают личную судьбу 64 человек.

У Власьева существовали „положенные“ 150—200 рублей за невесту, но в каких именно случаях они взимались, из данных писем, к сожалению, не видно¹).

Часто сообщая о болезни крестьян, о рождении у них детей—все это было очень тесно связано с материальными интересами помещика,—вотчинный правитель только раз за целый год писал, что от них поехала в Романов „лекарка“, недолечивши трех крестьян и взяв на лекарство 5 рублей 50 коп.; поехала—и не вернулась. Несколько больше, повидимому, заботился помещик об обучении крестьянских детей;—в своих, очевидно, целях, но не ради распространения образования; по крайней мере из писем вот-

¹) Быть может, это были вывозные деньги, взыскиваемые при отдаче в вотчину другого помещика? (*Ред.*).

чинного правителя видно, что в Васильевском жил постоянный учитель. 12 января он писал, что „для обучения грамоте тот же учитель (очевидно, что и в предшествующем году) к нам в Васильево согласен“. Через несколько дней с ним был заключен словесный договор, согласно которому он должен был получать 40 рублей в год и все продовольствие от помещика, а платье и обувь обязывался иметь свои. С 19 января он уже начал занятия с 5 учениками; из них двое учились писать, двое доучивали букварь, а один только начал азбуку. Через 2 недели вотчинный правитель сообщал, что он отпускает „на часть учителя“ по 1 фунту говядины в день и варит для него кашу, и прибавлял, что тот „ребят учить начинает порядочно“. Еще через месяц он доносил, что у учителя учится 9 мальчиков.

Из писем видно, что собираемых с имения хлеба, масла и других сельскохозяйственных продуктов хватало не только на все потребности имения, но оставалось и на продажу. Время от времени из Васильевского отсылались в Петербург целые партии всевозможных припасов: хлеба, птицы, рыбы, яиц, грибов, наливок и т. п. Перед Рождеством и Наской были отправлены целые обозы провизии, при чем вотчинный правитель писал, что зимой за провоз от вотчины до Петербурга возчики согласились везти по 65 коп. с пуда (значит, доставка провизии помещику в столицу, не лежала, как это обыкновенно бывало, на его барщинных крестьянах,— может быть, вследствие их малого числа).

Продавали из вотчин Власьева прежде всего в значительном количестве хлеб. Целых 4 месяца между помещиком и его вотчинным правителем шла переписка о том, как лучше всего отправить хлеб из Романова в Петербург. Наконец, была куплена барка, на которую и погрузили 750 кулей муки: предполагалось, что она дойдет до места назначения недели в 4. Затем, еще 2-го января вотчинный правитель писал, что за коровье масло дают по 8 руб. 50 коп. за пуд, что на рожь цена 4 руб. 50 коп. за четверть в 10 пудов, а на овес—2 руб. 60—70 коп. за четверть в 6 пудов. Осенью продавали лошадей на месте или отправляли на продажу в Казань.*

Стремясь держать барина в курсе всех хозяйственных дел его имения, вотчинный правитель Васильев изредка затрагивает и иные темы. Так например, 25 января он сообщал о результатах выборов в Романове на предстоящее трехлетие на разные уездные должности. В другой раз, в феврале, он писал о возникновении курьезного „дела“. Отец Власьева был похоронен в Нерехте. При похоронах гроб его был покрыт какой-то фланелью, которая потом была отдана в церковь. Через некоторое время благочинному стало известно, что „пономарь, оную взяли тайно из церкви, сшил себе панталоны, а сестре—юбки“, и он сообщил об этом пронесшему рапорт романовскому духовному управлению. К сожалению, из дальнейших писем не видно, какой эпилог имела эта история. В предпоследнем письме он спрашивается, какое будет распоряжение относительно газет с нового года, из чего можно заключить, что какие-то газеты в Васильевском получались. В одном из писем Васильев несколько приподнимает завесу над тем, что делалось в тогдашних присутственных местах. „В бытность

в Ярославле,—писал он,—при сдаче рекрут в палате увидел меня Сатир Васильевич Змиев и стал мне говорить: я де имею у себя от барина твоего к тебе письменной приказ в том, получить де мне у вас велено господского ячменя 25 четвертей. И я на оное Сатиру Васильевичу по приказу вашему отвечал: по сие число я от Ивана Сергеича никакого приказания не слыхал, а о продаже хлеба приказано Григорью Никитичу, и по приказу Григория Никитича ячмень продан, а оставлено точно на расход и излишнева нет. И Сатир Васильевич мне сказал: когда де не оставлено ячменя для меня у вас, я де за это барину твоему сделаю изъяну сот на пять или более и ты де барину отпиши и, что де он тебе будет писать. ты де мне письмо свое покажи“.

Так по письмам-докладам вотчинного правителя и „раба“ Алексея Васильева рисуется жизнь одного из имений Романовского уезда, Ярославской губернии в начале XIX века.

К. Сивков.

К материалам для биографии М. А. Антоновича.

В начале декабря 1918 года скончался в Петербурге, в возрасте 84 лет, Максим Алексеевич Антонович, в начале 60 годов один из видных сотрудников «Современника», выдвигаемый Чернышевским на первый план, а после ареста и ссылки Чернышевского, ставший одним из руководителей журнала (вместе с Г. И. Елисеевым, Ю. Г. Йуковским и А. Н. Пыпином), до самого его закрытия в 1866 г. Затем последовал перерыв в журнальной деятельности М. А., которым он воспользовался, чтобы пройти полный курс горного института. В первой половине 70-х годов он вместе с Ю. Г. Йуковским был одним из фактических редакторов журнала «Знание», а когда этот журнал закрылся, то одно время сотрудничал в «Слове» (издававшемся на средства К. Сибирякова), но скоро разошелся с редакцией и с тех пор совсем отошел от журналистики. Лишь изредка появлялось его имя под отрывочными случайными воспоминаниями, например, помнится в «Жур. для всех» о Добролюбове. В 1896 г. он выпустил обширный научный труд о Дарвине, которого был убежденным последователем и почитателем, в чем решительно расходился с Чернышевским. Но время увлечения Дарвина мало замечено, да и самое имя Макс. Алекс. уже ничего не говорило для молодых поколений.

М. А. Антонович не мало переводил, между прочим для меня он перевел «Стихи» Спицозы, но на книге стоит только имя редактора пр. В. Н. Медестова.

С 1879 г. в течении четырех лет, когда я был на Амуре, М. А. вел, точнее сказать — продолжал начатое, мое издательское дело.

Я еще в 1-ой книжке моих «воспоминаний из прошлого», вышедшей в 1905 г., в главе о Петербургской студенческой истории осенью 1861 г., несколько коснулся террористического замысла возникшего в среде сотрудников «Современника» и даже прямо назвал одного из участников, — Гр. Зах. Елисеева; затем в недавней заметке в «Нашем Веке» (26 апреля 1918 г.) целиком раскрыл сущность дела: захват в Царском Селе наследника (Николая) и требование по телеграфу от царя, находившегося тогда в Ливадии, немедленного провозглашения конституции, иначе он должен проститься с сыном. Я не называл только товарища Елисеева — то был М. А. Антонович.

Это они вдвоем явились к Мих. Петр. Покровскому, одному из самых энергичных руководителей студентов, и предлагали ему с 300 студентов учинить захват наследника.

Точно также могу теперь пояснить, что Антоновичу была заказана, должно быть, в конце 1862 г. тогдашней «Землей и Волей», прокламация, забракованная комитетом (см. стр. 327), и что это он доказывал Чернышевскому, что необходимо устраниТЬ печатание заграницей прокламаций, с тем чтобы распространять их в России (см. стр. 330—331), как раз в тот момент, как М. И. Михайлов положил начало этой операции, и даже присутствовал, когда ничего не знал об этом Антонович развивал Чернышевскому свою идею.

После Каракозовской истории М. А. отошел от какогонибудь непосредственного соприкосновения с революционным движением, хотя в существе и остался верен заветам 60-х годов. Одно время служил в Государственном Банке и даже имел своим начальником Ю. Г. Йуковского, потом был инспектором ссудно-сберегательной кассы (занял место Ефремова), затем вышел в отставку.

Л. Пантелеев.

Отрывки из воспоминаний.

(Посвящается памяти В. Н. Б.).

IV.

Орловская жизнь¹⁾.

„Не бывать бы счастью, да несчастье помогло“ — вот что должно было бы взять эпиграфом для государства российского. В нем реакция никогда не прекращалась сама собою, в силу добровольного стремления правящих классов следовать по пути, ведущему к благу родины. Она ослабевала лишь под напором какого-либо выдающегося бедствия, грозившего катастрофой. А так как 80-е годы прошли для реакции вполне благополучно, то она, загнав в подполье всю русскую жизнь, торжественно вошла и в 90-е годы. Ее вожделением было прикончить со всеми реформами 60-х годов, оставил лишь их заголовки, если можно так выразиться. Освобождение крестьян было парализовано, как мы знаем, уже в самом конце 80-х годов „близкою к народу властью“, т.-е., земскими начальниками. Девяностые же годы начинались новыми подарками крепостникам вообще и имущим классам в частности. В 1890 году было „реформировано“ земство, в 1891 г. — положено начало гонения на евреев, при чем из Москвы было выселено 17.000 ремесленников-евреев, живших в столице на основании закона 1865 г., т.-е., ровно 36 лет. В 1892 г. было „реформировано“ Городовое положение, в 1894 году начался „пересмотр“ гордости России — судебных уставов 1864 и в том же году было запрещено штундистам устраивать молитвенные дома.

Но я слишком забегаю вперед. Возвращаюсь к самому началу 90-х годов, к первому году их, когда до некоторой степени удовлетворено было следующее за земскими начальниками вожделение крепостнических элементов дворянства — земская „реформа“. Говорим „до некоторой степени“, так как они и бюрократия желали вовсе уничтожить земские учреждения, превратив их в канцелярии при губернаторах, и в таком духе гр. Д. Толстой сочинил проект. Но, как мы говорили ранее, смерть этого ненавистного всем реакционера не дала ему возможности защищать

¹⁾ См. „Голос Минувшего“ за март, июль-август 1916 г. и январь 1917 г.

свою „реформу“, и земское положение вышло уже из рук Государственного Совета, хотя и превратившего земство в учреждение узко-сословное, чисто-дворянское, но все же оставившего некоторые контуры самоуправления. Казалось, что земство при таких условиях должно было бы совершенно не отвечать своему положению. Но самовлюбленная реакция проглядела три обстоятельства, проторившие для земства совершенно иной путь, тот именно, которого всего больше боялось правительство.

Обстоятельствами этими были: во-первых — земские служащие или „третий элемент“, как их определил самарский вице-губернатор Кондоиди, — во-вторых — прорвавшееся земское конституционное движение, придушенное 80-ми годами, и в-третьих — необходимейшее для России лекарство — бедствие. Оно явилось в виде жестокого недорода и не менее жесткой холеры и свирепствовало почти три года — 1891, 1892 и 1893 годы. Земские учреждения давно указывали на ненормальное положение у нас дела народного продовольствия и тяжкие условия крестьянской жизни. Последние подтверждались данными земской статистики. Но правительство не только не обращало на это никакого внимания, а даже, совместно с крепостниками, видело в „мусировании“ продовольственного вопроса стремление земства вообще и земских статистиков в особенности — дискредитировать власть. Несомненно, что оно не обратило бы внимания и на голод в 1891 г., если бы на арену не выступило земство со своим „третиим элементом“. Но лишь только местное самоуправление проявило стремление к удовлетворению народных нужд, как министерство внутренних дел, которым управлял тогда один из представителей реакции, стас-секретарь И. Н. Дурново, вошло в Государственный Совет с „обстоятельною“ запискою, в которой доказывалась невозможность самостоятельной работы земства в продовольственном вопросе. Однако, земские учреждения не обращали внимания на этот протест и решили действовать согласно земского взгляда на продовольственное дело. Закипела характерная борьба администрации с земством, в которой активное участие принял и „третий элемент“. Вот эта-то борьба и была одним из проявлений освобождения русского общества от тисков реакции 80-х годов. Завязалась она и в Орле, при чем на этой почве произошло мое сближение с земством уже как равноправного со вторым, выборным земским элементом. Но прежде чем сказать об этом, считаю необходимым сообщить перемены, происшедшие в составе Орловской Управы и статистического бюро.

Администрация потребовала удаления заведующего статистическим отделением Е. П. Победоносцева. Шидловский и Дудкин считали его неблагонадежным за то, что он принимал в состав бюро и давал работы таким, как я, например, лицам, находившимся под гласным или негласным надзором полиции, хотя этого мог и не знать заведующий отделением.

П—в был человек образованный, талантливый и опытный статистик, и его уход не мог не отразиться на работах бюро. Эта потеря тем более была чувствительна для Орловской статистики, что ее покинул, переехав в Москву, и другой выдающийся статистик, бывший, можно сказать, правой рукой П—ва, Н. Н. Черненков. Заведывание статистикой перешло к кандидату математических наук И. Н. Львову, но не надолго. Скоро его заменил Астафьев. Это был добрейшей души слaboхарактерный и больной человек. О статистике он не имел ни малейшего представления, и совершенно непонятно, как он попал в заведующие. При нем статистическое бюро разрослось до невероятных размеров, так как Астафьев никому не мог отказать. В число служащих попало немало прекрасных и талантливых людей, но не имевших никакого отношения к статистике и пристроившихся к ней ради достижения иных целей. Между прочим, в составе бюро было значительное число членов партии народного права, о которой речь впереди. Исключение составлял, пожалуй, один только А. В. Пешехонов. Высоко-одаренный человек этот соединял в своем лице и члена названной партии, и трудоспособного статистика, и талантливого публициста, как это скоро выяснилось. К печальным условиям для Орловской статистики присоединилось и то еще обстоятельство, что, за ничтожным исключением, никто администрацию не был утвержден, вследствие чего трудно даже было собирать материалы, невзирая на все ухищрения статистического бюро и старание земской управы. Севский уезд, например, был обследован почти, что называется, воровским образом. В это время единственным, кажется, утвержденным был старый статистик Попков. Но понятна вещь, что один он не мог описать уезд. Управа на свой страх и риск решила послать некоторых неутвержденных, а в том числе и меня. Но мы все отлично понимали, что, раз об этом узнает губернатор, он немедленно предпишет всех возвратить обратно, а, быть может,— и арестовать. Между тем — страшно хотелось описать уезд нелегальным образом. И вот, статистическое бюро решило, во-первых, производить обследование самым быстрым темпом, спешно переезжая из села в село, из деревни в деревню, чтобы не нагнал пристав данного стана, а во-вторых, в случае запроса со стороны сельских властей, включая урядников, именовать себя, не показывая бумаг, „Попковым“. Но, увы, весьма быстро обнаружилась нелегальность работников. Шидловский поднял невероятную бучу, и председатель управы В. М. Козлов лично явился в Севский уезд, чтобы как-нибудь уладить дело. За помощью он обратился к севскому уездному предводителю дворянства Афросимову, у которого и было устроено совещание с вызванными из уезда статистиками. Ничего революционного, конечно, не выяснилось. Сделалось известным лишь то, что и ранее знали и в чем не было, в сущности говоря, решительно никакого преступления: в уезд управою были отправлены

лица, посланные на утверждение губернаторам более двух недель тому назад. На совещании было указано на 107 ст. Полож. о Земск. Учрежд. которая, при определении, перемещении и увольнении земских служащих, требует применение ст. 286 общего учрежд. губернского, а в конце этой статьи говорится: „неполучение от губернатора уведомления в течение 2-х недельного срока, признается за изъявление им согласия на определение или перемещение чиновника“. К сожалению, В. М. Козлов, при всех своих прекрасных качествах, был человек не храброго десятка, а севский предводитель дворянства, как все почти предводители, вовсе не склонен был защищать статистику. Поэтому постановлено было — немедленно исследование прекратить и ехать всем обратно в Орел. „Это, ведь, в законе так написано — объяснял председатель управы свою боязнь,— а в действительности извольте-ка судиться с губернатором“.

Нам, статистикам, такое решение было просто ужасно. Мы описали уже весь уезд, и вдруг... И вот, на тайном нашем совещании мы вынесли такую резолюцию: „возвращаясь в Орел — попутно заниматься обследованием уезда“. И это было выполнено, при чем я нарвался-таки на пристава, но, к счастью, это было в последнем селении, на самой границе уезда. Этот инцидент был улажен нескоро, но все же управа, в конце-концов, не только уладила дело с Шидловским, но добилась утверждения целого ряда лиц, а в том числе и меня. Это случилось уже при новом заведующем — С. Л. Блеклове.

Воспитанник московского университета, Блеклов прибыл в Орел уже с солидным именем статистика и публициста. В первой половине 90-х годов отдельным изданием вышли его две книжки: „Твраux statistiques des zemstvos russes“, предназначенные для ознакомления Европы с земскою статистикою, и — „За фактами и цифрами. Записки земского статистика“. Приглашение Блеклова совпало с арестом многих статистиков по делу „Народного права“, о котором будет сказано ниже, и новый заведующий стал налаживать Орловскую статистику, съехавшую, было, с рельсов.

Желая улучшить земское хозяйство, новая орловская управа подыскивала соответствующих лиц для заведования и другими отделами. Между прочим, главным врачом психиатрической больницы был приглашен Навел Иванович Якобий. Это был выдающийся психиатр и всесторонне образованный человек. Судьба его весьма оригинальна. Говорили, что Якобий, будучи еще на последнем курсе медико-хирургической академии, был отправлен в 1863 г. на войну с Польшией. Но молодой студент так увлекся освободительным восстанием, что стал оказывать помощь повстанцам, вследствие чего вынужден был эмигрировать за-границу. Здесь он, — преимущественно во Франции, — закончил свое образование, слушая лекции и работая у выдающихся профессоров, главным образом — у Жан-

Мартен Шарко. В 1870 году, во время франко-прусской войны, Якобий с женой вступил в ряды отряда Гарибальди и провел с ним всю кампанию. Как известно, знаменитый итальянский патриот к названному году явился с двумя своими сыновьями в Тур к Гамбетте, который поручил Гарибальди командовать корпусом волонтеров, сосредоточенным между Сеною и Вогезами. Среди этих-то добровольцев, одержавших ряд побед над пруссаками, был, говорили, и Якобий с женой. Передавали далее, что сведения о нем, как о психиатре, стали известны императрице Марии Александровне, супруге Александра II, в бытность ее за границею. Узнав, что Якобий, как эмигрант, не может возвратиться в Россию, она, будто бы, снабдила его запиской к властям полицейским, дабы последние не трогали доктора. Но, увы, лишь только он пересек границу, был арестован, и, после тюремного заключения, отдан в Твери под гласный надзор полиции, который длился целых пять лет.

В Орле он сразу обратил на себя внимание радикальным реформированием психиатрической больницы, в которой, к слову сказать, найдены были почти орудия пытки от времен Приказа Общественного Призрения. Настойчивый, энергичный Якобий быстро выкурил старый дух, и душевно-больные из обстановки, напоминавшей ту, которая наводит ужас в „Записках сумасшедшего“ Гоголя, попали в наилучшие условия. Грубость, жестокосердие, побои уступили место гуманности и человечности. Не говоря уже о превосходной пище, уходе, внимательном лечении, для больных устраивали такие невиданные вещи, как спектакли, литературно-музыкальные вечера и т. п. Последнее обстоятельство и послужило первою причиной моего знакомства с Якобием. Как-то в „Орловском Вестнике“ я поместил небольшую заметку о психиатрической больнице, сопоставив ее прошлое с настоящим. Вскоре после этого Якобий сделал мне визит, чтобы „поблагодарить“ за заметку. За что же? — удивился я, — ведь мною сообщена лишь действительность. В Европе, — отвечал Якобий, — прессу привыкли за все благодарить. Затем у нас завязался разговор. Якобий оказался чрезвычайно интересным собеседником. Всесторонне образованный, много видевший и испытавший на своем веку, он живо и с большим юмором охарактеризовал западно-европейскую и русскую жизнь, сделав чрезвычайно пессимистический вывод как для запада, так и для нас. С этого момента мы стали близкими знакомыми, при чем нередко он бывал у меня с женой, а я у него. Спустя немногого, он жена моей предложил место секретаря в больнице. Валерия Николаевна охотно согласилась на это. Своим твердым и уравновешанным характером она часто сдерживала пыл и раздражения Якобия и тем избавляла его от многих неприятностей. Было немало случаев, когда без такой охраны могли быть весьма неблагоприятные последствия для Павла Ивановича. Так, однажды привезли закованного в цепях психически больного кре-

стянина. Для деревни это, к сожалению, совершенно обыденное явление. Но Якобий при виде такой картины рассвирепел. Возмущение его дошло до такой степени, когда человек не помнит себя. Он предложил Валерии Николаевне написать самые дерзкие бумаги администрации, включая и губернатора, в которых упрекал власти в допущении бесчеловечия, в повторстве пыткам, и т. п. и т. д. Она сделала вид, что немедленно исполнит сказанное Павлом Ивановичем, но на самом деле никому не написала, о чем и сообщила Якобию через два-три дня, когда он совершенно успокоился. И таких случаев было, повторю, немало. Павел Иванович вообще не считался с действительностью и когда находил что-либо нужным, то не обращал внимание, как к его действиям относятся другие. Говорили, что однажды Якобий задался мыслью излечить русский народ от тяжкой наследственности. С этой целью он в одной губернии произвел анкету о времени зарождения детей. Оказалось, что в подавляющем большинстве случаев появление на свет младенцев приходилось на масляной неделе, т.-е. во время пьянства, обжорства и отупения, и после постов. Ведя воздержанную, сравнительно, жизнь в течение постов — великого, петровок, филипповок, — население по окончании их объедается, опивается, и в этот ужасный, скотский, можно сказать, момент зарождаются дети! Что же удивительного, что получалась и получается страшная наследственность! И вот, говорили, Якобий с фактами в руках думал было обратиться в св. Синод с предложением... уничтожить посты! Можете судить, что произошло бы в названном ведомстве! Конечно, этот грандиозный и, действительно, громадной важности проект Якобия провалился, а автора его, пожалуй, засадили бы в сумасшедший дом. Но ему удалось другой опыт. Говорили, что в одной губернии оказалась местность, пораженная кликушеством. Земство предложило Якобию исследовать болезнь и выработать меры к ее уничтожению. Павел Иванович немедленно отправился, произвел тщательное обследование, а возвратившись заявил, что в названной местности, расположенной среди лесов, в невероятно глухой трущобе, необходимо провести дороги, устроить ярмарку и разумные развлечения. Все были удивлены, что никакого „лечения“, как его понимают, Якобий не предложил, но выполнили проект врача. И что же? Через весьма короткое время район, приобщенный к культуре, почти совершенно избавился от кликушества. Нужно ли говорить, что свободомыслие Якобия, его оригинальность, широкий кругозор, самостоятельность, не говоря уже о громком прошлом, не могли сделать его благонадежным в глазах предержащих властей, как недолюбливал его и реакционный элемент в земстве, смотревший на реформы в больнице, как на лодого стоящие „затей“ „сумасшедшего доктора“. Но управа стойко защищала Якобия. Вообще новый состав управы вел себя по отношению к администрации довольно самостоятельно, стараясь в то же время быть, в высшей степени осторожным, чтобы не заподозрили в антиправитель-

ственном направлении. Особенно настороже был Козлов. Вот один пример. Вызывает как-то меня Владимир Михайлович из статистического бюро. Когда я вошел в его кабинет, он затворил на ключ дверь и, предложив сесть за столом рядом с ним, отпер ящик в своем столе, вынул оттуда какую-то бумажку, прикрыл ее ладонью и почти шепотом заговорил: „Вот это прокламация, кем-то присланная на имя председателя губернской управы. Вскрыв конверт, я тотчас же догадался, что это за штука, и не читал ее и вам не дам читать. Я пригласил вас лишь потому, что, в силу вашего прошлого, вы, несомненно, опыты в такого рода делах. Так, вот, как вы думаете относительно этой прокламации?“ — Если вы боитесь, то, самое лучшее, — бросьте ее в печь. — „Не-ет, батенька! А представьте себе, что мне ее нарочно прислал Дудкин, чтобы узнать, — доставлю ли я прокламацию по начальству или буду ее читать другим, вообще — распространять?“ — Но как же это он узнает, если прокламация сгорит? — „Он мог ее отправить при свидетелях...“ — В таком случае отдайте ее мне... — „Что вы, что вы! Нет, надо подумать — сжечь или представить в жандармское правление, чтобы не оно меня, а я его провел“. Тесная беседа наша кончилась. Не более, как недели через две опять вызывает меня Козлов, опять запирает дверь кабинета на ключ и опять говорит шепотом: „Теперь только я понимаю, как хорошо было бы, если бы я послушал вас и сжег прокламацию...“ — А что? — „Да проклятые жандармы просто замучили меня!“ — Каким образом? — „Прежде всего Дудкин не выразил никакого удивления, когда я доставил ему прокламацию“. — А вы — таки доставили? — „Грешный человек — сделал такую глупость“. — И плохо сделали. Ведь жандармы руководствуются в своих действиях только карьерою и корыстью. Если бы Дудкин произвел у вас обыск и лично нашел прокламацию, — он был бы страшно доволен, потому что за это он мог бы рассчитывать на чины и награды. Когда же вы сами ему доставили, то он не только этому не может быть рад, но должен быть необычайно огорчен. Ведь доставление, показывая вашу ультраблагонадежность, является в то же время укором для жандармского полковника: значит, он просмотрел, не зная, что у вас прокламация. — „Вашими устами говорит сама истина... Вы знаете, с чего он начал, когда я доставил ему прокламацию?“ — А где же конверт, в котором она прислана? — спросил Дудкин. И когда я ответил, что бросил его в корзину, он заявил: „без конверта это доставление не только теряет для вас значение, но, при желании, можно сделать иной вывод: у вас в управе могут изготавливать прокламации, а вы, чтобы скрыть это, одну доставили мне“. — Полковник! — воскликнул я. — Дудкин поспешил оправдаться: „Конечно, я вас ни в коем случае не подозреваю, а говорю лишь, что можно, при желании, сделать такой вывод“. — „Нет, — закончил Козлов свое сообщение, — теперь буду бросать прокламации в печь, как вы советывали!“

Владимир Михайлович был со мною в хороших отношениях. Это объясняется рядом причин.

Я близко сошелся с Владимиром Михайловичем, как представитель столичной и провинциальной прессы. О моей роли в качестве постоянного сотрудника „Русских Ведомостей“ я говорил в сборнике „Русские Ведомости“, изданном в 1913 г. по случаю 50-тилетия газеты. Но я еще состоял членом обновленной редакции „Орловского Вестника“. Обновление это произошло при таких обстоятельствах. Издательница газеты, г-жа Семенова, о которой я уже упоминал, сошлась с очень живым и общественным молодым человеком г. Сентяниным. С последним я и вступил в переговоры об отдаче газеты в руки группы лиц, которые будут вести ее литературную часть. Семенова и Сентянина согласились на это. Тогда редакция образовалась из меня, инженера путей сообщения Н. К. Королева, занимавшего крупную должность на Риго-Орловской дороге, талантливого юриста А. Н. Р—та и статистика А. В. Пешехонова, о котором я говорил выше. Вскоре газета из плохих стала приличным провинциальным органом. Но это обстоятельство немедленно возбудило против нас администрацию, в глазах которой пресса являлась одним из факторов крамолы. Свирепая вообще, предварительная цензура еще и еще пажала пресс. Слава еще Богу, что два или три советника губернского правления, поочередно оскоплявшие газету, подставляли, по бюрократическому обычаю, друг другу, как говорят, „свинью“. Поэтому неразрешенное одним цензором, редакция подсовывала другому, который наиболее терпеть не мог неразрешившего и, таким образом, кое-что удавалось пропустить. Но скоро прекратилось и такое, чисто-русское „счастие“. Меч над „Орловским Вестником“ был поднят новым вице-губернатором Неклюдовым. Это субъект достоин кисти художника. Он был переведен из Нижнего-Новгорода вместе с массою,—как ходили слухи,—следовавших за ним долгов. Говорили, что для покрытия последних он решил сбрать „дань“ в Орле. С этой целью Неклюдов стал „работать“ на два фронта: чтобы закрыть глаза правительству, он прикрылся реакционною ширмою, за которую всеми правдами и неправдами выжимал нужные ему средства не только с обычайтелей, главным образом, с евреев и купечества, но и с полиции, повышая или понижая чинов ее, соответственно размерам мзды со стороны того или иного лица, преимущественно, конечно, полицеймейстеров и приставов. Благонадежность же Неклюдов завоевывал на крамоле и печати. На первом пути его стоял жандармский полковник Дудкин, не желавший никому уступить такую выгодную операцию, как обнаружение крамолы, а потому Неклюдову пришлось прибегать к различным, не всегда удачным, способам, чтобы хоть кусочек славы приобрести на этом поприще. Одна из таких способов он применил, между прочим, ко мне. В то время, когда я получил права гражданства и уже свободно

разъезжал по деревням, производя местные исследования, управа вдруг получила от исправляющего должность губернатора Неклюдова бумагу, в которой категорически требовалось немедленное устранение меня из статистического бюро. А я в это время обследовал Орловский уезд. Поэтому управа послала в погоню за мною самого заведующего С. М. Блеклова. Нагнав меня в одном из селений, он, возмущенный, сообщил мне:

„Опять, мерзавцы, требуют устраниить вас!.. Ведь, это ужасно!.. Какой-то взяточник распоряжается нашей судьбой!.. Владимир Михайлович решил обжаловать это распоряжение Неклюдова.“

Нечего делать, — прибыл я с Блекловым в Орел.

Управа была возмущена бумагой исправляющего должность губернатора, а Козлов, действительно, собирался ехать в Петербург. Но этого не понадобилось. Услышав, вероятно, что его ни на чем неоснованное требование об удалении меня произвело большой шум, Неклюдов, в „дополнение“ к бумаге о моем изъятии, сообщил, что... „не встречается препятствий“ продолжать Белоконскому занятие статистикой!

По отношению к бесправной, забитой провинциальной прессе Неклюдов прибег к самому элементарному произволу. Он вздумал при ее посредстве получить известность, как защитник злободневных тогда земских начальников. С этой целью вице-губернатор написал соответствующего содержания статью, вызвал „официально“ редактора, вручил ему свое произведение и *приказал* его напечатать. Струсивший редактор принял статью, принес ее в редакцию и начал „обходить“ нас. Не говоря сразу о вице-губернаторском творчестве, он начал с того, что, мол, бывают вопросы, к которым сразу и неизвестно почему относятся пристрастно, тенденциозно. К числу таких вопросов относится и вопрос о земских начальниках. В действительности же институт этот заслуживает внимания, так как возникновение его является следствием желания облегчить участь крестьян, узнав их истинные нужды и т. д. и т. д. Редакция, не заподозревая тайных мыслей, просто ответила издателю, что она принципиально против земских начальников и это оговорено в условии с издателем. — Да, отвечал последний, — но если мне не только предъявлено требование, чтобы были изменены взгляды на земских начальников, но и вручена статья самого вице-губернатора? — Само собою разумеется, что статья эта не будет помещена, — был наш ответ. И что ни делал издатель, мы, конечно, уступить ему не могли. Статья не появилась, а Неклюдов, вызвав официального редактора, разнес его в пух и прах, топал ногами, кричал, стучал и пригрозил закрытием газеты. В результате редактор написал мне письмо, в котором говорилось, что „Орловский Вестник“ является единственным средством к жизни, и потому владельцы газеты не могут вступить в борьбу с всесильной администрацией. Нашей компании не оставалось ничего

более, как уйти из „Орловского Вестника“, что мы и сделали. Это произошло в конце первой половины 90-х годов и совпало с провалом партии „Народного Права“, некоторые члены которой принимали близкое участие в газете.

Но я забежал вперед, чтобы покончить с виде-губернатором Неклюдовым. Теперь, прежде чем говорить о партии Народного Права, должен возвратиться назад.

Как и повсеместно в 1891—1892 г., Орловская администрация старалась совершенно отстранить земство от голодающего населения, с каковою целью распространялись слухи и делались донесения, что голода в действительности нет, а имеется лишь небольшая нужда, раздувая земством и печатью и вызывавшая злонамеренные требования со стороны жителей деревни, чтобы их даром кормили и поили. Мне пришлось защищать земство в столичной прессе, преимущественно в „Русских Ведомостях“. Эту защиту я обосновывал на статистических исследованиях, а также на непосредственном участии в кормлении народа. В последней роли я выступил по инициативе редакции „Русских Ведомостей“, впервые выславшей мне 200 р. из пожертвований на нужды школьных столовых, а затем — по предложению председателя Л. Г. Гуревича и секретаря Д. Д. Протопопова, от С.-Петербургской Комиссии по оказанию помощи учащимся в народных школах местностей, пострадавших от неурожая, выславшей мне в первый раз 790 руб. За осуществление столовых с горячей энергией взялась жена моя Валерия Николаевна, которой представилась первая после ссылки возможность выступить открыто на общественное поприще и, главное, помочь горячо любимым ею детям, от которых она была отстранена 13 лет тому назад, лишившись права учительства. Организовав кружок, она произвела самые тщательные исследования, чтобы кормить действительно нуждающихся, и по целым суткам проводила в городских столовых.

В деревнях столовыми заведывали также, главным образом, учителя и учительницы, отчитываясь предо мною. Я не буду долго останавливаться на столовых, так как в свое время (1892—1893 гг.) отчеты о них печатались мною в „Русской Школе“ и „Русских Ведомостях“.

Я имел возможность сообщить многое о голодном году, так как в это время производил описание Брянского уезда. Боже, что я там увидел! Лишь на основании части данных был написан ряд фельетонов в „Русских Ведомостях“ под заглавием „Край долбни и картошки“¹). А многие данные остались неиспользованными. Воспроизведу здесь то, что могу вызвать из глубины своей памяти. Ездил я по Брянскому уезду

¹) Рассказы. Том I. „Деревенские впечатления“. (Из записок земского статистика). Издание второе. СПБ. 1909 г.

с товарищем своим, статистиком В. В. Башмачниковым, почти фанатическим общником. Приехали мы как-то в одно дальнее селение, расположенное в глубоком лесу. Начали опрос. Вижу, Башмачников, занявшийся составлением пообщинного бланка, с редким воодушевлением исписывает лист за листом. — Какое открытие вы сделали? — шепчу я ему на ухо. — Поразительная община! — тихо отвечает он, продолжая писать. Оказалось, действительно, общинная земля делится не только между всеми наличными душами, — ее получают также солдаты и, что совсем уж удивительно, — наделяют землею даже сторонних жителей, не принадлежащих к общине. Громко предлагал вопросы и получая на них желательные ответы, Башмачников победоносно посматривал на меня и иронически улыбался, так как я часто расхолаживал его общинный пыл. Но, вот, подробно описав коренные и частичные земельные переделы, товарищ предлагает последний и самый важный вопрос: — „Почему же вы всем раздаете землю?“ — „Да, кабы, ваш высокородие, вы пожелали, так и вам бы отмежевали — был ответ, — потому, как земля никуда не годится и не оправдывает платежей“. Тут у Башмачникова, как говорится, перо выпало из рук, а я не мог удержаться от гомерического хохота.

Дальнейшие наши экскурсии убедили нас в невероятной бедности и дикости населения лесных частей Брянского уезда. Достаточно сказать, что, не говоря уже о курных избах, — во многих местах единственным освещением была луцина, которую зажигали углами, хранимыми под пеплом в печах, так как спички, исключительно фосфорные, являлись роскошью и хранились пуще зеницы ока. На почве этой бедности и темноты, холера развивалась с невероятною быстротою и косила население, тем более, что медицинская помощь была далеко недостаточна и базировалась, главным образом, на невежественных фельдшерах. Говорили, между прочим, что фельдшера выпивали все напитки, которое земство рассыпало для больных (коньяк, красное вино и т. д.) и заполняли опорожненные бутылки сивухою, которую и „лечили“ больных. Население недоверяло медицине и прятало холерных. В одной деревне мы наткнулись прямо на страшную картину. Прибыли мы туда под вечер и были смущены гробовою тишиною, отсутствием людей и закрытыми ставнями.

— Почему же никого не видно? — обратились мы к вознице.

— Должно, попрятались, — спокойно ответил он, слезая с телеги, — должно, думают, не доктора ли вы... Стой-ка, я поищу...

И он отправился в густые конопляники, стеною стоявшие у дороги против изб. Через некоторое время вместе с возницею оттуда появились волосатые, словно первобытные, люди с дубинами. Окружив телегу, они начали опрашивать нас, кто мы и зачем приехали. Лишь долгое уверение, что мы не „доктора“, а „приехали узнать о земле“, успокоили население. Произвели на другой день опрос, мы поспешили

скорее оставить селение, так как узнали, что жители прятали в коноплянниках как живых, так и умерших холерных, которых затем хоронили тайно.

Теперь скажу несколько слов о партии Народного Права, к которой я не принадлежал, но с членами которой я и жена были в наилучших отношениях, а мои свояченицы, особенно Леонарда Николаевна Левандовская, принимали, кажется, довольно близкое участие. Да и жена моя Валерия Николаевна однажды оказала большую услугу, — она перевезла часть типографии и передала их одному из активных членов партии. За нашей квартирой был установлен тщательный надзор, обнаруженный через 12 лет в виде тетради шпиона, случайно купленной в Москве на Сухаревке в 1906 г., и напечатанный затем мною, — под заглавием „Гороховое пальто“, — сокращенно в № 195 „Русских Ведомостей“ за 1907 г. и полностью в журнале „Минувшие Годы“ за 1908 г.

Я уже говорил, что лишь тяжкие бедствия производят в России бреши в густой толще невыносимой реакции, являющейся как бы органическим достоянием несчастного нашего отечества. Голод и холера 1891—92 гг. и были тем бедствием, которое вызвало общественное движение. Как один из результатов этого движения явилась и партия „Народного Права“. Начало ее было положено, повидимому, еще в Саратове, при чем одним из выдающихся инициаторов ее был, несомненно, М. А. Натансон, служивший там в Управлении Орлово-Гризской ж. д., переведенном затем вместе со служащими в Орел. Человек большого ума и выдающейся энергии, М. А. Натансон был одним из старейших участников и инициаторов освободительного движения. Уже в начале 70-х годов в С.-Петербурге существовал кружок его имени, участие в котором принимали такие выдающиеся впоследствии лица, как кн. Петр Крапоткин, как Клеменс, Кравчинский и др. Кружок этот был настолько конспиративен, что членов его прозвали „троглодитами“, т.-е., пещерными людьми. Высланный в 1872 г. в Архангельскую губ., Натансон, возвратившись, сделался одним из организаторов партии „Земля и Воля“, распавшейся в 1879 г. на Липецком съезде на две партии — „Народная Воля“ и „Черный передел“. В 1878 г. Натансон, за участие в кружке „Общество друзей“, был сослан в Восточную Сибирь, где пробыл до 1887 г. Поселившись в Орле, Натансон немедленно приступил к вербовке членов в партию „Народного Права“. Видом напоминавший библейского патриарха, М. А. производил импонирующее впечатление и умел скоро располагать к себе лиц самых разнообразных положений. А крупное положение в контроле Орловско-Гризской ж. дороги давало ему возможность содействовать получению мест в управлении своим единомышленникам. Кроме того, значительная часть последних служила в земском статистическом бюро и среди них такие видные члены партии,

как А. В. Пешехонов, А. И. Тютчев, А. В. Сазонов. Знал я и других лиц, как С. В. Сотников, И. Н. Львов, В. В. Башмашников, агроном Г. П. Клинг, А. В. Гедеоновский, студент Варшавского университета М. А. Манделевич, большой приятель моей жены и своячениц, очень часто у нас бывавший и именовавшийся „паном“. Все это были люди чрезвычайно симпатичные, искренние, преданные делу, которому служили. В Орле за участниками „Народного Права“ был установлен сильнейший надзор. Шпионы прямо следовали по пятам многих из них. На этой почве произошел довольно комичный инцидент. Жена мои органически непонимала шпионов, и большим удовольствием было для нее обнаружить сыщика и идти по его стопам, приводя в смущение или в ярость агента полиции. Заявилась она этим и в Орле в момент наводнения его сыщиками. И, вот, однажды, она, увидев издали подозрительного субъекта, стала тщательно следить за ним. Субъект заметил это и стал удирать. Валерия Николаевна за ним, он от нее. Тогда жена сделала вид, что возвращается назад, на самом же деле повернула, обогнула квартал и, лицом к лицу встретилась с... доктором О. В. Аптекманом! Оказалось, что и он принял Валерию Николаевну за шпиона! По многим данным можно было заключить, что над партией „Народного Права“ занесен уж меч, но, к сожалению, члены ее этого не замечали и в самый разгар надзора сделали ошибочный шаг.

Мы знали, что в Смоленске устраивается типография „Народного Права“. А в это время как-раз назначен был царский смотр войскам в том же городе, и я с женой предсказывали „пану“, что типография там мгновенно провалится, а он, „пан“, отправлявшийся в Смоленск, чтобы работать в типографии — будет, конечно, арестован. Так оно и случилось: „пан“ под именем Дмитрия Окунева, был застигнут на месте преступления, когда только что был отпечатан манифест партии Народного Права. Об этом манифесте речь впереди, а теперь, возвращаясь к Орлу, скажу, что о провале партии стало известно утром 22 апреля 1894 г. Необыкновенно быстро распространился слух о громадных обысках и арестах, произошедших в ночь с 21 на 22 апреля. Я, жена и обе свояченицы тотчас же отправились узнать, насколько верен слух, и кто именно арестован. Первою я посетил квартиру И. Н. Львова и убедился, что сведения основательны. Ночью у него был тщательный обыск. Самого квартирохозяина дома полиция не застала, вследствие чего установлен был надзор, не оставлявший сомнения, что Львов будет арестован. Когда я сообщил об этом знакомым, немедленно было учреждено дежурство на вокзале, чтобы предупредить И. Н., если он приедет. Должен сказать, что Львов отличался необыкновенной конспиративностью, и я не мало был удивлен, что его выследили. Но еще более изумился я, когда, посетив квартиру Евгения Ивановича Победоносцева, узнал, что и он

арестован. Впоследствии выяснилось, что причиной бед, разразившихся над ним в чем неповинным бывшим заведующим статистическим бюро, был его квартирант — Сотников. Следя за последним, полиция не разузнала, что Сотников жил в отдельном флигеле и не имел ничего общего с Победоносцевым. Но у нас с гражданами не церемонятся, и Е. И., семейного человека, потащили без всяких разговоров в тюрьму, а оттуда в С.-Петербург, в дом предварительного заключения! Однако, и этим не ограничился Дудкин, аппетит которого возрастал с количеством обысков и арестов, суливших великие милости. Он арестовал начальника службы, кажется, движения Ряго-Орловской жел. дороги, Н. Ф. Королева, о котором я вскользь упоминал выше. Это был прекрасный человек, соединивший в себе редкую доброту с самою широкою и разнообразною общественною деятельностью. Он стоял во главе организованной им вольной пожарной дружины, играл в любительских спектаклях, был деятельным членом литературно-художественного кружка, комиссии народных чтений, а также всех благотворительных обществ. Словом, не было, кажется, в Орле такого общественного учреждения, где бы Николай Филиппович не только принимал участие, но был, что называется, „душою общества“. Его все любили, все уважали и стремились залучить во всякое возникавшее общественное предприятие... В то же время Королев был совершенно аполитичен. По обыкновению, Королев и в почту ареста был распорядителем на каком-то благотворительном вечере. Он как-раз принимал кассу, когда явился „сам“ Дудкин, чтобы не упустить из рук „важного государственного преступника“. Николая Филипповича повезли домой, произвели там тщательный обыск, арестовали, а затем, как и Победоносцева, отправили в Петербург! Скоро выяснилось, что Королев не при чем, а виновною оказалась... его свояченица! Но это нисколько не препятствовало, чтобы схватить невинного и почтенного инженера путей сообщения, занимавшего крупное место в железнодорожном ведомстве, обыскать, арестовать и отправить в столицу для заключения! Когда узнали об аресте Королева, в городе возникла паника. — „Уж если Николая Филипповича арестовали, — шептались горожане, — то кто же гарантирован от полицейского произвола?“ Среда, в которой, главным образом, вращался Королев, особенно железнодорожный мир, дотого струсила, что не только прекратили посещение гостеприимного, сердечного дома Королева, но переходили на другую сторону, когда встречали кого-либо из многочисленной семьи Николая Филипповича, оставшейся без всяких средств. Правда, Королева, как и Победоносцева, скоро, сравнительно, освободили, но он долгое время оставался без места. Казалось бы, что за несправедливый арест должен был понести кару Дудкин, но, конечно, случилось обратное. Одновременно с Орлом обыски и аресты произведены были в Харькове, Москве, Петербурге и, как мы уже знаем, —

в Смоленске. При этом выяснилось, что департамент государственной полиции был превосходно осведомлен о деятельности народоправцев. Говорили, например, что некоторые из орловских народоправцев ходатайствовали о праве жительства в столице. Им дан был ответ: „все на Пасху будут здесь“. Так оно и случилось: „все“ на Пасху, действительно, были в столице, но только... в доме предварительного заключения...

Теперь два слова о манифесте народоправцев.

„По мнению партии,—говорилось в нем,—понятие о пародном праве включает в себе как понятие о политической свободе, так и понятие о праве народа на обеспечение его материальных интересов, на началах организации народного производства. Гарантиями этого права в глазах партии служат:

Представительное управление на началах всеобщего голосования;
Свобода вероисповеданий;
Независимость суда;
Свобода печати;
Свобода собраний и ассоциаций;
Неприкосновенность личности и прав ее, как человека.

В виду того, что Россия не есть однородное целое, а очень сложное политическое тело, необходимым условием политической свободы является признание права на политическое самоопределение за всеми национальностями и областями, входящими в состав ее.

Так понимая народное право, партия ставила своей задачей — объединение всех оппозиционных элементов страны и организаций такой активной силы, которая всеми доступными ей реальными и материальными средствами добилась бы освобождения от современного политического гнета самодержавия и обеспечила бы за всеми права человека и гражданина.

Будучи глубоко убеждена, что ее стремление вполне соответствует истинным потребностям исторического момента, партия надеялась, что призыв ее найдет горячий отклик в сердцах тех, кто не потерял еще чувства своего человеческого достоинства, в коем самодержавие не вытравило сознание своих гражданских прав, кто измучен гнетом господствующего произвола и насилия, кому дороги интересы родины и высших идеалов правды и справедливости“.

Этот манифест мне очень понравился. По моему мнению, он действительно соответствовал моменту. И когда я задался вопросом,—чем же объяснить мгновенное исчезновение партии после первого провала,—то соглашался с теми, которые говорили, что причина гибели кроется в ошибке, сделанной основателями партии, называвшими ее „социально-революционной“, хотя, судя по манифесту, дипломатично умолчавшему даже о способах достижения самой важной цели — политической свободы,—в ней ничего „революционного“ не было. Не будь этой, несоот-

вегствующей манифесту, прибавки, партия могла бы найти значительное число последователей в земской среде, которая как-раз в этот момент начала проявлять усиленное стремление к достижению той самой политической свободы, конституции, какой желали и народоправцы. Прибавка же „социально-революционная“ сыграла роль жупела и привлекла в их среду, главным образом, лишь бывших политических ссылочных и поднадзорных. Не говоря уже о том, что за последними всегда зорко следила полиция, что давало ей возможность знать обо всех проектах в неблагонадежной среде, не говоря, повторяем, об этом, такого рода лиц было тогда очень мало, чтобы они сами по себе могли достигнуть поставленных целей; а во-вторых, незначительное число участников вело к тому, что, — как и случилось с партией Народного Права, — всех их арестовали одновременно, не оставив никаких следов партии. „Ничего подобного не могло бы случиться, — говорили, — если бы партия захватила широкие общественные круги, главным образом, — земские“.

Хотя я, как выше было сказано, — не принадлежал к партии Народного Права, но, — и члены ее, и арестованные по недоразумению — были весьма близкие мне люди, а потому исчезновение их крайне тяжело отразилось на психике моей и моего семейства. Темп общественной жизни в Орле после разгрома партии сильно понизился. Пришлось вести почти обычательское существование с теми из уцелевших знакомых, о которых я говорил на первых страницах описания орловской жизни. К счастию моему, еще в начале 90-х годов у меня не только завелись довольно прочные связи с Москвою, но я получил возможность более или менее продолжительного пребывания в ней, не взирая на отсутствие права даже останавливаться в ней. Биновником таких благоприятных для меня условий в Москве был мой учитель Н. А. Вербицкий, о котором я не раз говорил. Из Чернигова он был переведен в Рязань, где познакомился с богатыми землевладельцами Баташовыми. Зимнее время Баташовы проводили в Москве. Вербицкий и предложил мне воспользоваться этим обстоятельством, чтобы получить возможность ездить в столицу.

После нескольких поездок в столицу, помимо Баташовых, нашлись для меня и еще приюты, хотя в полицейском отношении и не особенно надежные, — именно, мы имели возможность проживать у милейших людей — Муриновых и переселившейся в Москву и сделавшейся учительницей на фабрике Цинделя, К. И. Дмитрюковой, которая, как я писал, лишилась места учительницы в Орле из-за знакомства со мною. Наконец, я пользовался приютом у Василия Михайловича Соболевского, хотя для меня почлег у него был самым тяжким. Дело в том, что я смертельно боялся скомпрометировать редактора „Русских Ведомостей“, считая это преступлением. Но В. М. не пропикался моими доводами. В 1895 г. я получил разрешение на право жительства в Петербурге. Это обстоятельство

до некоторой степени как-бы узаконяло мое временное пребывание в запрещенной Москве, или, вернее, давало возможность увернуться, заявив,— если бы пришлось объясняться,— что „остановился в Москве проездом в Петербург“. Скажу здесь к слову, что на вопрос, заданный мною тогдашнему директору департамента полиции, Зволянскому,— почему мне воспрещено жительство в Москве,— он откровенно заявил, что вторая столица находится в полном ведении генерал-губернатора, великого князя Сергия Александровича, и департамент полиции не имеет права вмешиваться в московские порядки.

Прежде чем объявлено мне было официальное *veto* относительно Москвы, я, как выше писал, получил почти право гражданства в столице. Дело дошло до того, что в 1894 году я явился в Москву уже в качестве члена IX Съезда естествоиспытателей и врачей. Это был замечательный Съездъ, отмеченный первым открытым выступлением земских статистиков. Виновниками легализации самого неблагонадежного земского элемента явились профессора Московского университета Д. Н. Анучин и А. И. Чупров. Первый был заведующий секциею географии, антропологии и этнографии, а второй — подсекции статистики. В общем членов подсекции статистики насчитывалось восемьдесят шесть человек, из которых заметный процент не имел права даже въезда в Москву. И все эти лица, как и я, жили у знакомых без прописки, молча, чтобы не попасть в прессу, присутствовали на публичных заседаниях, высказываясь лишь в закрытых заседаниях комиссии. Только один из таких „нелегальных“, В. И. Яковенко, решился как-то выступить публично, но он, произнеся речь, тотчас же помчался на вокзал и улетучился из Москвы. Давали волю мы своим чувствам и развязывали языки лишь на интереснейших собеседованиях за обедами и ужинами, которые устраивались, как я уже говорил, в московских трактирах, главным образом, в большом Московском трактире, что был на Борисоглебской площади, против городской думы.

На одном из таких ужинов чисто-политического характера речь произнес редактор „Русской Мысли“, известный публицист — Виктор Александрович Гольцев. Верный своим взглядам, и на ужине, о котором идет речь, Гольцев произнес чисто-конституционную речь. Каким-то образом слух об этом дотягнул до московского генерал-губернатора, для которого конституция была то же самое, что и революция. Поднялась буча, осложненная еще тем обстоятельством, что к этому моменту московская полиция разнюхала, что такое земские статистики. Говорят, что по этому поводу профессорам Анучину и Чупрову пришлось объясняться с генерал-губернатором. Передавали, что последний понятия не имел ни о какой статистике, а о земской — тем более. Когда хлопотали о включении в секцию географии подсекции статистики, то, будто-бы, приводили самые элементарные доказательства, в роде того, что география, мол, говорит

о разных странах, а во всякой стране имеется и население, и скот, и многое другое; все это необходимо „составлять“, чем и занимается статистика. Si non è vero ben trovato, но, думаю, что если все сказанное выдумано, то это близко к действительности. Доказательством служит самый факт разрешения образовать подсекцию статистики, что было бы совершенно немыслимо, если бы московский генерал-губернатор знал о земской статистике и о том „третьем элементе“, который был душою ее. Нужно думать, что генерал-губернатор представлял себе статистику в виде каких-либо канцеляристов, щелкающих на счетах и вычисляющих разные разности, или, в крайнем случае, педагогов в „футлярах“. И вдруг доносят ему, что явились какие-то субъекты, именующие себя „статистиками“, а в действительности это сплошные крамольники. Тем из нас, которым нельзя было носа показать в Москву, пришлось или немедленно оставить последнюю, или прятаться у знакомых, не давая никаких признаков жизни.

Благодаря IX съезду естествоиспытателей и врачей, я приобрел много новых знакомств не только в Москве, но и в России. В то же время я ближе сошелся и с „Русскими Ведомостями“. Громадный процент статистиков оказались корреспондентами этой газеты и чуть не ежедневно они в свободные часы наведывались в комнату „внутреннего отдела“, которым заведывал в это время Петр Михайлович Шестаков, всем своим существом принадлежавший к „третьему элементу“ и искренно сочувствовавший ему.

Возвратился я с женою в Орел освеженный и ободренный. Отшла немного та безнадежная тоска, которая одолела нас после провала партии „Народного Права“, убравшего из Орла лучших из наших знакомых.

20 октября 1894 г. в Ливадии скончался император Александр III, с именем которого была связана тяжелая реакция 80-х годов. Все возлагали надежды на новое царствование, полагая, что начнется в государственной жизни нечто иное, тем более, что к этому времени, как мы уже говорили, начала проявляться общественная жизнь и особенно — земская.

И. П. Белоконский.

Автобиография П. Л. Антонова.

По поводу автобиографической записке П. Л. Антонова¹⁾.

Когда в 1906 году я писала те биографические очерки, которые вошли в состав моей книги „Шлиссельбургские узники“, то, между прочим, обратилась к моему товарищу по заключению, Петру Леонтьевичу Антонову, с просьбой прислать мне хотя краткое описание его детства. Он исполнил это, но, так как его автобиографическая заметка отличалась слишком большой краткостью, то я просила дать мне более подробный рассказ о его жизни. Ответом на эту просьбу была ниже помещаемая рукопись. В свое время я не воспользовалась ею, так как, с одной стороны, она оказалась для той цели, для которой была нужна, а с другой — заключала такой материал о его деятельности пропагандиста и встрече после ареста с директором департамента полиции, Н. П. Дурново, которые я даже и не могла бы поместить в тексте биографии Антонова, не нарушая общего плана биографий других товарищей.

В настоящее время, разбирая литературный материал, остававшийся до прошлого года за границей, я нашла и перечитала рукопись Антонова и думала, что опубликование ее может быть интересно во многих отношениях.

Начало ее, заключающее описание „жестокого“ детства, хотя и не имеет интереса новизны — мало ли описаний жестоких детств в нашей литературе! — но, во всяком случае, представляет бытовую картинку своего времени. Во-вторых, партии „Народной Воли“ нередко ставилось в упрек, что она бросала все силы на террористическую борьбу с правительством, между тем, как на деле партия совсем не страдала такой односторонностью: по самому существу дела, ее пропагандистская деятельность среди рабочих должна была для широкой публики оставаться в тени, тогда как политические выступления не могли не бросаться в глаза. Это и приводило к неверным суждениям. Из описания, которое делает Антонов, читатель может видеть, как длительно и энергично он действовал, как пропагандист, и как партия дорожила его способностью к пропаганде, удерживая от боевых выступлений, к которым, в силу своего решительного и энергичного темперамента, он был чрезвычайно склонен.

1) Подробности о шлиссельбуржеце П. Л. Антонове желающие могут найти в биографии его, написанной мною для „Галлерей Шлиссельбургских узников“ (ч. I. № 1907 г.) или в моей книге „Шлиссельбургские узники“ (изд. „Задруга“, М. 1920 г.).

В № 19 „Былого“ была помечена чебольшая заметка („На грани смерти“) о покушении на самоубийство, которое Антонов сделал во время предварительного заключения в Петропавловской крепости. Подробности о допросах автор брал из официальных документов историко - революционного архива (в Петрограде). Теперь из подлинной рукописи Антонова читатель может узнать о причинах, которые вызвали в нем желание умереть.

В этой же рукописи находится иллюстрация тех приемов в целях политического сыска, к которым прибегал П. Н. Дурново, набрасывавший на себя личину добродушия и хвастливо говоривший, что он „*лучи света в темном царстве*“.

Вера Фигнер.

28/III 1922 г.

Рукопись Антонова печатается в том виде, в каком она мною получена: с обращением лично ко мне и милым окончанием: „остальное вы знаете. какой Петро был злой и неуживчивый“.

Дорогая Вера! В то время, как вы писали мне письмо, я тоже послал вам свое, но только по старому адресу — не знаю, получили ли вы его? Получив ваше послание, я был сильно огорчен, что с ним вы не прислали свою карточку; за это я на вас сердит и помирюсь только тогда, когда буду иметь в руках вашу карточку, плюс вашу книжку стихотворений, ибо до нас они еще не дошли. Я все-таки надеюсь, что вы получили мое письмо, где я уже описывал свое житье - бытие, а потому и начну с того, что вам нужно.

Я принадлежу к той многочисленной категории людей на Руси, семейные предания которых доходят только до дедов и только в крайне благоприятных случаях достигают до прадедов. О своих прадедах я не имею никакого понятия, а потому начну с дедов.

Мой дед со стороны отца был крепостным помещика Тульской губ. и за какое-то противление барской воле был отдан в солдаты. Так как он был мастер - кузнец, то и попал во флот, в рабочий экипаж при адмиралтействе гор. Николаева. Жена его по закону, как солдатка, освободилась от крепостной зависимости и последовала за ним, а дочь, ребенок 1 года, как собственность помещика, осталась у него. Отец мой родился уже в Николаеве и чуть ли не с пеленок взят был у матери, как сын солдата, в школу флотских кантонистов, где и проходил достопамятную учебу при Николаевском режиме. При управлении Черноморским флотом того времени было много отделов, где требовались люди со специальной подготовкой: типография, переплетная, граверная, заведение, где изготавливались физические инструменты, и проч. Часть кантонистов специально готовилась для заполнения этих учреждений. Мой отец сделался переплетчиком. В этом же учреждении служил и мой дед (отец моей матери) мастером по изделию всевозможных физических приборов и, как говорят, обладал большим талантом в этом деле и только благодаря беспроблемному пьянству не дослужился до степеней известных, ибо даже его ученики и те потом до-

стигали полковничих чинов. Насколько он был незаменим на своем месте, показывает и то, что в это свирепое время, когда с живого и мертвого сдирали шкуру за каждый пустяк, начальство не только смотрело на его пьянство сквозь пальцы, но и вяльчилось с ним, как с ребенком, и всячески ублажало его. Так он и умер от белой горячки в крайней бедности, оставив 3-х дочерей и сына. Мать моя — 2-я дочь — училась в девичьем училище, которое было основано исключительно для дочерей **нижних** чинов флота, где учились с грехом пополам читать, писать и всяким рукоделиям. Училище это существует и в настоящее время.

Отец мой женился в начале Крымской войны, а я родился в 59 году, третьим сыном. К этому времени дела Черноморского флота, как известно, были ликвидированы по приказу из Лондона и Парижа; все флотские ла-стовые и рабочие экипажа, исключая одного флотского, были упразднены. И мой отец, чуть ли не единственный из всех рабочих, остался при штабе Черноморского флота переплетчиком дослуживать свой 25 - летний срок службы. Ходил он в штаб только для проформы часа на 2, ибо казенной работы почти не было, и занимался он частными; иногда, только в редких случаях Царского проезда, ему приходилось работать усиленно по отделке кают на яхте „Тигр“. При чем, в виде помощника, он брал и меня, хотя мне было тогда, как говорится, от горшки два вершка. В городе тогда у нас было не более 2-х переплетчиков, и потому отец имел массу заказов, особенно от флотских офицеров. Благодаря тому, что морякам приходилось часто перекочевывать, за внезапностью отъезда, у нас оставалось много книг и ко времени, когда мне было 10 лет и я уже мог читать, ими был завален целый чулан. То было время, когда, после Крымского урока, самые косные мозги зашевелились, и потому книги, оставшиеся у меня, были в высшей степени содержательны. Отец мой, кроме переплетного ремесла, умел хорошо шить башмаки и так как башмачное ремесло было в то время несравненно прибыльнее, чем переплетное, то он ко времени отставки (71 г.) стал исключительно им заниматься. Я не помню того времени, когда бы я не работал. Как бы рано ни вставал отец работать, меня непременно будили для той же цели и попытки уклониться от этой обязанности, вполне естественные в возрасте 6—7—8 лет, карались с беспощадной жестокостью. На мои жалобные крики я получал нравоучительное замечание, что его, отца, не так еще били, и после его рассказа: „как его били в школе кантонистов“, у меня становились волосы дыбом и я забывал о тех „пустяках“, которые доставались из родительских рук, и начинал чувствовать себя одним из счастливейших мальчиков на свете. Подумайте только, ведь я мог ложиться с полной уверенностью, что меня не избьют ночью до полусмерти только за то, что я во сне повернулся не на тот бок, на котором начальство приказало спать. Подумайте только, что мне не приходилось быть посланну отцом на рынок — как это ему приходилось — с 2-мя копейками денег и с приказом: „если ты не купишь на эти деньги 5 фун. ветчины, 10 фун. белого хлеба, платок, помады и проч. и не принесешь сдачи 1 р. 50 к., то лучше и не являйся. Запорю до смерти“. Не правда ли, что я должен был чувствовать себя, сравнительно конечно, очень счастливым.

Я работал больше всех детей и мне же больше всех доставалось; можно сказать без преувеличения, что я был козлом отпущения всех братьев. У меня из бесчисленных случаев жестоких расправ, от которых у меня трещали ребра, памятны два случая, от которых я два раза чуть не повесился. Однажды, дело было зимой, после 3-х-часовой утренней работы, мне приказали поставить самовар. Была гололедица и у меня явилась преступная мысль использовать время, пока самовар закипит, и минут 10—15 покататься по двору. Я быстро наколол лучин, зажег, бросил в самовар и навалил туда углей; схватил валявшуюся кость от бычачьего ребра, быстро приладил к ноге и ну с наслаждением кататься по двору, не забывая чутко прислушиваться, не хлопнет ли дверь, чтобы своевременно прекратить столь нелегальное времяпрепровождение. Прошло минут 5 и, сообразив, что опасно более искушать судьбу, я вскочил в сени счастливый, что мое наслаждение осталось незамеченным, а, следовательно, и безнаказанным; но взглянул на самовар и у меня волосы на голове зашевелились от ужаса: впопыхах я забыл налить воды и он распаялся, так что потоки олова расплылись по полу. Первой моей мыслью было убежать на реку и утопиться в проруби, когда я подумал о том, что может за сим последовать; потом я почувствовал какое-то странное равнодушие измученного человека, приговоренного к смерти, которому смерть является как желанная избавительница. (Позднее, когда я был приговорен к смерти, я испытал совершенно то же самое, измученный 2-х-годичным терзанием на допросах). Я решительно открыл дверь в мастерскую и стал на пороге, как истукан, уставившись в одну точку, в ожидании побоев. Вид у меня был такой, что все ахнули. Отец выскочил в сени, а через секунду я уже лежал на полу, стонал и корчился от боли. 8 дней я пролежал после этой экзекуции. Другой случай, случай, когда я впервые, можно сказать, пострадал за идею, это было, когда я уже успел вкусить немного от древа познания (около 11—12 лет). Отец мой любил читать только многотомные и самые нелепые романы, вроде Мельмота Скитальца и с историей зыаком был по десятку глупых и неправдоподобных анекдотов, т.е. вовсе ничего не знал; тем не менее любил на эту тему разглагольствовать целыми вечерами. К этому времени я уже успел прочесть много книг по истории, конечно контрабандно, из валявшихся у нас в чулане. Меня возмущало его бесцеремонное обращение с историческими фактами, но я сдерживал себя и не возражал из опасения репрессий. Но однажды он так стал нестерпимо обращаться с моим самым любимым героем истории, Петром Великим, что я не выдержал и стал горячо возражать ему. Он сначала замолчал, от удивления открыл рот, уставился на меня, я же забылся до того со своим Петром, что не догадался сразу замолчать. Вдруг он сорвался со своего места, схватился за волосы и со словами: „значит, отец врет, так, значит, ты хочешь быть умнее отца“, стал напосить мне цбоя по чем попало, но на этот раз я отделался сравнительно дешево. В память у меня этот случай врезался, как случай идейный. Трудно было при такой обстановке не отступить и не превратиться в раба; но на меня все это производило обратное действие; она положила первые зародыши протеста и возмущения против

всякого насилия и бесправия, но эти возмущения и протесты я старался всеми силами заглушить в себе с помощью охватившего тогда меня восторженно-религиозного чувства. 10 лет, под влиянием чтения Евангелия и особенно житий Святых, я почувствовал себя великим грешником и что грехи свои я могу искупить только великими подвигами по примеру великих христианских подвижников. Я страстно мечтал поскорее начать эти подвиги, удалиться куда-нибудь в пустыню и вернуться оттуда очищенным и просветленным. Вернуться для того, чтобы убедить людей жить истинно-христианской жизнью или пострадать за это. Я стал подолгу молиться по ночам и для этого же, как можно чаще, ходил в церковь. Я восторженно верил во все чудеса и во все, что писалось в религиозных книгах; но любил также наблюдать и размышлять о том, что видел и слышал. Я жаждал видеть своими глазами какое-нибудь чудо, чтобы укрепиться в своих планах. Для этого я, по возможности, старался бывать в тех церквях, куда перевозили чудотворную икону. И я увидел поистине чудо с той стороны, откуда вовсе не ожидал, и которое грубо открыло мне глаза.

Дело вот в чем. В город привозят летом чудотворную икону на один месяц, во всех церквях держат по 2 дня, для правильного распределения доходов между духовенством. Когда привозят ее в церковь, то сначала настоятель начинает возить ее по домам для собирания мзды и, конечно, к самым богатым, а затем, смотря по чину, следующие священники. Зная, что в одну церковь привезут икону, я пошел туда: ее уже ждал весь причт и только не было настоятеля; он был вдовец, картечник и большой любитель баб. На паперти уже шли толки, что отец Д. дуется в карты у такой-то; за ним посыпали, но он так увлекся, что его нельзя было оторвать. Эти толки взвинтили меня и мне казалось, что отец Д. за свой возмутительный поступок будет наказан богом немедленно. Привезли икону, младшие священники встретили ее и отслужили молебен. Один из них берет икону, выходит из церкви и усаживается в карету — в это время из-за угла выскаивает отец Д. пьяный, в безобразном виде, врывается в карету и между ним и сидящим в карете попом завязывается отчаянная брань и драка; во время потасовки икона вылетела из кареты так, что стекло разбилось на кусочки. Все это произошло в течение одной минуты, но в эту минуту я пережил десяток лет. Я испытал такое потрясение, какого уж не испытывал больше никогда.

После этого я перестал слепо доверять книжкам духовного содержания и всецело предался книгам из „чулана“, которые не требовали от меня слепой веры, а только давали факты и освещали их. С этого времени я уже стал читать книги и не исторического только содержания, а все, что попадало под руки, в надежде найти в них ответы на бесконечные — „отчего“ да „почему“. И чего только в этом чулане не было? Там была масса классиков и древних, и новых, там были книги почти по всем наукам, которые я старался прочесть, и в которых ровно ничего не понимал и только изредка попадавшиеся популярные книги и брошюры пожирались мною с жадностью и великой пользой. И, несмотря на то, что читал без указания и без помощи со стороны, к 13-ти годам на многие окружа-

ющие явления природы и жизни у меня выработался сравнительно довольно правильный взгляд. Громадное значение имело на мое развитие сначала то, что в „чулане“ было много географических карт и книг по географии, много книг по истории и масса гравюр, так что с историей и географией к тому времени я был основательно знаком; кроме того, к 13-ти годам, т.-е. ко времени поступления в ремесленную школу, имена таких писателей, как: Вальтер-Скотт, Диккенс, Токкерей, Эдгар Поэ, Гюго, Шпильгаген, Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Толстой, Тургенев, Островский, Некрасов и проч. были для меня далеко не звук пустой, как для всех моих сверстников.

Я страстно любил природу. По праздникам и в часы послеобеденного сна моего отца, я забирался в густую траву, росшую у нас на задворках, и до самозабвения отдавался наблюдению над муравьями, осами и прочим населением зарослей. Современные споры ученых о том: есть у насекомых разум или только инстинкт, мною тогда же был решен в пользу разума. Правда, тогда я слишком преувеличивал размеры этого разума. Теперь я не скажу, что ум муравья так же обширен, как и человеческий, но для муравьиного обихода у него так же достаточно разума, как и у человека для своего человеческого обихода. Может показаться странным, что я, говоря о своем детстве, не говорю об играх и забавах,— но я о них почти не помню. Мои сверстники до 10—12 лет только и делали, что гоняли кубари, играли во всевозможные игры, на что я мог только украдкой изредка смотреть в будни и только в праздники эти соблазны были мне доступны на несколько часов, ибо мой отец, большой любитель формальной религиозности, обязательно таскал меня к обедни, а после 5-ти час. вечера у нас снова садились за работу, так как в понедельник (базарный день) надо было заканчивать для продажи пар 60 башмаков.

Теперь расскажу, как я начал учиться грамоте, как проходил и как закончил свое „образование“. Когда мне было лет $6\frac{1}{2}$, отец решил меня научить писать и читать самолично. Порывшись в „чулане“, он откопал какую-то книгу, на которой было написано „учебник“, развернул ее и увидел, что она по форме напоминает азбуку, хотя и видел, что между строк русского текста везде напечатан еще какой-то иностранный; не смущаясь этим и тем, что в книге не было азбуки, он начал меня учить читать прямо по складам. Но склады и слова получились дотого мудреные, что даже и мой отец выпучил глаза; но так как эти мудреные слова были все таки напечатаны русским шрифтом, то его смущение быстро прошло и он стал мне по складам вдалбливать какие-то „броты“, и „мутеры“, и проч. чепуху, которую я решительно не мог воспринять (это был самоучитель немецкого языка, где русскими буквами показано, как произносятся немецкие слова). Пробившись со мной 2 недели, он наконец плюнул и махнул на меня рукой, как на безнадежно глупого мальчика, конечно, употребив предварительно свойственные ему способы воздействия.

Через несколько времени он отдал меня в школу, где учился мой старший брат. Школу эту содержал какой-то отставной штурманский офицер, которого разбил паралич. Это был довольно тучный господин, который все время лежал и только изредка сидел; ноги у него совсем

отнялись, а на руках пальцы были сведены к ладоням. Он имел служанку, которая за ним и ухаживала. Лежал он на кровати в классе, который изображал из себя квадратную комнату $2\frac{1}{2}$ сажени в длину и ширину. От него, кроме запаха водки, которую он пил постоянно, несло еще какой-то нестерпимой вонью, наполнявшей весь класс. В руках у него находилась постоянно громадная трубка с саженным чубуком, которую он держал, как клещами, между пальцев. Кровать его была поставлена с таким расчетом, чтобы он мог достать своей трубкой до голов всех школьников, о которые он и выколачивал свою трубку. Злой он был до невероятности. Плата была за учение 1 р. в месяц. Мне купили новеньющую азбуку, где были около букв нарисованы и „Феодор с квасом“, и „Чернослив“ и проч. незамысловатые иллюстрации. Я быстро одолел азы, которые после батькиных уроков были для меня небесной музыкой, и храбро уже пустился плавать по морю складов, когда должен был вместе с братом покинуть школу. Случилось, что за какую-то вину наш педагог так ахнул трубкой в висок моего брата, что он чуть богу душу не отдал. Я побежал домой, сказал отцу, а так как брат был любимчик отца, то он и помчался в школу, чуть не избил учителя и забрал нас домой. Брат мой уж не только читал и писал, но и знал арифметику до дробей, а потому отец счел, что образование его уже закончено. Первые мои успехи немного смягчили отца, и он стал подумывать о том, чтобы я мог хоть как-нибудь доучиться.

В то время в нашей части города, где жило почти исключительно рабочее население, на 25 тыс. жителей было всего 3 школы. Одна, лучшая, в которой мое пребывание было столь короткое, вторая содержалась каким-то отставным кантонистом Кобзаренко, и третья, которую всл. тоже бывший кантонист Ларион Степанович Попович. Мой отец рассказывал что Поповича за какую-то провинность исключили из школы уже великовозрастным и сдали матросом на какой-то корабль. Во время осады Севастополя он нес какую-то службу на стоявшем в бухте судне и его привязали за что-то к мачте; в это время на судно упала неприятельская бомба, попала в крют-камеру (где на судне хранятся порох и снаряды), и судно было взорвано на воздух. Поповича вместе с мачтой бросило в воду, откуда его достали искалеченным; потом он вылечился, но у него одна нога стала короче другой, и он хромал; лицо же его, все в синевато-багровых рубцах с одним обожженным глазом, которым он не видел, имело цвет спектра с преобладанием красного: это лицо с таким глазом наводило ужас на учеников, когда он приходил в раздражение. Когда он сердился (а сердит он был постоянно), то лицо его наливалось кровью, глаз же сверкал и вертелся колесом. И горе тогда тем, кто привлечет его внимание. У него был целый арсенал карательных орудий, которые без преувеличения смело можно назвать пыточными. В назидание потомству я перечислю все степени наказания, практиковавшиеся в этой школе. Начну с легких: статья первая: 1) стояние на коленях в углу, 2) стояние на коленях на скамье, 3) стояние на коленях в углу на крупном песке или на горохе. Статья вторая: 1) наказание линейкой $1\frac{1}{4}$ арш. длины, $1\frac{1}{2}$ вершка

шир., $\frac{3}{4}$ 'с дюйма толщины из какого-то необычайно прочного дерева. Битье по ладони, плашмя слегка и со всей силы, при чем в последнем случае ладонь вспухала. Но самая мучительная и невероятно жестокая казнь происходила, когда заставляли мальчугана сложить пальцы щепотью так, чтобы все концы пальцев, собранные вместе, торчали вверх и по ним били той же линейкой, а при усиливающих вину обстоятельствах—ребром. От одного такого удара даже стонок взвыл бы зверем, что же было с детьми—предоставляю судить другим. Статья 3-я—порка. Порка производилась в видах экономии времени и сил, только по субботам, так что приговоренный к порке, напр., в понедельник, должен был ждать целые 3 дней приведения приговора в исполнение и, только в крайне исключительных случаях, когда требуется применение вроде военно-полевого суда, преступник казнился немедленно же. Порка была 2 сортов, одна—сухими розгами—это за случайное незнание уроков; за систематическое же незнание пороли розгами, которые мокли постоянно в ведре, стоявшем тут же в классе. В субботу предназначалось $\frac{1}{2}$ дня для спрашивания „задов“, т.-е. повторения пройденного за неделю, а другая половина дня на экзекуцию; при чем, если кто из предназначенных к порке исправлялся т.-е. выучивал пройденное за неделю, то это служило смягчающим вину обстоятельством, т.-е. тому, кто предназначался только к сухой бане, баня эта заменялась строгим выговором, а кто предназначался к мокрой, то сия бывала заменяема сухой. Как видите, по способу откладывания кары, Попович является первым гуманистом, применявшим условное осуждение, до которого передовые европейские умы додумались гораздо позднее.

(Здесь Петр остановился, найдя, что, если он будет продолжать в этом духе, то понадобится очень много времени и бумаги, а потому дальнейшее старается сократить).

Дорогая Вера! Вы сделали большую ошибку, что дали право моей жене совать свой нос в дело моей автобиографии, пеняйте же на себя, что так долго не получали ее. Дело в том, что она требует, чтобы я писал, как можно подробнее и я, как слабейшая (?) сторона, уступил и получилось то, что, исписавши листов 8 тетради, я дошел только до того, как стал учиться грамоте. И если я буду по этому плану продолжать писать, то вам придется долго ждать. Поразмыслив хорошенъко, я пришел к заключению, что, во-первых, вам нужно к спеху, а, во-вторых, такую подробную автобиографию вам некогда и читать, поэтому, учинив семейный мятеж, пишу вам краткую биографию на листке почтовой бумаги. По настоящию Зины, 1-ю часть отсылаю, как есть, а продолжать буду более кратко.

В школе Поповича я учился до 8-ми лет, так как дальше нечemu было учиться: я выучился читать, писать и 4 правилам арифметики. В 73 г. у нас открылась ремесленная школа при адмиралтействе. Назначением этой школы было подготовить нижний технический персонал для возрождающегося черноморского флота. Школа эта не давала никакого общего образования — ни географии, ни истории не преподавали; все

усилия были направлены на черчение, рисование, геометрию, арифметику, технологию и работы в мастерских. В 76 г. я окончил школу первым учеником.

К этому времени, под влиянием все более и более сознательного чтения, взгляды мои настолько эволюционировали в общественных вопросах, что все симпатии мои были на стороне социализма; мне только не доставало основательного знакомства с учением социализма. Из начавшихся тогда процессов пропагандистов социализма, отчеты о которых стали появляться в газетах, пробелы эти стали пополняться. Еще раньше этих отчетов я вел пропаганду этих идей, пользуясь для этой цели евангелием, которое по моему мнению было учением социализма, если отбросить мистическую сторону его. Я старался составлять из рабочих кружки самообразования, чтобы подготовить их к восприятию социализма. До 80 года я не имел никаких связей с революционными организациями. Мне тогда казалось, что такое простое и прекрасное учение должно неизменно быстро охватить весь мир, никто не устоит против него и „царствие божие вдоворится на земле“. Мои детские мечты осуществились и я неутомимо вел проповедь нового учения; о том, что эта проповедь встретит жестокие препятствия, с которыми придется вступить в борьбу ни на живот, а на смерть, тогда я еще не думал и верил, что все придет к концу мирным путем. Но скоро пришлось в этом разочароваться, и после того, как у нас в Николаеве в 79 году повесили Логовенко и Витенберга, я из мирного пропагандиста стал ярым сторонником террористической борьбы, и в своей проповеди в этом направлении отводил ей много места. Только с переездом в Полтаву, где я поступил в ж.-д. мастерские, мне удалось завести связи с революционными организациями, которых там было 2—народническая (противники террористической борьбы) и народовольческая (сторонники этой борьбы). Я примкнул ко второй.

Летом 80 года меня перевели в Николаев, где я проработал до декабря и вел пропаганду среди рабочих и матросов. В декабре снова переехал в Полтаву, где окончательно вошел в организацию Нар. Воли. С этого времени я отдал себя всецело в распоряжение партии и не раз настойчиво предлагал себя в боевую организацию, но всегда получал отказ, так как мое положение—хорошего работника-мастера, которое чрезвычайно влияет на успех пропаганды, и человека, легального, хотели использовать до конца в этой области революционного дела. Летом 81 года меня послали в Одессу, так как в это время там был разгром рабочих организаций, и я проработал там до декабря на механических заводах, после чего уехал в Полтаву, откуда через несколько дней пошел в Карловку, Полтавск. губ., Константиноградск. уезда, где по слухам было много рабочих. Местечко Карловка было некогда резиденцией гетмана Разумовского, а в мое время принадлежало великой княгине Екатерине Михайловне. В этом местечке сосредоточивалось управление всеми окрестными имениями этой помещицы. Там же были сосредоточены и заводы; на один из них, механический, я и поступил кузнецом. Почва для пропаганды революционных идей оказалась там необычайно богатой. На этом заводе работали почти исключительно окрестные крестьяне, которые жили

тут же в казарме, где поселился и я; по субботам эти рабочие до понедельника расходились и разъезжались по деревням, куда и развозили все то, что воспринимали от меня. Дело пошло так быстро и широко, что стали уже поговаривать о восстании, и мне стоило больших трудов отклонять их от каких-либо преждевременных проявлений, напр., от поджогов экономий и проч. В мае 82 года мне дали расчет и предложили уехать. Я собирал фактические данные для полтавского корреспондента „Русск. Курьера“; администрация по имени как-то пронюхала про это и изгнала меня. Замечательно, что за полгода моей революционной работы ни управление, ни полиция ничего не подозревали, хотя пропаганда велась широко и почти открыто, и только тогда, когда стали появляться корреспонденции, раскрывавшие возмутительные безобразия, творившиеся в экономиях, на меня обратили внимание.

Покидая Карловку, я связал местный кружок руководителей организованный мной, с Полтавой. Из Полтавы меня послали в Харьков по местным делам, где я и познакомился с В. Н. Ф., которая послала меня в Одессу с целью парализовать деятельность некоторых ретивых шпионов¹⁾. Не добившись от местных революционеров помощи в этом деле и заметив, что за мной стали следить, я уехал в Очаков, а затем отправился пешком в Николаев, по дороге рассчитывая найти где-нибудь работу недели на 2, так как у меня не было ни копейки денег. Добрался до Козловой, имение Сухомлиновой, где встретил рабочего, который знал меня по наслышке. Все рабочие отнеслись к моему желанию остаться у них поработать с большою радостью и я уже решил из этого места сделать вторую Карловку; мне посоветовали не обращаться к управляющему, а обратиться к самому поменику, которого ждали все нынче-завтра. Меня хорошо угостили и после беседы, в 1 час ночи уложили спать. На утро я решился сходить в Николаев (30 верст), кой с кем повидаться и написать письма, чтобы уведомить о своем местопребывании. Исполнив все это, дня через 2, я вернулся обратно и вместо радушия, которое я ожидал встретить, я заметил какое-то смущение при моем появлении. На вопрос, в чем дело, мне рассказали, что в ту ночь, когда я у них ночевал, у них из дома были похищены серебро и драгоценные вещи на сумму около 20 тыс. руб. и вечером сожгли конюшню, где сгорели все лошади, и это дело полиция приписывала мне. Возмущенный этим, я отправился в квартиру станиового, чтобы обясняться, но не застал его дома. После этого, поразмыслив, я решил поскорее убраться оттуда по добру по здоровью, ибо меня могли преследовать и бросить в тюрьму до выяснения дела, а так как я не мог указать, где я провел три дня поспешного ухода, то дело могло привлечь скверный оборот. Ушел я благополучно и до сих пор не знаю, чем все это кончилось. После этого я отправился в Люботин на Х.-Н. ж. д., на который мне указали, как на подходящий пункт, где можно с большой пользой поработать. Я отправился туда и поступил в мастерские кузне-

¹⁾ Дело шло о Меркулове, который, после осуждения на каторгу, был освобожден и, приехав в Одессу, выдавал и помогал ловить своих прежних товарищей—одесских рабочих. (Примеч. В. Ф.).

цом, где среди рабочих и окрестных крестьян, главным образом штундистов, и вел пропаганду; здесь мне удалось сплотить хороший кружок, из большинства членов которого вышли хорошие пропагандисты. К концу 82 года я наконец был зачислен в южно-русскую боевую дружину. В марте или в начале апреля я получил приказание ехать в Харьков и в тот же вечер был отправлен с другими членами „б. д.“ в Симферополь, где в ожидании дела мы прожили около месяца. Дело это растроилось, т. к. Дегаеву было кое-что известно: правда, мы все уцелели, но один из членов нашей „б. д.“ и представитель ее, известный Дегаеву, был выдан им. В это время, благодаря массовым предательствам Дегаева, дела партии до того расстроились, что наша „б. д.“ должна была на время рассыпаться по югу России.

Возвратившись в Харьков, я узнал, что в Люботине разгром, и что меня усиленно разыскивают. Меня отправили сначала в Луганск пересидеть горячее время розыска, а потом я перебрался в Екатеринослав, но так как и там, оказалось, меня разыскивали, а меня там знали многие рабочие, то мне было неудобно там жить и я отправился по пути строившейся Екатерининской ж. д. и недалеко от Кривого Рога стал работать при каменной ломке. Там проработал я почти до сентября, после чего возвратился в Харьков, где застал почти всю нашу „б. д.“ в сборе. Но дела наши после Дегаевщины были так плохи, что мы ходили как осенние мухи. Чтобы положить конец такому тягостному положению вещей, у нас и возникла несчастная мысль конфисковать денежную почту, чтобы на эти деньги двинуться на Петербург. Как известно, дело это провалилось — почта ехала под усиленным конвоем и мы потеряли убитым одного из товарищей (Бердичевского). В городе поднялась тревога и мы должны были разъехаться, причем я с Паном (Панкратов. — В. Ф.) уехал в Саратов, а в скором времени, туда приехал и Мартынов. В начале декабря мне было предложено 2 тыс. руб. одним местным обывателем с тем условием, чтобы я привез к нему одного из членов высшей организации. Я поехал для этого в Харьков, послал такового, но сам, к сожалению, не вернулся в Саратов, а сей обыватель, пользуясь тем, что я не вернулся, надул нас и денег не дал. В это время тучи Дегаевщины, висевшие над нами, рассеялись и мы вздохнули свободнее. После раскаяния Дегаев сообщил, что в Харькове есть агент Судейкина, рабочий Федор Ширеба, и мне было предписано покончить с ним, что я и исполнил — это было в середине января 84 г. Так как после этого разразились обыски и аресты, то меня спровадили в Луганск, откуда я снова возвратился в Харьков по письму, в котором требовалось немедленное мое прибытие. На другой день мы с Гончаровым (харьковский студ., член „б. д.“, ум. в тюрьме в 85 г.) мчались в Киев, куда приехали после ареста $\frac{1}{2}$ нашей „б. д.“ и полного разгрома киевлян. Избежав благополучно ареста, мы на другой день возвратились в Харьков. Я снова уехал в Луганск, откуда уже весной меня вызывали в Ростов-на-Д. для устройства типографии. В это время дела партии, несмотря на понесенные потери, быстро стали оправляться: и люди, и средства появились в изобилии. И снова закипела подготовительная работа, намечались планы действий на ближайшее время. Кипела работа в 2-х типографиях, динамиту

можно было иметь хоть десятки пудов и уже было более 20 бомб. Я с нетерпением ждал вызова в Петербург... Как вдруг разразился такой провал, после которого дела партии уж не могли оправиться (провал Лопатина) и дело революционной борьбы быстро пошло к концу. Оставшиеся члены организации очутились с порванными связями, без средств и с полным недоверием общества. Типография хотя и уцелела, но ее пришлось закрыть. Еще осенью 83 г. в Харьков откуда-то приехал бывший киевский студент Петр Елько; приехал он уже нелегальным и назывался Владимиром Николаевичем. Как нелегальному, ему предложили принять участие в нападении на почту, после этого его мало - по - малу, наши главари, приобщили почти ко всем делам, а так как он был довольно юркий, то его и посылали в разные города по разным делам; в конце-концов он имел так много связей и так много знал, что после этого провала он остался почти один и, в силу необходимости, за отъездом за границу уцелевших членов высшей организации, все осталось в его руках и он стал руководить всем оставшимся на юге. Я выехал из Ростова еще до разгрома и, когда возвратился туда, то нашел там одного Елько.

Описав мне отчаянное положение вещей, он предложил мне отправиться в Воронеж и заняться там подготовлением ограбления денежной почты, а если найдутся подходящие люди, то и привести это в исполнение местными средствами. План у нас был такой: добыть несколько тысяч денег, собрать всю оставшуюся публику, для которой тогдашнее положение вещей было хуже смерти, вооружить ее теми 2-мя десятками бомб, которые остались от провала, и дать правительству последнюю битву и не для того, чтобы победить, а чтобы умереть с честью, ибо я и многие другие предпочитали лучше умереть, чем бежать за границу. Снабженный паспортом и адресами, я двинулся в Воронеж; там были люди, но средств никаких и предложенный мною план нападения на почту был принят с большой охотой. По этому делу я вел переписку с Елько, который обещал приехать в должный момент. Но когда все было подготовлено, он на мое предложение приехать ничего не ответил, а на мою телеграмму, в которой я ему сказал, что если он не ответит, то я буду считать это молчание, как разрешение действовать местными силами, я не получил никакого ответа. Дело это кончилось так ужасно, что при воспоминании о нем у меня и теперь пробегает мороз по коже: если бы не опасение, что я могу повредить другим участникам, я бы пустил себе пулю на месте¹⁾. После этого случая я уехал в Харьков весь разбитый и подавленный, где встретил Елько, у которого хватило наглости еще осыпать меня упреками. Из Харькова я уехал в Севастополь, где и стал работать на строящихся там броненосцах. Хотя там было много рабочих, которые знали меня еще в Николаеве и которые предупреждали, что меня там несколько раз разыскивали,— я совсем не обращал на это внимания; и хотя в Севастополе я и завязал много связей, но

¹⁾ Предполагая, что Панкратов мог знать о деле, которое так потрясло Автонова, я обратилась к нему, прося дать мне необходимые сведения. Но, оказалось Панкратов их не имеет, и только сообщил мне, что во все время заточения в Шлиссельбурге это дело мучило нашего Петра, вызывая припадки самой мрачной тоски. Прим. В. Ф.

у меня, измученного двухгодичной нелегальщиной, не было ни былой энергии, а главное той веры, что в ближайшее время можно разорвать цепи, связывающие родину по рукам и ногам.

В начале 85 г. мои знакомые предлагали мне деньги для поездки за границу и даже просили об этом, но я отказался, считая своим долгом разделить участь моих товарищей. Из Севастополя в феврале 85 г. меня послали в Харьков, где уже несколько оправившаяся партия, освеженная молодыми силами, развила довольно широко свою деятельность. Елько уехал в Петербург, где и был арестован; перед тем он навез туда около десятка бомб и рассовал их по квартирам студентов. Я поспешил нанять квартиру и поселился в ней с бывшим студентом Лисянским, перевез туда бомбы, всякое оружие и типографию. В середине апреля в Харьковскую тюрьму привезли из Петербурга Елько. Ничего не подозревая, мы завели с ним сношение и собирались освободить его. 1-го мая я так торопился на свидание, что забыл захватить оружие, с которым не расставался 2 года ни днем, ни ночью. На середине дороги я встретился со своим приятелем, студентом ветеринаром Макаревским, и мы пошли вместе. Не успели пройти 200 шагов, как были окружены шпионами. Я быстро сунул руку в карман пальто и орда отхлынула от нас, но когда они увидели, что я ничего не вынул из кармана, они храбро бросились на нас, схватили за руки и за ноги и положили на извозчиков, которые были с ними, и отвезли в полицейское управление. Повидимому, меня там ждали, и жандармский офицер с шпионами стал меня обыскивать; но, чем дальше они обыскивали, тем физиономии вытягивались все более и более от разочарования. Меня спросили, кто я? Я назвался студентом и, видя их смущение, я храбро стал возмущаться их обращением со мной. Мне сказали, что если я не то лицо, которое им нужно, то меня отпустят; у меня быстро сложился план воспользоваться именем одного студента, из пшютов, для освобождения, но мой план так и отцвел, не распустившись. В конце обыска у меня в одном из карманов нашли кусок бумажки, на которой был сделан оттиск чего-то нелегального, и лица их просветлели. Закипела работа у телефона и через несколько минут съехалось какое-то начальство. Меня спросили, кто я? Я сказал, студент. Эта публика переглянулась и весело рассмеялась. Меня больше не спрашивали, а когда настала ночь, меня посадили в экипаж окружили казаками, перевезли в тюрьму и посадили в камеру вне тюрьмы под воротами. В тюрьму прибыло и начальство и посетило кого-то в главной тюрьме. После этого ко мне зашел полковник Цукаловский и обратился ко мне так: „Здравствуйте, Петр Леонтьевич! Давно, давно нам хотелось с вами познакомиться, мы вас уж несколько дней поджидали на квартире Шахтера, но вы были так осторожны, что не являлись туда, но так как мы ждали и на других квартирах, то вы и попались!“ Это меня опеломило, но я, как ни ломал голову, был далек от истины: у меня не укладывалось в голове, чтобы близкий мне человек мог быть предателем.

Дней через 6 меня заковали в кандалы и перевезли в Петербург, где в крепости, с месяц я просидел в кандалах и без допроса. Наконец, меня расковали и на другой день после этого ко мне в камеру вошел то-

вариц прокурора Романов, уселся на кровать и у нас началась беседа. Он стал мне выкладывать почти все мои дела с такой подробностью, что я ясно увидел предательство близкого мне человека. Я ему сказал, что все это вздор. Тогда он стал говорить о том, что мои запирательства никакому не поведут, что у них есть 2 свидетеля, которые подтвердят это на суде, который может быть не позднее 2-х месяцев, так как следствие по делу Лопатина, к которому и меня привлекают, уже заканчивается, и что я своим бесполезным запирательством только заставлю себя просидеть в тюрьме лишний год. Я был первый раз в жизни на допросе и, размыслив немного, решил, что, подтвердив взводимые на меня обвинения после очной ставки с предателем, я не могу повредить кому бы то ни было, а поэтому я и согласился на очную ставку. Меня перевели в Екатерининскую куртину, где обыкновенно снимали допросы, посадили у зеленого стола, где сидели 2 жандармских офицера и прокурор Котляревский; через несколько минут дверь отворилась и в нее ввели Елько. Подходя к столу, за которым я сидел, он начал так: „Ты что же это не хочешь сознаться, что ты делал то-то и то-то! Ты думаешь, что это им неизвестно? Не успели меня арестовать, а вы уже и бомб наделали! Для кого? Убить государя? Ты думаешь, им неизвестно, как ты в Харькове... в Ростове... и т. д.“ Пока речь шла обо мне, я смотрел на него с любопытством, смешанным с презрением, но когда он стал приплетать сюда и людей, только тем причастных к революции, что они делились с нами последним грошом, я не выдержал и крикнул ему: „Негодяй! Неужели у тебя не сохранилось и капли стыда?!“ Он смешался и стал уверять, что только тогда согласился указать на меня, когда ему дали честное слово, что меня не казнят, если меня успеют схватить до совершения нового террористического акта, вот он, жалел меня, и т. д. Наконец, я уже не мог выдержать и крикнул жандармам, чтобы его у вели; когда его у вели за дверь, прокурор сказал Леснику, чтобы привели Гейера. Я почувствовал, что выслушивать 2-й № я уже не в силах, и сказал, что с меня довольно и одного. После этого я взял бумагу и подтвердил все то, что я сделал.

Много времени прошло с тех пор, но и теперь еще при воспоминании об очной ставке с Елько, мне делается очень тяжело. Что же было со мной тогда — это трудно теперь описать. К моему несчастью, за время нашего знакомства мы с ним очень сблизились и подружились, поэтому сознание что мой друг стал гнусным предателем, терзало меня невыносимо, а мысль, что я не имею никакой возможности предупредить товарищей на волне о грозящей им опасности, до того мучила меня, что мне стало невыносимо жить; я с нетерпением поджидал окончания процесса, в результате которого не сомневался. Но вот проходит неделя, другая, третья, а о процессе ни слуху, ни духу. Вместо этого меня снова потянули на допрос, где из слов Котляревского я убедился, что суда ждать в скором времени нечего и что дело наше может затянуться на год, а то и на два. Ждать суда 2 года с таким душевным состоянием, какое было у меня, не хватало сил и я решил покончить с собой. Но привести это в исполнение было очень трудно, так как за мной усиленно следили: жандарм почти не отходил от

глазка моей двери и, при малейшем моем подозрительном движении, открывал дверь. Тогда я вспомнил случай с одним рабочим: когда его, пьяного, вытолкнул кабатчик за дверь, он стал кулаками бить стекла в окнах, причем перерезал артерию на руке и умер на месте. Улучив момент, когда жандарм отошел от двери, я умудрился подняться на окно, нашел там между рамами кусочек стекла треугольной формы, величиной в полдюйма и овладел им. Было 2 часа дня. Я лег под одеяло как будто спать и после некоторого усилия перерезал себе артерию на левой руке кровь полила ритмически фонтаном. Скоро на полу со стороны, недоступной наблюдению жандарма, набежала большая лужа. Но когда у меня от потери крови стало темнеть в глазах, жандармы увидели кровь, которая показалась уже по другую сторону кровати; открыли камеру и схватили меня. Я был так слаб, что не имел сил сопротивляться. Прибежал Вильмс, руку забинтовали и у меня в камере оставили жандарма. Вечером меня перевезли в дом предварительного заключения, в больницу, куда вызвали каких-то врачей, которые меня осматривали. Прошло несколько дней и меня снова перевезли в Петропавловскую крепость.

После этой неудачной попытки я уже не стал повторять ее, так как надзор за мной еще усилили, да и с потерей массы крови у меня как-то притупились всякие чувства. Прошло дней 20, я немного окреп и мною овладело одно страстное желание дать знать на волю о роли Елько. Думая, что в тюрьме сидит кто-нибудь, кого могут перевезти куда-нибудь, или кто имеет свидания, посредством чего можно сообщить на волю, я стал забираться на окно (что делать было очень трудно) и в крохотную форточку стал кричать. Каждый раз ко мне врывались жандармы, сволакивали меня с окна, и приходило начальство урезонивать меня, но я продолжал свое, поощряемый тем, что кто-то отзывался на мой зов. Через несколько дней я уже перекинулся несколькими словами с Семеном Белоусовым и со студентом петровцем, фамилию которого забыл. Спустя месяца полтора после очной ставки с Елько случилась маленькая история и я прекратил свои попытки. История эта случилась как раз, когда мое желание предупредить товарищей на воле дошло у меня до какой-то болезненной страсти, от которой я не имел покоя ни днем, ни ночью. Вот в это-то время однажды около полудня меня одели в мое платье, посадили в карету и повезли в департамент полиции. Меня высадили и повели куда-то вверх по узкой и крутой лестнице, провели через несколько комнат и ввели в кабинет, где я увидел за столом сидящего маленького человечка; лицо его было обрито и на остриженной голове волосы торчали как щетка; ни цвета глаз, ни выражения его лица, я не помню, но он сразу же произвел на меня впечатление „щедринского удава“, который старается прикинуться добрым малым. Он попросил меня садиться и высалал лишних из кабинета; подали чай и у нас началась беседа. Говорил, впрочем, почти он один и мне только изредка приходилось вставлять слово. От рекомендовался он П. Н. Дурново и директором департамента полиции. Поболтавши о пустяках, он обратился ко мне с такого рода речью: „П. Л., я вызвал вас, чтобы поговорить с вами об очень серьезных вещах. Я прочел ваши пока-

зания: меня сильно заинтересовало то, что вы не стали бесполезно отпираться от очевидных вещей, как это делают почти все ваши товарищи, за исключением 2-х, которые, как и вы, имели мужество сказать то, что они сделали. Это — Стародворский и Конашевич, которых вы вероятно знаете. Для вас, я думаю, не тайна, что революционное движение кончилось, что с провалом Лопатина все, что могло бороться — у нас в руках. Вам может быть неизвестно, что правительство само жаждет поскорее дать стране самые широкие реформы, которые устраният и самую необходимость в революционном движении; но беда в том, что те ничтожные остатки революционеров, которые еще существуют, руководимые 2—3-мя человеками, могут надолго затормозить эти реформы, ибо правительство ни в коем случае не приступит к ним, пока в стране не наступит полное спокойствие, чтобы неказалось, что реформы есть результат давления революционеров. Очень печально, что 2—3 фанатика могут отодвинуть Россию назад лет на 20. Всякий человек, который поможет парализовать их деятельность, окажет громадную услугу родине и правительство сумеет отблагодарить его за это. Пропусти верить мне, что речь идет вовсе не о предательстве, я знаю очень хорошо, что вы не такой человек, чтобы сделаться предателем. Дело вот в чем: у вас найдены бомбы с №№ 3, 9, 10 и т. д., значит, существуют и первые номера. Они могут сделать много зла и не только бесполезного, с чисто революционной точки зрения, но прямо вредного, ибо перевешают без всякой пользы несколько человек, с чем, я думаю, и вы в душе согласитесь со мной. Вот эти-то бомбы и нужно, как можно скорее, разыскать, чтобы спасти людей от виселицы. Нужно также спасти от виселицы и тех 2—3 человек, которые неминуемо будут повешены, если пробудут $\frac{1}{2}$ года на свободе. Вот и все, что надо сделать как можно скорее. А чтобы дело увенчалось успехом, надо немедленно переехать в Харьков, где можно раздобыть все нужные сведения¹⁾. Сначала я слушал его с большим любопытством, затем мною стало овладевать негодование и я уже хотел послать его к черту, как слова „переехать в Харьков“ поразили меня. „Переехать в Харьков“, как молотом стучало в моей голове и мысли целым роем завертелись у меня в голове. Заметив мое волнение и поняв его по своему, он стал смелее продолжать в том же духе, только уже обращаясь прямо ко мне. Пошли всевозможные обещания милостей мне и заверения честным словом, что никто из этих трех не будет повешен (Сергей Иванов, Б. и Х.¹⁾). Здесь он стал излагать план, как это все можно устроить: меня должны перевести в Харьковскую тюрьму, где с помощью сношений я могу все узнать; что со мной поедет особое доверенное лицо, которое одно только и будет знать, в чем дело, так что харьковские жандармы не будут об этом знать. Пока все это говорилось, у меня быстро составился план воспользоваться этим, чтобы передать на волю о подвигах Елько и других. И когда он спросил у меня, что я об этом думаю, я ответил, что бесполезность продолжения революционной борьбы я сознавал еще на воле, и только самолюбие мешало мне выска-

¹⁾ Панкратов не мог объяснить мне, кто обозначен буквами *Прии. В. Ф. Б. и Х.*

зать это открыто, но, что если я и соглашусь на его предложения, то вовсе не потому, что он обещал мне лично всякие милости, а только ради спасения от петли товарищей, и что меня только страшно смущает то, что я не могу быть уверенным в том, что их не повесят. Теперь же после того, как он выяснил мне виды правительства на ближайшее будущее, я начинаю думать, что она просто вредна для России. Он стал давать мне самые искренние уверения, что этого ни в каком случае не будет. Порешили на том, что я должен добить бомбы и указать, где можно разыскать 3 моих товарищах, чтобы спасти их от смерти, и что для этого меня на днях перевезут в Харьков. После этого я сказал ему, что все, произошедшее в кабинете так меня выбило из колеи, что мне надо немного пропроверить себя несколько дней, чтобы дать ему окончательный ответ, с чем он и согласился. Затем я попросил его о свидании со Стародворским, т. к. и его, и мое дело уже закончено. Он сказал, что, к сожалению, Стародворского здесь нет, а если я желаю иметь свидание, то он дает мне свидание с Елько. Это был для меня тяжелый удар, но я быстро оправился, сообразив, что отказом я могу испортить дело,—согласился. Меня увезли в крепость. На другой, на третий день я действительно имел с ним свидание на прогулке, во время которых я чувствовал себя отвратительно: с одной стороны у меня чесались руки и я употреблял страшные усилия, чтобы не избить его,—а в то же время должен был подавлять это законное желание, чтобы удачнее выполнить задуманное до конца. Сразу же он начал жаловаться мне, что его против желания втянули в революционные дела, и что главным образом здесь играл роль врага искусителя Сергей Иванов. Приходилось, конечно, поддакивать. И вот вдохновившись моими поддакиваниями, он стал убеждать меня, что и меня тоже втянули против моей воли; приходилось и с этим соглашаться. В конце он стал уверять, что и меня затянул все тот же С. И., на которого можно и свалить все. На третий день меня вызвали на допрос, на котором Котляревский меня допрашивал о С. И. Это для меня было трудное испытание, я увидел, что с одной стороны, если я ничего не скажу, то вся моя затея лопнет; с другой стороны, если стану говорить о С. И., то как бы не повредить ему,—и я решил говорить. Я рассказал про С. И. много самых забористых фактов, которых на самом деле никогда не существовало и которые в свое время он мог бы легко опровергнуть, и ни одного из тех, которые я знал о нем. Третий день весь был занят этим допросом, а на четвертый и пятый я притворился больным, чтобы не идти на свидание с Елько, ибо я чувствовал, что не в состоянии больше сдерживать себя. Я увидел наконец, что и всю эту игру я не доиграю до конца, если это дело не решится сейчас же. И вот я написал Дурново, что я „ютюб“ . Меня через час привезли в департамент, где меня встретил самый радушный прием и Д. потирал руки от удовольствия. Началось опять чаепитие. На меня посыпались похвалы и всевозможные обещания. Он стал толковать о том, как я поеду сегодня же в Харьков и как должен вести себя; я уже начинал убеждаться в том, что мое дело выгорит, как вдруг увидел, что Дурново полез в ящик стола и вытащил тетрадку и затем обратился ко мне со сло-

вами такого содержания: „П. Л. мне надо знать кое-что относительно С. И. и Баха“! при чем стал требовать от меня такого рода указаний, которыми я должен был на самом деле погубить их. Я ему сказал, что мы с ним условились начать дело только в Харькове, и прошу его точно соблюдать условия. Он стал настаивать, тогда я решительно сказал ему, что здесь не скажу ни слова; он поднялся со стула и, повысив голос, сказал мне: „Так что же, это Вы значит хотели надуть меня?“ Видя, что дело безвозвратно провалилось, я тоже встал и сказал ему: „А что же, вы думали что и из меня сделаете такого же мерзавца, как из Елько? Руки коротки“. Он пришел в бешенство и стал кричать, что он мне этого никогда не забудет и проч. в том же духе. И когда меня уводили, то за спиной я еще слышал „до смерти не забуду“, на что я ему крикнул „на здоровье“!

На другой день я потребовал к себе Котляревского и уничтожил мои показания на С. И., но Котляревский мне сказал, что они и сами не придали моим показаниям никакой цены.

После очной ставки с Елько я заметил, что он не говорил жандармам о тех моих делах, где он являлся отчасти инициатором. Так напр. ни он, ни жандармы ни слова не говорили мне о воронежской почте; он все время старался убедить жандармов, что его чуть ли не под угрозой смерти заставляли все делать. Так бы воронежское дело и не всплыло, если бы не были арестованы Бартеньев и Остроумов, которым об этом деле было кое-что известно. Эти новые предатели, отчасти, что им было известно, подтвердили показания Елько, добавили и то, о чем он скромно умалчивал, между прочим и о воронежской почте. Елько снова взяли за бока. Приблизительно спустя уже год после моего ареста, меня ввели в ту же камеру для допроса и прокурор Котляревский встретил меня упреком, что я их надул, не сказав ни слова о воронежской почте. Это меня поразило, как громом. Я сразу увидел, что все участники будут быстро разысканы, ибо один жил со мною на той самой квартире, куда меня послал Елько из Ростова; другой же хотя и не жил там, но на воле я описывал пред Елько его физические качества, по которым легко его отыскать. Я решительно отперся от этого дела, сказав Котляревскому, что первый раз слышу от него об этом деле. В Воронеже на той квартире, куда я явился, и где я проживал, было арестовано несколько рабочих и им предъявили обвинение в нападении на почту. Но все они и не подозревали об этом деле. Кузин же, который участвовал в этом деле, жил уже в другом городе. Взятые в Воронеже рабочие ничего не могли сказать, ибо ничего не знали. Котляревский из себя выходил оттого, что дело стало на одной точке. Каждый день приезжал он ко мне в крепость, но постоянно слышал от меня один ответ: „ничего не знаю“. Видя из допросов, что о Кузине и Ливадине (участниках) меня не спрашивали ни разу, я уже стал надеяться, что или жандармы пошли по ложному следу, или Кузин и Ливадин, догадавшись, что дело может открыться, бежали за границу. Но вот однажды приходит Котляревский и среди болтовни (в допросной камере) дает мне в руки карточку, взглянув на которую я почувствовал, как будто на мою спину вылили целый ушат кипятку — это была карточка

Кузина; но я быстро сообразил, что это ловушка, и на вопрос, знаю ли я этого человека, сказал равнодушно „не припомню“. Меня увезли в мою камеру, до которой я еле доплелся и весь разбитый повалился на постель. Все мои надежды рухнули. Кузин, которого мне хотелось так уберечь, арестован. После этого меня стали по целым дням терзать на допросах. Здесь были обещания смягчить участь и угрозы пытки, на что Котляревский был большой мастер. Прошел месяц и вот однажды он входит с торжествующим видом и начинает мне читать показания Кузина и Ливадина, где подробно рассказано дело, при чем Кузин (насколько мне помнится) старался все свалить на самого себя. После этого, когда я увидел, что не могу уже повредить им, я в своем показании восстановил, как все произошло на самом деле. В обвинительном акте приблизительно было сказано, что, сознаваясь в своей виновности, я, сказал, что со мной принимали участие Кузин и Ливадин. Я был так слаб и разбит физически и морально, что во время суда не придал значения такой редакции, в которой я вижу виновную руку Котляревского. Ведь они так ловко редактировали этот акт, что, читая его, никто не мог и подумать, что Елько архипредатель. Многие из товарищей, в начале суда ничего не подозревавшие, подавали ему руку, пока он не развернулся на суде.

После истории с Дурново, меня перевели в другую тюрьму (Екатерининскую куртину). Трубецкой равелин очень скверная тюрьма, особенно нижний ярус, где я сидел; в этой же тюрьме было гораздо хуже. Камеры на половину высоты были ниже поверхности земли, а потому были так сыры, что, когда я забывал на ночь прятать платье под одеяло, то его утром хоть выжми,—до того оно делалось влажным: это несмотря на то что и зиму, и лето топили. Благодаря саженной толщине стен и множеству рам и решеток в окне, там царил круглый год полный мрак, так что и днем, и ночью у меня горели свечи. (лампу мне не давали из опасения, чтобы я не сжег тюрьму.) Камеры были большие, но древние с гнилыми деревянными полами с массою дыр, из которых на мою пищу, одежду и даже на меня самого делали набеги полчища крыс. В этой норе меня продержали 1½ года и перевели снова в Трубецкой равелин только недолго до суда. Сначала, когда меня перевели в „Екат. курт.“, я не мог разобраться, где я сижу; но скоро стал замечать, что мимо моего окна по ночам проезжали кареты, останавливались около моего окна, слышал, как открывались ворота и карета проезжала еще шагов сто, останавливалась, как я догадывался, у Трубецкого равелина. Я подумал, что если мимо меня провозят „нашего брата“, то по этой же дороге могут ходить и на свидание; тогда я решил воспользоваться этим, чтобы прокричать через три миниатюрные форточки, что мне было нужно, когда увижу подходящую публику,—хотя было мало вероятия, чтобы меня услышали. Действительно, в первое же воскресенье я заметил проходящих людей и, когда они час спустя возвращались обратно, я стал кричать по направлению форточки; но публика, повидимому, меня не слышала,—зато хорошо слышали жандармы, и я был связан в сумасшедшую рубаху. Тогда я стал обдумывать, как бы мне повыбивать стекла в 3-х рамках, и тогда повторить свой

опыт. Это было трудно сделать, так как я не мог подойти к рамам фута на 3 из-за железных брусьев толщиною в $1\frac{1}{2}$ дюйма, вделанных в пол и потолок, поставленных так часто, что между ними проходила только рука; затем перед первой рамой была железная сетка, сквозь которую мог пролезть только палец, а там дальше еще 2 рамы с обыкновенной решеткой. Я скоро нашел материал для орудия, которым можно было бы это выполнить: у стен были прибиты рейки, одну из которых я и оторвал. Трудно только было сделать ее толщиной в палец, чтобы она могла пройти сквозь решетку, но я это сделал и в следующее воскресенье стал ждать прихода на свидание, и в надлежащий момент быстро вышиб несколько стекол; но не успел прокричать и пары слов, как был схвачен жандармами, при чем, прежде чем меня связать, мне основательно намяли бока; связанным пролежал я часов 20. После этого я потерял всякую надежду на то, что мой голос проникнет на свободу.

В камеру ко мне однажды зашел жандарм. подполковник Страхов и, между прочим, сказал мне: „А знаете, П. Л., ведь вы сидите в знаменитой камере“?! — Я с интересом спросил: „почему она знаменитая“? но он спохватился и, замявшись, не стал говорить об этом. По его уходе я тщательно обыскал со свечой каждый клочок стен, но нигде ничего не нашел; тогда я обратил внимание на железную кровать, которая почему-то была вделана в пол в центре камеры; к этой кровати с боков были приделаны железные кольца, и мне пришло в голову — „уж не пытали ли кого на этой странной кровати в присутствии сего подполковника, иначе почему бы ему было так смущаться“.

К концу пребывания от этой норы и от тюремной пищи я до того был плох, что Котляревский испугался, что я могу умереть до суда, и, таким образом, ускользнуть от так старательно сплетенной им петли. Меня перевели в Трубецкой равелин в сухую камеру наверху, стали давать белый хлеб, молоко, чай и хорошую пищу и даже однажды, месяца за два до суда, посадили в карету и провезли чуть ли не по всему Петербургу с открытыми окнами, чтобы, как выразился Котляревский, освежить меня.

Следствие было закончено, и через 2 года и 2 м. после ареста я получил обвинительный акт.

Суд меня мало интересовал; я едва держался на ногах и дело доходило до того, что я не мог сидеть в суде, и с нетерпением ждал скорого конца. Приговоренный к смерти, я и после утверждения приговора ничего не испытал, кроме чувства облегчения от сознания, что еще несколько дней — и все мытарства мои кончатся; и на вопрос студ. Хлебникова, сидевшего где-то надо мной вверху, „как вы себя чувствуете“? я сказал: „желаю, чтобы все приговоренные к смерти чувствовали себя так же, как и я“. На этом разговор прервался, так как за мной пришли, чтобы отвести в крепость.

Через неделю нам объявили о помиловании и ночью увезли в Шлиссельбург. Дальше писать вам нечего. Остальное вы знаете, — какой Петро был сварливый и неуживчивый...

В. Г. Короленко.

Из этюдов об интеллигенции из народа.

„Писатель выросстал в моих глаза в великого и славного мужа, который всецело подкупил, очаровал меня своей личностью. И я не знаю, перенесу ли я ту утрату,—утрату уважаемого Короленко, если только рок заставит меня пережить ее! О, я не допускаю и мысли об этом! Как хотелось бы мне быть чудоедом, чтобы я смог обессмертить живую совесть моей родины, ибо что тогда будет стоять родина... Где найдет таких сынов!“

Кожевник Д. Жалунович.
21/VIII—1913 г.

I.

Накануне революции, в январе 1917 года, В. Г. Короленко указывает нам на „тысячи людей из народа, подымающихся стихийно и инстинктивно с развитием народной школы и проникновением книги“, тех, что „летят, как стая птиц, на огонь маяка из глубины темной ночи и часто встречают, вместо тепла и света, гибель“. Это уже не Яшки, не ищущие осязательных результатов, не „убивцы“, не правдоискатели больших дорог,—словом, не та нравственная стихия, которую когда-то так интимно рассмотрел художник сквозь тьму и ненастье нашей серой сермяжной Руси. Это—интеллигенция из народа, которая формировалась после 1905 года, отличительные черты которой—как метко определил писатель — „живой и восприимчивый ум, большая, чисто мужицкая энергия, преклонение перед просвещением и его орудием—печатным словом“¹⁾.

Лучших представителей ее Владимир Галактионович знал по писателям из народа, никому в такой степени не обязанным своими первыми шагами, как ему. Лишь слегка погрешив против перспективы прошлого, можно сказать, что современные самородки, которых так неудержимо влечет литература и к литературе, идут „от Максима Горь-

¹⁾ И. Горячев. „Обманчивые огни“. (Автобиография-исповедь писателя из народа).—„Вместо предисловия“ Вл. Короленко. „Русские Записки“, 1917 г., № 1.

кого". Но кто открыл дорогу самому нижегородскому мастеровому малярного цеха? „Известно, — пишет Горький, — что в большую журнальную литературу я вошел при его помощи“. Сперва имел он „редкое счастье услышать четкую уничтожающую критику“. Впрочем, следя за его работой, Короленко, удивлявший молодого Горького простотой и ясностью речи, и впоследствии нередко говорил ему: „ну, это вы плохо сочинили“, „черезчур увлекаетесь словами“ или „не прикрашивайте людей“. Но советы и указания писателя „были как-раз те указания, в которых я нуждался“, с поразительной ясностью, образно и кратко говорили ему о том, „как плохо и почему плохо“ написал он. Первая вещь Горького, — „Челкаш“, — напечатана Короленко в журнале „Русское Богатство“. „О многом я умолчу — вспоминает теперь Горький — из опасения быть бестактным в похвалах и благодарности моей этому человеку“¹⁾.

Известна и роль Короленко в судьбе Семена Подьячева, попавшего в печать („По этапу“, „Московский работный дом“) через Короленко. А. П. Чапыгин о первых шагах своих сообщает мне. В 1897 г. Н. К. Михайловский, которому была передана рукопись его, пригласил Чапыгина письмом к себе и познакомил с Короленко. Рукопись хотя и понравилась ему, но „не могла пойти из-за цензурных условий и недостаточной литературной отделки“. Но Короленко уже не оставляет его своей заботой, и, спустя несколько лет, первый очерк маляра, исправленный писателем, попадает, наконец, в печать. Но художник, которого так влечет к человеку и его нуждам, далек от мысли, что прибавление магических слов „писатель из народа“ может само по себе придать ценность рассказу или повести. Когда он начинает замечать в этих стремлениях в литературу „все элементы трагедии, глубокой и печальной, которая повторяется теперь так часто и губит много жизней с хорошими задатками и возможностями, но направленных ошибочно за „обманчивыми огнями“, то дает на страницах своего журнала рассказ, имеющий интерес такого трагического человеческого документа, — простой и бесхитростный рассказ самоучки-столяра Ив. Горячева о мечте такой неудавшейся жизни.

„Однажды, — пишет Горячев, — посыпая рукопись известному писателю Н., я написал ему о моих неудачах и тяжелом положении“. Конечно, речь идет о Короленке, который „немедленно ответил и убедительно советовал заняться мастерской и не запускать обычной работы из-за литературы“. Горячеву, как и Сивачеву, как и многим другим в его положении, казалось, что его просто не хотят допустить в литературу. „И я (грешный человек) вместо благодарности писал Н. резкие, грубые, чуть не ругательные письма“. Что же отвечал на это Короленко? Писатель почти каждый раз отвечает на его „отчаянные

¹⁾) „Жизнь и творчество В. Г. Короленко“. Сборник статей и речей к 65-летнему юбилею. — М. Горький. „Из воспоминаний о В. Г. Короленко“.

письма", нередко и „выручает из страшной беды, предупреждая при этом, что он помогает мне для поправки моего столярного дела, а не для поощрения литературного запоя"... „Неосторожный вы человек,— пишет он,— и не хотите слушать добрых советов. Был бы рад написать что-нибудь, более отрадное, но какая от этого польза!“ (Курсив наш).

О талантах интеллигентов из народа можно быть разного мнения. Но двух мнений о том, что интеллигенция из народа, из которой к нам идут эти Чапыгины и Подъячевы, которая после 1905 года растет и вглубь и вширь, не только читает и знает наших писателей, но и подходит к ним со своими вкусами, со своими критериями. — двух мнений об этом не может быть. Эти критерии, эти вкусы, мало-помалу, создавали такую скалу оценок, которой ни в своеобразии, ни в цельности отказаться нельзя.

Какое же место занимал в скале этих оценок В. Г. Короленко, знаяший народ не по книгам, а по дорогам и тропинкам жизни? Вопрос этот тем большего значения, что, по мнению самого писателя, самый красный и самый черный русский интеллигент несравненно менее различаются между собой, чем они оба с одной стороны и народ, живущий физическим трудом,— с другой¹⁾.

Мы пытаемся почерпнуть ответ на поставленный вопрос из материала, который составляют, главным образом, анкетные листы, рукописи, переписка по вопросам литературы, рукописные журналы, издававшиеся на фабриках и заводах, — все это собиралось мной в течение многих лет, и лишь отчасти рабочая печать, т.-е. органы профессиональных союзов, „Народная Семья“ — продукт народного творчества в подлинном смысле этого слова, и т. п. издания. Обнимает этот материал период дореволюционный с 1906 г. по 1916 г. — необходимо это обстоятельство иметь в виду.

II.

Каким-то теплом, чувством связи веет от всех этих нередко малограмотных, но всегда прочувствованных писаний. — это бросается в глаза с первых строк:

В убогой лачуге при свете луцины
Средь горьких укоров мужицкой судьбе
Не смолкнут, не смолкнут, писатель любимый,
Сужденья крестьян о тебе.

Пишет крестьянин-портной стихи, посвященные Короленко:

В ком чутко сознанье, кто родину любит,
Тот светлое имя твое не забудет.

¹⁾ В. Г. Короленко. Полное собрание сочинений. Издание т-ва А. Ф. Маркс. 1914 г., т. III. „Современная самозванщина“. Мысль еретическая и кощунственная с точки зрения революционного народничества, — говорят А. и Е. Редько, приводя этот взгляд, — но Короленко ее утверждает без колебаний".

„Нужно с грустью признаться, — пишет Короленко в одном месте, — что реальная (подлинная) личность писателя, художника, артиста редко совпадает с тем представлением, какое мы составляем о них по их произведениям“¹⁾. И любопытно то, что еще до художника, до общественного деятеля интеллигенцию из народа занимает то, что выше в ее глазах и самого таланта — индивидуальность, личный облик писателя.

„Очень часто приходится слышать и читать, — пишет работница-швея, — что не должно интересоваться личной жизнью писателя, хвалить его или осуждать за его дела, что он интересен только, как автор своих произведений. Нет, это не так. На деле мы никак не можем отрешиться от мысли, что такой-то писатель говорит одно, а делает другое. Как могу я верить словам твоим, — хочется сказать ему, — когда личность твоя не согласуется с ними. Этот тяжкий упрек не раз приходилось выслушивать великому Л. Толстому“. Едва ли я ошибусь, если скажу, что то, что какие-то незримые нити протягивает к читателю из народа, еще до произведений писателя, это

Живое, горячее сердце поэта,
Влюбленного в правду и честь.

Заметка, из которой взята мною цитата, носит заглавие: „писатель-человек“; другая, принадлежащая перу провинциального рабочего, озаглавлена также: „художник-человек“, и нет, бесспорно, ни одного анкетного листа, где бы не была овеяна настоящим чувством самая личность Короленко, — тем чувством, мимо которого не пройдешь, не остановив на нем внимания. Прежде человек, а потом художник, публицист, общественный деятель.

Вот тон, который делает музыку во всех этих суждениях:

1. „Люблю его от всей души, — человека, ищущего справедливость“ (ткач).

2. „Читая Короленко, всегда чувствую, что предо мною лежит творение человека с большой душой“ (наборщик).

3. „Редкий писатель-художник, которого любишь не только за его произведения, но прежде всего любишь и уважаешь его самого. Близкий писатель, потому что человек родной“ (бывший слесарь,увечный).

4. „Надо быть бесчувственным и иметь черствое сердце, чтобы не проникнуться горячей любовью к Короленко-человеку. Но я даже и не верю, чтобы нашлись такие люди“ (приказчик из крестьян).

Беру эти выдержки, так как в них наиболее просто выражено то, что иллюстрирует мою мысль. Но и в заметках, более сложно сконструированных, то же место занимает „обаятельная личность писателя“.

Этот интерес к „личности писателя, художника, артиста“ нужно понять в перспективе времени; уже здесь нельзя упускать из виду ха-

¹⁾ Вл. Короленко. „Отшедшие“. 2-е изд. „Русского Богатства“.

рактера момента, к которому относятся цитируемые суждения о Короленко (как и слова самого автора „Отошедших“).

Это было уже после того, как „пролетариат и народ не оправдал надежд“, в момент интеллигентского разброда вообще, писательского в частности, когда в литературе запахло Передоновым и Саниным, в писательском быту—афинскими вечерами и кошкодавством.

И с первых слов убеждаешься вы, что читатель чувствует психологическую метаморфозу русской интеллигенции вообще, нашего писателя в частности. Вок как представляет она себе дело. Более ста лет прошло с тех пор, как „истинные интеллигенты печалились о судьбах народа“. Движимая состраданием, интеллигенция семидесятых годов геройски бросилась в атаку, но народ не понимал ее. Интеллигенция далеко отстояла от народа, была чужда его психологии. Но вот 1905 год. Если до 1905 года народ лежал с закрытыми глазами, то теперь, правда, он еще не встал, но открыл уже глаза, прислушивается, узнает свое близкое. „Мы, авангард великой народной армии, стараемся, насколько хватает сил, уменья, приблизить к народу истинный интеллигентский идеал Белинского, Герцена, Чернышевского, Михайловского“. Но что же открывает русская действительность теперь, когда сближение с народом уже так близко, так возможно?

„Теперь, когда мы, дети народа, начинаем создавать исторические явления, прикладывать ко всему свой критерий, то роль интеллигенции выясняется с довольно-таки нелестной стороны. Те же рудинские пышные фразы, те же слова и... больше ничего“. Выясняется так роль после-революционной интеллигенции вообще, но писателей тех дней в особенности. „Ну, где же теперь чистый, светлый образ русского писателя?—читаем мы.—Неужели и его готтентот слопал, как всю нашу интеллигенцию? Нет, не готтентот виноват в том, что пропал прежний, чистый, светлый идеальный писатель! Понизился этический уровень современного писателя, вопросы „правды-истины“ и „правды-справедливости“, вопросы чести совсем отсутствуют у сегодняшнего писателя.“

Так это или не так, факт тот: за годы, о которых идет речь, традиционный тип писателя подался,—по мнению читателя,—еще более, чем в восьмидесятые годы, отмеченные вступлением в литературу декадентов,—вот, что обостряет интерес читателя к „личности писателя, художника, артиста“. „Вон, эти господа... уж очень распинаются за тайну личности писателя.. Писатели—это особь статья, а литература их особо.. Читайте нас, наслаждайтесь—это для вас, читатель,—а мы, писатели... Эх, господа, не вам бы писать и не нам бы читать“.

Вот почему наши пролетарии и в Короленко прежде всего ищут и находят „личность“. Конечно, материал мой носит характер случайный. Говоря о Короленко, „авторы“ стояли вне каких-либо юбилейных комплиментов. Тем не менее в любой рукописи вы читаете: „вместе с миллионами таких же, как и я, от всего сердца пожелаю ему долгих

счастливых лет", „счастлива страна, могущая назвать в числе своих граждан имя, подобное имени Короленко — этого писателя-человека", „хочется благодарить Короленко, как благодарила его группа лиц во главе с Репиным, за его прекрасную жизнь". „Я заходил дальше — сообщает рабочий (завода Вулкан) — мне хотелось знать, где живет Короленко, даже думалось — мечталось побывать у него и хотя бы посмотреть на живого. Я говорю „посмотреть на живого", потому что портрет я его добыл с первого знакомства с ним, и всегда он висел у меня на стене". „Да, в наше время уныния и застоя в настоящем и отсутствия надежды в будущем, вторит работница-швея, — нужна личность, подобная Короленко"...

Заметьте, личность, не писатель, не деятель.

III.

К читателю Короленко я говорю о читателе из народа — не надо подходить с меркой „количества", если вы стремитесь пощупать сердцевину этого читательства.

В свое время я следил за статистикой читаемости бесплатных народных библиотек и библиотек рабочих просветительных обществ. Короленко — по числу выдач стоял не только позади Горького, но и позади Леонида Андреева и Куприна. „Многие совсем не читали Короленко (между прочим, ваши хваленые петербургские рабочие; здесь их не один десяток человек), — пишут мне из заводской местности, — а кто читал, так... не привыкли люди мыслить и заставить их сделать это чрезвычайно трудно". Вот „впечатления и заметки" дежурного одной библиотеки для рабочих. Спрос на книги Толстого, главным образом, на „Анну Каренину" и „Войну и мир". На расхват Некрасова стихи. „Приятно и то, что читаются новейшие писатели: Горький, Андреев и Куприн. Но совсем не радовал меня большой спрос на романы Золя. Иногда я предлагал взять вместо слабых романов сочинения Короленко. Мне было досадно, что книги эти редко сходят с полок; наш рабочий отворачивается от художественных рассказов Короленко" ¹⁾.

Разумеется, резко это выражено здесь — рабочий не отварачивается от Короленки, но явление имеет место, и в интересах истины надо расшифровать это явление. Да, читателя из народа в широком смысле этого слова, — того, который, как мне пришлось убедиться и писать об этом, есть у Максима Горького ²⁾ — у Короленко нет, как нет такового у Глеба Успенского, у Щедрина. Психологическая правда Короленко, его лиризм, его органический взгляд на жизнь, его пантеистический интерес к человеку и природе, — все это вплоть до новых приемов изображения народа — может заластить глубоко в душу и быть

¹⁾ „Металлист", № 10—1913 год.

²⁾ „В. Европы", 1913—декабрь. Л. Клейнборт „М. Горький и читатель низов".

усвоено уже человеком с тем или иным опытом душевной жизни. И читает Короленко, без сомнения, лишь верхний наиболее интеллигентный слой нашей народной демократии.

Мы видим, что первое знакомство с Короленко не дает того впечатления, той связи с писателем, которые дает первое знакомство с Горьким; и должны пройти годы после этого чтения, чтобы читатель, поднявшись за это время и умственно, и душевно, почувствовал уже на этот раз могучую и непобедимую потребность в драгоценных страницах Короленко,—ту, которая даже смутные черты, проведенные в душе первым прикосновением к этим страницам, вдруг как-то просветляет и углубляет.

Вот в двух-трех примерах, — более или менее типичных, — этот психологический рост читателя Короленко. Рабочий кожевенной мастерской, житель белорусского местечка, о Короленко, как писателе, узнал, когда ему было шестнадцать—семнадцать лет. Ему как-то попалась в руки книжка „Без языка“, которую прочитал он с живым интересом, дотого проникшись состоянием ее героев, мытарствующих на чужой стороне без языка, что еще до сих пор не расстался с ужасом при одной мысли, чтобы он сам почувствовал в чужой стороне, без своих, понятных ему людей. Этот страх стоит поперек дороги его желаний отправиться в какую-либо страну, „за-границу“, где бы он смог найти большую возможность доступа к культуре и цивилизации... Кроме этого рассказа, уже несколько спустя, довелось ему прощать „Слепой музыкант“. „Но, признаться, все эти произведения, — отмечает пишущий,—не дали мне и половины того, что я извлекал в то время из рассказов Максима Горького и крестьянина Семенова. Многое в них казалось мне темным, скрытым¹⁾), и в лице моем Короленко не только не стоял впереди других писателей, но скрывался даже за ними из моего внимания“. Но вот прошли годы. Он „кое-что узнал“. Окружающая действительность „улыбнулась ему иной улыбкой“, и, наученный жизненным опытом, начал он искать как в жизни, так и в литературе иного. И вот, когда „моя мерка и оценка людей и жизни совсем приняла другой характер и форму, вместе с тем и взгляд мой на Короленко коренным образом изменился“. „Полузабытое впечатление от ранее прочитанного из его произведений воскресло в моей памяти, и я с жадностью и непонятной любовью следил уже за каждым словом Короленко и о Короленко“. С каждым промежутком времени в нем, „как и в любом человеке“, происходили изменения как в области психики, „так и в точке зрения на жизненную действительность“. Романтизм настроения начал „вытискивать“ реализм, и „вновь привились другие цвета и вкусы“. И чем больше расширялось его сердце, и углублялись его умственные горизонты, тем больше он вникал в произведения Короленко.

¹⁾ Подчеркнутые слова не мешают им в то же время находить, что „простота“ есть одно из свойств королевского мастерства.

Другой пример—москвич, рабочий электрического предприятия, который с произведениями Короленко познакомился „довольно-таки поздно“, ибо „нам, детям народа, перлы классической литературы не доступны“, и, чтобы получить какое-нибудь произведение крупного писателя, приходится пройти не мало мытарств. Но вот издательство „Донской Речи“ выпускает в 1904 году ряд дешевых брошюр, и „на полку пролетария попадает богатое идеическое наследие прошлого“. В это-то памятное время он и знакомится с произведениями Короленко. Знакомство, однако, было „случайное, мимолетное, не положившее никакого отпечатка на мою психику“. „Конечно, ничего удивительного в этом нет“, замечает пролетарий, но объясняет это причинами иными, чем те, которые приводит кожевник—белорусс. Было это, видите ли, время, когда идеи марксизма и народничества „не носились, а висели в воздухе, в домах, на уличных фонарях, в трамваях“, — словом, везде, где только была жизнь. Боевые лозунги, яркие, определенные ответы на злобу дня, — все это „манило, притягивало нас, пытающихся осмыслить ужас его положения“, но „гуманизм, положенный в основу произведений Короленко, не прельщал нас, детей города, а красота и художественность его рассказов были недоступны нашему пониманию“. Были и у пишущего эти строки литературные кумиры: Некрасов, Якубович. Особенно пришлась ему по вкусу гневная мэра П. Я. (под этими двумя буквами был известен читающей публике Якубович). Читая, перечитывая, выучивал наизусть его „Человек“, „выше, выше, рабы, громоздите“, и эта поэзия властно, глубоко захватывала его. Но „Короленко,—повторяю, был от меня в тени, я не знал, не хотел знать его в эти бурные, стремительные дни русской революции“. Но вот прошли годы,—как это видим мы и у кожевника-белорусса,—жизнь вошла в свои берега. Наш пролетарий „заглянул основательно в историю литературы“, научился разбираться в человеке и делах его жизни. И вот только теперь начинает он ценить писателя, стоящего „на славном посту прошлого“. Теперь, „перечитывая вновь его произведения, эти красивые поэмы в очерках и рассказах, я не могу удержаться в пределах холодной рассудочности, а только чувствуя, как много души кладет Короленко в свои художественные рассказы, я мысленно лечу за ним, за его героями и живу вместе с ними“.

Третий пример — плотник. Короленко он совсем не знал. „Писатели толстых журналов были не досягаемы нашим мечтам“. И, конечно, лишь „назад тому шесть—семь лет“, когда книгоиздательство „Донская Речь“ выбросила на рынок дешевые брошюры наших писателей, ему „посчастливилось приобрести три рассказа писателя“. Позднее повезло ему—пришлось „столкнуться с богатой русской литературой положительного и отрицательного характера“, и пришлось прочесть много. Прочел и кое-что Короленко, но „без особого следа в душе“. „Лишь после совершившегося во мне душевного переворота, когда я

стал искать ответов на проклятые вопросы, Короленко пробудил во мне душу. Первое, что я прочел в то время, это „Слепой музыкант“,— читаем мы.—Было кругом темно, но Короленко указал свет и далекое мерцание его. Как слепого музыканта пробудила свирель простая из куска простого дерева, просто сделанная „Юфамамам“, так Короленко будил во мне новые в душе чувства и понимание великого“.

Характерными, ярко набросанными подчас штрихами рисуют нам наши читатели первое знакомство свое с писателем, с которым им суждено впоследствии слить свои душевные тревоги, свою мечту о жизни человека. Что же делает в их глазах облик художника (а затем и публициста, и общественного деятеля) столь обаятельный, неотразимый? Ни размаха, ни грандиозных замыслов... Ни сложных типов и волнующих фабул... Напротив, тяготение к простому, обыденному бытию... Бродяги, ссыльно-поселенцы, сектанты разных толков, полуинтеллигенты—все то, что так органически ушло в родную почву русской жизни со всеми свойствами ее национально бытового существа.

Каковы же, в самом деле, те дары, которые обретает у Короленко рабочий и крестьянский интеллигент?

Прежде, чем дать посильный ответ на это, нельзя обойти молчанием те критерии и вкусы, о которых мы упомянули выше, с которыми низовой читатель подходит к литературе вообще, так как оценка им Короленко—и художника, и публициста, и общественного деятеля—лишь в этих рамках приобретает свою законченную цельность.

IV.

Трудно было указать другой слой читателей, который в такой степени стоял бы на страже старых форм и заветов русской литературы. Печальницы за униженных и оскорбленных, как писатели пролетарии.

Трагедия литературы, по их мнению, была в следующем. Русскую литературу знал весь мир, потому что в ней лежит глубокое захватывающее очарование. Но русскую литературу не знал, да и не может знать свой родной народ. Уже между аристократическим языком литературы и природным языком народа, на котором он говорит, нет ничего общего. Особо одаренные, энергичные простолюдины уже стали понимать литературу и разбираться в ней; последнее время таких людей выдвигается все больше, но для массы, для всего многомиллионного народа она все-таки остается чуждой, далекой, как ни одна литература в мире от своего народа. И нет более потрясающей трагедии, по мнению интеллигента из народа, чем писатель, который, имея возможность отдаваться творчеству благодаря народному труду, поймет, что он чужд и даже не нужен народу, как это понял в восьмидесятые годы Л. Н. Толстой.

Чего же хочет наш читатель от литературы? В те памятные годы, о которых у нас речь, Леонид Андреев где-то сказал, что старая

реалистическая литература завершила свой исторический путь; что теперь, без сомнения нужно придумывать новые формы искусства. „Мы, представители народной интеллигенции, не разделяем этого взгляда, — отвечают на это последние. — Мы смотрим на литературу, как на наущный хлеб для ума и для души. Мы требуем от нее, чтобы она быстро знакомила нас с переживаемой действительностью и воспитывала здоровый взгляд на жизнь“.

Если бы все то, что создано до сих пор литературой, стало достоянием всего народа; если бы народ вырос уже из этой литературы, тогда и мы сказали бы вместе с Л. Андреевым: „да, существующее искусство сделало свое дело. Спасибо ему. Теперь нужно придумывать новое. Но время ли для литературы упражняться вискании новых форм, когда народ задыхается от невежества, от нищеты?“ Время ли облекать живое слово, как барскую мебель, в стиль — модерн, когда три четверти царства не знают, на чем растет азбука? Время ли? Писатели-разночинцы прежнего времени так и понимали свои задачи. Для них вопрос об искусстве был нравственный вопрос. И вот со временем Белинского прошло семьдесят лет. Что же за это время изменилось в русской жизни, что потребовало нового искусства? Нищих, что ли, убавилось в России, или тюрьмы перестроили на школы? В смысле божьей правды в России или ничего не изменилось, или почти ничего, и „говорить, что реалистическая литература отжила свой век там, где более семидесяти процентов населения неграмотных, не только нелепо, но и преступно“.

Но что же, тем временем, имеет место? После того, как разночинец потерпел поражение, и героизм отчаяния был разбит, писатель логрузился в создание такого искусства, которое не имело ни места, ни времени. „Русский быт, и в особенности быт народа и здоровый русский язык изгнались из обихода литературы. Литература как-то стала особняком от жизни и сделалась достоянием только избранных“. Господствующее положение в литературе заняли декадентство, модернизм, порнография, а жизнь, действительная жизнь, кипучая и трудовая, осталась в стороне.

Но пусть целая плеяда писателей умышленно обходит жизнь, не отвечает на жгучие запросы народа... Пусть...

Народ, тратя нечеловеческие усилия, „создает свою собственную интеллигенцию, выдвигает своих представителей мысли и слова, и эти силы народные произведут переоценку всех интеллигентских ценностей и дадут встряску так называемому новому искусству.

И глаза его устремлены на Короленко, в чьих руках знамя, поднятое разночинным интеллигентом, остается незапятнанным и светлым. За традиционный реализм чтит наш интеллигент из народа Короленко. Короленко — художник не только по приемам мастерства, но художник во всем, во всей своей жизни — с этой высоты продолжатель художественных традиций „Отечественных Записок“ с их социальным, вернее, социологическим реализмом.

V.

Есть ли Короленко — реалист? Едва ли в литературе о Короленко сколько-нибудь установился взгляд на этот предмет. М. Неведомский держится того мнения, что даже позднейшие очерки и рассказы, в которых „больше быта и реализма“, все же вместе с тем „далеко не бытовые“¹⁾. По словам А. и Е. Редько, „Короленко — реалист по форме, но столь же определенный романтик по содержанию“²⁾. Мы лично склонны оставаться верными факту, считаем основной чертой художника, как и интерес к живому человеку, что бы писатель ни видел перед собой. Ни одной черты, идущей в разрез с фактом, черты вымышленной или выдуманной, нет в произведениях Короленко, не отступающих ни на шаг от реальной жизни, по крайней мере, от очертаний, в каких жизнь представляется писателю. Короленко может и должен быть назван реалистом, связанным наличностью натуры, хотя его „правда“ — со всем ее громадным содержанием — сохраняет свое значение, значение художественного обобщения, вне связи с натурой. Но вот только что существенно не упускать из виду. В основе своей реализм этот был новшеством в литературе по сравнению с тем, что представлял собой реализм шестидесятых и семидесятых годов (хотя бы реалист такой величины, как Глеб Успенский). Тот трактовал не столько тип, не столько индивидуальное, сколько умонастроение групп, целых социальных напластований. Короленко от социологии обращается к психологии, от групп и наслоений к живым лицам, к личностям и личным особенностям их бытия.

Впрочем, едва ли в интересах темы останавливаться на этом здесь. Дело в том, что читатель наш, обнаруживающий такое боевое тяготение к реализму, не так понимает реализм, как мы его понимаем. Для него реализм не столько школа, прием художественного мастерства, сколько умонастроение. Едва ли я ошибусь, если скажу, что „реализм“ и „правдоискательство“ — „переводя на язык народной действительности“ — одно и то же в применении к произведениям Короленко.

Вот, как читатель наш воспринимает реалистическую живопись Короленко, эту действительность, которую он так высоко ценит в литературе вообще. Рабочий стеклянного завода, уже пожилой, но не победивший в себе жажды света, рисует „ошеломляющее впечатление“, какое на него произвел „Сон Макара“. „Не могу сказать, приходилось ли что-нибудь читать лучшего, — пишет он. — Этот Макар... кто же был? Как вы думаете? Мой отец, брат и сам даже я... О, Боже, какие искренние и горячие слезы вызваны были этим рассказом. Все, что переживал Макар, все его доброе и плохое, это было моим собственной жизнью. Гнет, невежественная мгла... для меня не тайна была.

¹⁾ Мих. Неведомский. „Зачинатели и продолжатели“. Петроград. 1919 г.

²⁾ А. и Е. Редько. „Реалист-романтик“. „Летопись Дома Литераторов“, № 1.

Все хорошее, светлое, ум и даже силы высосал злой татарин—корчмарь-хозяин. Двадцати-часовая работа, голод, холод, слезы... и проклятия, и стремление к высокой горе. Так и думается, что Вл. Короленко с нас это писал. Сколько близкого, своего я узнал в этом родном рассказе и как горячо и искренно полюбил этого великого писателя“.

Такое впечатление наблюдаем мы от всего, что написано писателем о народе. Чтобы он ни изображал—религиозные искания народа, своеобразный процесс его мышления, запросы совести или явления бытового порядка—все, начиная с Макара и кончая Тюлиным, душа которого точно так играет, как расходившаяся река, кажется им преисполненным реализма, трогает и волнует потому, что не иначе как „с нас это списано“. Вот еще два отрывка. Крестьянину, уже основательно порвавшему с деревней, пришлось прочесть вслух перед семью-восьмью слушателями, кое-что прочитавшими парнями, „Сон Макара“. „Я не в состоянии передать,— пишет он,— какое действие произвел рассказ на мужиков. Большинство из них буквально плакали в том месте, где старик упрекал Большого Тайона в творимых на земле несправедливостях. Один пожилой крестьянин, по окончании чтения рассказа поднялся со своего места и, вытерев кулаками глаза, спросил меня:

— Скажи-ж мне, голубе, кто гэта гэтак важна и правдива написаў аб нас?

Я ответил, что есть такой писатель в России—Короленко.

— Карапенка?! Ах, каб ён здароў быў, каб ён да сто годоў жыў!

Долго после этого не хотели разойтись мои слушатели и все говорили о Макаре и о себе самих, повторяя наперерыв каждую фразу и не будучи в состоянии отделаться от произведенного на них рассказом впечатления. После этого, при каждой встрече со мною, мои слушатели всегда спрашивали меня:

— Ну, кали-ж ты яшчэ прачитаешь нам того Карапенку? Вельми-б мы хацели яшчэ послухать такое аб себе.

В другом отрывке о рассказе „Лес шумит“ пишет рабочий, перенесший немало профессий в своих скитаниях по городам. „Молодость, чувства, любовь... все эти лучшие спутники жизни должны быть уничтожены капризной рукой бездушного живого трупа“. Слезы, муки и месть.., разве это не переживали я, моя среда, все мученики труда и насилия. Нет, жаль, что я не обладаю даром слова. Я бы многое мог рассказать, да не одолевали бы слезы“.

Читатель из народа—при всем сходстве своих идеиных построений с построениями интеллигенции нашего круга,—воспринимает тот подход к народу, какой имеет место в произведениях Короленко, несколько иначе, чем некоторые круги последней. По словам Максима Горького, круг „радикалов“, который он знал в Нижнем-Новгороде, высоко ставил „Сон Макара“, но тот подход к изображению народа,

который мы знаем по рассказам „Река играет“ и „За иконой“, изобличал в авторе, по мнению радикалов, „вредный скептицизм“. Раздражал Тюлин, лентяй—ветлужанин, в котором активное отношение к жизни пробуждается лишь в момент опасности, но который так не похож на литературного мужичка, на Поликушку, дядю Миная и других мучеников, которыми „литература густо населила нищие и грязные деревни“. Вообще, поправки, вносимые писателем в привычные, устоявшиеся суждения и мнения о народе, казались чуждыми и враждебными традиции. Явление, отмечаемое Горьким, имело и, бесспорно, имеет место и по сей день. Но здесь — в среде людей, говорящих не только именем, но и от имени народа — определенно могу сказать: следов этого рационализма нет. Ничего, кроме настороженности, однаковой и к таким вещам, как „Сон Макара“, и к таким, как „Река играет“, даже таким, где фабулы нет, а драматизм скрыт в покровах серенькой будничной жизни...

Горький сам, — мнение его преисполнено здесь большого интереса, — крайне высоко ставит диагноз свойств и качеств русского народа, какой находим мы в произведениях Короленко. Ставя на вид, что за двадцать пять лет литературной деятельности видел он и знал почти всех больших писателей, имел высокую честь знать и колоссального Толстого. — Горький все же сознает, что Короленко стоит для него где-то в стороне от всех. „Мне лично этот большой и красивый писатель,— пишет автор воспоминаний,— сказал о русском народе многое, что до него никто не умел сказать. Он сказал это тихим голосом мудреца, который прекрасно знает, что всякая мудрость относительна, и вечной правды нет. Но правда, сказанная образом Тюлина, — огромная правда, ибо в этой фигуре нам дан исторически верный тип великорусса“¹⁾). Было бы вне соответствия с действительностью предполагать, что таково понимание нашей демократии вообще, равно как и то, что она чужда рационализма вообще. Совсем напротив, как увидим мы потом.

Но потому, что плоть от плоти этого народа не может не чувствовать всю неоспоримость и Короленковской натуры, и Короленковского живописания, и Короленковского взгляда на народ, вы видите живейший интерес, на ослабляемый этим рационализмом. Говоря о рассказе „За иконой“, местечковый писец из крестьян пишет: „Короленко стал для меня любимым и дорогим писателем, как психолог души народа и народный богоискатель. Его образы так очаровательно-близки читателю, в особенности читателю из народной демократии, что, кажется, автор сам лично проник в душу читателя, выведал все тайны ее, проникновенными глазами обшарил все уголки, и обо всем, что нашел светлого в этой душе, громко поведал миру; слабости же,

¹⁾) „Жизнь и творчество Короленко“, сборник статей и речей к 65-летнему юбилею. Вышесчитированная статья Максима Горького.

зло—не то, чтобы смягчил, а смешал с хохлацким юмором⁴. А вот суждение об очерке „Емельян“: „Он (Короленко) так верно, так правдоподобно рисует жизнь и народ, что идеализм, которым писатель окрашивает свои рассказы, как-то на месте, только в пору живому человеку, как например деду Емельяну“.

Таков писатель, как „реалист“, как „фанатик правды“. Но это еще не значит, что сам по себе поразительный подъем созерцания у Короленко дорог нашим читателям. Близок им, дорог этот реализм в сочетании с народническим романтизмом. Будь писатель чистого типа реалист, характерный лишь по приемам изображения, которому любезен быт, как быт, этот реализм был бы в их глазах неполон, безпризорен. Все дело в том, что художник-реалист видит то и слышит то, что видел реализм традиционный. Лишь кое-кто отдает себе отчет в новом подходе писателя к народу и его изображению; большинству же важен факт, тот факт, что народ, мотивы народнического искусства составляют содержание этого реализма. Вся острота зрения, вся интимная правда Короленко для них в этом факте.

Вот, что для них важно в реализме Короленко.

„Меня в особенности привлекала и привлекает,— пишет рабочий завода Вулкан,— свойственная ему натура и психология непоколебимого борца чистой и великой идеи народничества. Надо признаться, что я, будучи пролетарием и марксистом чистейшей воды, сильно пристрастен к народничеству и многое разделяю в его идеи и философии. Причина этому еще не порвавшаяся у меня связь с деревней, ее психологией, экономикой и мое знакомство в молодые годы с передовыми деятелями движения. Так радостно для меня, что идею таких хороших людей, как народники, разделяет и непоколебимо несет их знамя тот самый писатель, чей рассказ „Река играет“ я с таким увлечением читал“. Точно так кончаются все эти рассуждения о реализме Короленко. Любопытна параллель, которую проводит рабочий токарь между Л. Н. Толстым и Короленко. Никто, по его мнению, так глубоко не заглядывал в душу, как автор „Анны Карениной“. Он не иначе именует Толстого, как „этот колосс“, „этот титан“. Но все же правда Короленко для него выше правды Льва Толстого. „На Толстого я, рабочий — токарь, смотрю, как на барина, хотя и высоко его уважаю. Короленко же это наш“.

Воспринимать так, в „народническом“ свете, реализм Короленко, значит укорачивать художника-пантэиста. Многое и многое сближает творчество писателя с традициями семидесятых годов, художественный субъективизм его в том числе. В юношеской повести своей¹⁾ он сам нам рассказал, что влекло его к народу, как он подходил к психике его. Но не „социологический“ это реализм семидесятых годов, и не в том сила Короленко, что объектом его наблюдений служил народ;

¹⁾ „Эпизоды из жизни пскателя“ — „Слово“, 1879 г. № 7.

исключительным предметом наблюдений писателя народ и не был. Но такова уже психология читательства. Если в данной среде повлиял данный писатель, то, конечно, значение имеют здесь и чисто умственные особенности читателя, но главное это то, что формирует его угол зрения вообще, понимание же писателя в частности—социально-психологическая ткань.

VІ.

Позвольте—слышу я в этом месте—не забывайте же вместе с тем, что—какова бы ни была эта психология—она не есть нечто однородное. Это знает ныне всякий, кто становился лицом к лицу с деревней, с одной стороны, с прилавком, фабрикой, с ремесленным миром, с другой. Неужели — раз это так — во всем этом разнообразии можно уловить то единое, что намечается в статье?

Бессспорно, разность социальных положений налицо у наших читателей, высказывающих все эти суждения; но далеко не так осозательна пестрота их вкусов и построений. Среда эта известна мне хорошо, подчас до биографических деталей. Есть оттенки, и даже не ожиданные. Однако, дифференциация идей,—поскольку речь идет об искусстве, о литературе—в высокой степени слаба. В общем, можно,—и методологически это правильно,—выделить те нотки, которые родственны низовым демократам, вообще, вызывают так много, в общем, ассоциаций, словом, указать те тропинки, которыми идет к писателю и его личности смешанного типа интеллигенция низов.

Так об'единяющая нить, которая вела нас к реализму Короленко, ведет нас дальше к более углубленным элементам творчества писателя.

Выше цитировалось нами мнение, согласно которому писатель наш—романтик, но романтизм его на месте, не мешает ему быть правдивым, документальным. Другие идут еще дальше. В том, что Короленко привносит от себя, от своего жизнеощущения, они видят тот же реализм, то же служение „правде“. В этом сочетании реализма и романтизма основное очарование для них Короленко, как художника-сердцеведа. Короленко нигде не отрицатель жизни, но того и требует здоровое понимание ее; писатель везде утверждает радость человеческого бытия, но утверждает это в согласии с природой человека—вот их подход.

„В то время, как современные писатели Федор Сологуб, Ан. Каменский, В. Винниченко вытаскивают наружу у людей все отвратительное, грязное и говорят, что реальная личность такова, Короленко инстинктом великого художника нащупывает человеческое в человеке,—читаем мы,—и показывает его миру“. Конторщик из Самары, которому принадлежат эти слова, знает, что от писателя не скрылись темные стороны человека. По „Марусиной земке“, по другим рассказам ему известно, что и народ Короленко видит с самых дурных сторон

его. Однако, „несмотря на тот преступный мир, среди которого он жил, и который ему пришлось знать, он не нашел того, что находят в людях те писатели. Вера в человека живет все время в душе Короленко. Он сам верит в эту правду и невольно заставляет верить в нее людей, потому что его правда убедительна“.

Трудно указать что-либо иное, иной момент художественного творчества Короленко, который бы так неотразимо западал в душу наших читателей, как это понимание природы человека, даже самого дурного. Мягкость стиля, язык тщательный и меткий, богатство красок и образов, лиризм, мастерская передача явлений природы—все это, в связи с бытовой тканью, не отступающей ни на шаг от реального живого человека, создает в них иллюзию неразделимой слитности реализма и романтизма Короленко. „Каждое прочитанное произведение Короленко вселяет в меня какое-то особенное чувство,— пишет переплетчик из провинции,—совсем не похожее на те чувства, какие вызываются чтением других русских писателей. Читая любое из произведений Короленко, невольно и незаметно для себя проникаешься высшим благородством, вместе с автором веришь в людей даже самых темных, отверженных и забытых. Как-то верится, так и чувствуется, что в человеке крепко живет правда, живая правда, готовая восторжествовать над злом. Хорошо делается каждый раз на душе после чтения Короленко“.

Что следует из такого подхода к человеку? Раз человек рождается с золотым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное на земле; раз до последних глубин своей природы открыт он на все хорошее, а зло, как таковое, есть лишь налет социальной жизни, то „жизнь может быть радостна, должна быть радостна, как твердит писатель в каждом произведении“. Отсюда „точка опоры необходимой душевной бодрости“. „Конечно, человек создан для счастья, как птица для полета, и недаром сам писатель так любит жизнерадостных“, и недаром—по прочтении любого из его рассказов—так светлеет на душе нашего интеллигента из народа.

Это чувство, ласковое чувство веры, ценишь во все моменты жизни. Но во много раз дороже оно в момент апатии и упадка, в момент, когда эти суждения о Короленко высказывались на бумаге. Насколько это так, видно из того, что редкая рукопись об этом ничего не говорит.

„Извозчики имеют обыкновение, когда они сильно озябнут,— пишет о себе бояк-нижегородец,— согреть себя стаканчиком вина. Точно так же и я, когда у меня начинает застывать душа под морозами жизни, когда на дороге жизни слякоть, и ноги мои уже стынут в грязи; когда с неба моросит мелкий дождик, и не видно солнца, закрытого тучами, я люблю отогреться стаканчиком Короленки. Он любит жизнь и верит в человека. Я люблю слушать сказки Короленко о счастье человека. Сказки эти (а это сказка, ибо мечта о солнце в осенний пасмурный день—сказка) вливают в жилы мои огонь бодрости“.

Вот еще выдержка. „Его душа, как сфера небесная, реагирует на звуки земные. И все, что проходит перед глазами Короленко, находит сочувственный отзвук в его душе. Но на этой арфе полнее и звучнее всего отдаются песни счастья и мучительной тоски о нем. Почти все его герои объединяются в одном чувстве — в стремлении к свету. Вот слепой музыкант тоскует о свете, которого он никогда не видел, но только „мучительно чувствовал“. И многие его герои стремятся к свету, которого не видели, но мучительно чувствовали. И это стремление к чувствуемому свету выбивает людей Короленко из колеи обычного. Она толкает искать праведной веры „Убивца“, бросает Микешу в тюрьму вместе с бродягами. Полубезумный Диац не смог устоять против мощного призыва бунтующегося моря и бросился на скверной лодочонке рыбака в бурную ночь искать своего счастья. И тот же бессознательный порыв толкает Яшку и саратовского мещанина претерпеть мученичество. Счастья, счастья! Кто знает, не стоит ли один миг настоящей жизни целых годов прозябания, думает офицер из „Мгновенья“. И как заключительная фраза этого порыва-воопля — раздается задумчивый голос феномена: „человек рожден для счастья, как птица для полета“.

И—что, может быть, характернее всего—это то, что, по мнению этой демократии, сочувствием земному счастью, верой в то, что счастье естественное право человека, а зло только налет на душе человеческой, этой нераздельностью реализма и романтизма писатель отдает все ту же дань народу. Может быть, дороже всего во всем этом нашим демократам то, что слова „человек рождается с ясными открытыми глазами и с чистым сердцем, готовым раскрыться на все прекрасное на земле“ читают они в „Сне Макара“.

Потому, что они вышли из народа, пережившего безличие крепостного права, что их личность калечили так, как не калечили личность ни одного человека, принадлежавшего к привилегированной среде, нравственное вдохновение Короленко приобретает для них весь свой интерес, всю свою значительность в связи с вопросом о статике и динамике русского народного характера. Ведь и в их жизни не одно смирение и тьма, есть в ней не мало действительно-высокого—гораздо больше, чем это обыкновенно думают и видят. Не народ ли, из которого они происходят, создал богатейший былинный эпос, создал песни, которым подобных нет? Не он ли выказал не раз праздничные стороны своей природы? И вот в каждом человеке из народа, даже самом забитом, умеет писатель отыскать золотое сердце: найдет, осветит светом своего дарования, и станет вам так понятна и ясна и темная душа полудикого якута, и стихийный, просыпающийся лишь в минуты опасности от своей созерцательности Тюлин. Заметить незаметное, элементарное и массовое, вдруг сделать незаметное значительным и важным слоем внимания сердца, силой художнического своего внимания, — вот „традиционно-гуманская задача“ Короленко, и вот эта-то способность проникнуть в тайники серой глубины, сделать

незаметное заметным в широком фарватере русской жизни—в народе, и покоряет нашего читателя, овладевает лучшими сторонами его души, заставляет отдаваться тем чувствам, которыми жив сам автор. Потому и верит автор в красоту души народной, что „всюду хочет видеть жизнь и все воспринимает, как живое. Живой у него лес, живое небо. звезды, ветер, трава—все живо. Жива душа народная“; но не в смиренной наготе, а с теми атрибутами личности, без которых нет счастья, а есть летаргия духа, отравляющая душу народную. „Потому-то я и люблю читать его,—пишет бывший слесарь,увечный, — что его голос в минуты упадка и слабости поет мне о грядущем дне... Дерзай, proletarий, уже близко... Не сонные, не робкие созидают будущее, а люди, в которых кипит пламень веры“.

Итак, реализм Короленко „человечен“, „народен“, исполнен красоты в своем схождении к простому человеку. Тут художник полностью слился с человеком: как видел, как чувствовал Короленко, так и писал он. Но это потому,—потому писатель умеет извлечь все светлое, поднимающее ввысь из души человека, что таков уже склад самой писательской души. Недаром так откровенно, так доверчиво выявляет он свою личность в своих произведениях, недаром при всех условиях и сам „старается найти какую-нибудь светлую точку, обращается к ней всем существом своим и говорит о вере в человека и его счастье“.

VII.

Тяжелое и мрачное этой жизни не ускользнет от ласкового глаза Короленко,—это знает наш читатель твердо. Конечно, человек создан для счастья, как птица для полета,—цитирует он.— только счастье не всегда создано для него. Подрезаны крылья у этой птицы... Вопреки привлекательной природе человека, в современной жизни человек человеку волк и в народе в такой же степени, как и во всякой другой среде. И вот писатель вскрывает перед нашей демократией драматизм процесса искания счастья человеком, его искривления и выпрямления. его борьбу, отдавая скорби о несовершенстве жизни и людей ту же дань внимания, что и привлекательным тайнам души.

Конечно, читателю здесь ближе всего в Короленко то, что сливает творчество писателя с музой Некрасова. То сердце не научится любить, которое устало ненавидеть, говорит поэт. И то же слышится им у Короленко. Через годы ссылочных скитаний, через ледяные тундры пронес Короленко свою любовь. Любовь к человеку есть особенный талант писателя. Надо видеть не просто то, что есть, а насквозь с любовью. Короленко так именно и „созерцает“ человека и природу, стараясь найти в этой любви опору художнического равновесия своего. Но еще лучше то, по мнению нашего читателя, что—наряду с великою любовью—не забыл писатель и про ненависть, как забыл Лев Толстой. Вне этого сочетания активное, действенное отношение к жизни невозможно.

„Если тебе когда-нибудь придется судить вот его,—говорит Тыбурций сыну судьи, показывая на своего мальчика, то вспомни, что еще в то время, когда вы оба были дураками и играли вместе, что уже тогда ты шел по дороге, по которой ходят в штанах и с хорошим запасом провизии, а он бежал по своей оборванцем-бесштанником и с тощим брюхом“. Процитировав это место из рассказа „В дурном обществе“, конторщик какой-то московской фирмы продолжает от себя: „эти два пути, два обособленных мира не дают художнику уйти от земли, подняться в небо и оттуда смотреть спокойно на жизненную борьбу. Это два стана: у одних есть все, и деньги, и силы, и закон, у других ничего нет, кроме правды, и автор на стороне последних“.

Важно не одно то, что Короленко „на стороне униженных и оскорбленных“. Толстой тоже был на этой стороне. Но Толстой создал теорию непротивления злу в восьмидесятые годы, когда эта теория так пришла по времени. Короленко же уже тогда говорил нам, что мир не может быть куплен иначе, как борьбой, что боевая ненависть имеет не меньший смысл, чем самая высокая любовь. Оттого-то „художник-человек,—по словам одного рабочего,—человек с расширенной душой и расширенным сердцем—вместил в себе больше самого себя. Несмотря на мягкость свою, на углубленное понимание человеческих поступков не опустился, он до оправдания злого. Возьмите хотя бы „Убивца“. Вложил в него автор душу мягкую, разрыхленную христианской моралью. И все-таки убивец совершает насилие, дабы помешать насилию. И в художественной деятельности Короленко великий воин против всего, что калечит душу человеческую, что гасит в нем огонь бодрой творческой жизни. Я люблю его потому, что не затаила в нем волна мерзости людской огня. И он, как светильник во тьме, светит всем желающим выбраться из мрака“. „Человек рожден для счастья“, читаем в другом месте.—В чем же счастье? Драгоценнейшее надо берегать—свободу. И чтобы оберечь свободу и добиться ее, Короленко из поэта, подслушавшего сказки природы, понимавшего говор леса, ветра, трав и звезд, из поэта мирного счастья, мечтавшего о всеобщем братстве, которому ясное небо нашептывало о „вечном законе мира“ и „люди—братья, а божий свет хорош“, преображается в льва пустыни, у которого отняли добычу. И великая любовь его к людям раздувается ветром ненависти к угнетателям; и несется вдохновенный призыв-песня к борьбе и мятежу. Голос его становится подобным грому. Устами Менахена, сына Иегуды, он обращается к „смиренным“, уверевающим покориться угнетателям и прощать их: да, воду не заливают водою и не тушат огонь огнем. Но камень дробят камнем, сталь отражают сталью, а силу силой. И в глубину темнеющих небес, к лучезарным далеким звездам несется скорбная и страстная молитва поэта—миролюбца, осененного скорбным пониманием великой трагедии борьбы“.

Этот активизм,—действенное отношение к жизни,—Короленко противопоставляет не одному Толстому восьмидесятых годов. И „в разгар вульгарного индивидуализма“, когда в воздухе запахло новой теорией непротивления, он зовет к протесту и борьбе. „В то время, когда после ухудшения всех надежд начался развал в русской литературе, и различные порнографы, кошкодавы и проч. стали героями дня,—пишет самому писателю группа двинских рабочих (37 чел.),—в то время, когда почти вся русская литература модернизовалась, и эти господа стали глумиться над священными заветами старой русской литературы, вы твердо с гордостью защищали старое знамя. Рабочий класс оценит по достоинству ваши заслуги перед родиной. Желаем вам и в дальнейшем продолжать борьбу, которая найдет отклик и активную поддержку в среде передовых рабочих“. „Воззванный завет семидесятых годов,—вторит им крестьянин-портной,—пронес писатель в целости и сохранности и через эпоху восьмидесятых годов, и через черную полосу 1906—10 годов, когда большинство интеллигентов отрекалось от того, чему они недавно поклонялись. В этом его великая натура“.

В этом смысле толкует читатель и Короленковские „Огоньки“. „Мы вместе с вами верим,—писали Короленке рабочие-печатники г. Петрограда,—что огни не только впереди, но и близки. Наляжем сильней на весла и доедем мы до этих „огней“. Пусть же ваш талант и вперед горит разноцветными огнями, которых потушить никому не дано“. Редко, кто не пишет об этих „Огнях“. „Где-то в глубине его души,—полагает рабочий-ткач,—поселились „огоньки“, яркие, живые, которые освещают ему и мир, и людей. И всякий, кто прочитал произведения Короленко, будет всегда с ним, так же, как он будет налегать на весла—на огни, ибо хотя жизнь течет все в тех же берегах, а огни еще далеко... все-таки... все-таки впереди—огни! „Эта дивная поэма „Огни“...—пишет рабочий стеклянного завода, посвящающий свои досуги поэзии,—что может быть лучшего для тех, которые стремятся до гроба вперед и вперед к солнцу и свету. Разве я, бедный песенник, мог бы что-нибудь написать, если бы не эти огни, которые так неудержимо манят собой и заставляют позабыть ночи работы и дни унижения, мрачные скалы и пороги, которые целую жизнь давят нас своей бесчувственной громадой“.

„От любви к ближнему Короленко переходит к любви к дальнему“,—читаем мы в одной рукописи. Однако, эту любовь к дальнему читатель упрощает. Какой другой писатель—да еще традиционный—в такой степени свободен от рационализма, как Короленко, умеющий так подняться и поднять своего читателя до сознания чего-то более важного, чем отвлечения нашего рассудка! В одной из публицистических статей своих писатель говорит, что человек живет не для того, чтобы служить материалом для тех или иных схем и весь художественный облик Короленко говорит о том, что не столько важен про-

цесс жизни по тем „конечным целям“, которые мы себе строим, сколько сам по себе; что дорог человек, а не его доктрина. Наши интеллигенты из народа ставят вопрос о том, какова перспектива ближнего и дальнего у Короленко,—об этом можно говорить и применительно к художественным произведениям писателя,—но углубленного подхода мы не видим.

VIII.

Короленко представляется читателю нашему художником-аскетом, для которого то, что отвлекает от „служения народу“, не существует.

Конечно, писатель имеет свои взгляды и убеждения, но в то же время он не только „знает“, что психология сложна, но умеет интимно проникновенно нащупать эту сложность. Отсюда его дар постижения *всего* человека. Недаром он сам, писатель, принадлежит к числу натур, ощущающих в себе закал души, данный заранее, с большей непосредственностью, чем то, что они приобрели от среды, от духа времени. Инстинктивно-органическое не вырабатывает среда и воспитание. Вот эту-то сторону художника, над которым краски и тона имеют такую силу, этот процесс углубления в себя, это раскрытие тайн и индивидуального бытия, всю эту сложность Короленко, свободную от власти запретов аскетизма, слабо воспринимает наш читатель. Фигуры Убивца, Яшки и других представляют глубоко психологический интерес, но как-то глухи к иррациональным силам жизни и психики наши пролетарии, к тому, к чему так насторожен глаз Короленко.

В одной заметке находим мы параллель между Убивцем и толстовским Акимом и Карапаевым. Пишуший находит, что Убивец глубже, драматичнее последних в своих исканиях правды. Но противоречие правды божеской и неправды человеческой он объясняет лишь тем, что мысль народа бьется „в тисках невежества, незнания“. Для него религиозность, как психическая категория, которая выработалась и укрепилась в человеке тысячелетиями, кризис верующей души лишь в том, что она не знает, где „правда“. Вот почему идея отрицания, когда правдоискатель говорит: „Бог-то! Давненько я с ним, с Богом-то, не считался“, для читателя нашего убедительна и разумна: она ведь плод упорных дум над „неправдой русской жизни“. Мысль народа, путем таких усилий, ищет выхода из противоречий жизни. Когда она разберется, в чем идеал „справедливой жизни“, будет конец этой нетовщине и нигилизму. Конечно, это так, но все же в этом не *весь* образ Короленко с его живой религиозно-психологической сердцевиной.

В одной лишь рукописи нашли мы своеобразное толкование драматизма в Короленковском творчестве. Писатель не склонялся перед неотвратимым роком,—напротив, как мы видим, он убежден в том, что историческая необходимость ведет к счастью человека. И в литературе о Короленко установилось мнение, что писатель не склонен к концепции трагического. И вот как откликается на эту тему один

из наших народных демократов. Конечно, рок, внешний или внутренний, предопределение, детерминизм—все это понятия, чуждые, и по его мнению, Короленко. Он борется с ними, оспаривает их, эти понятия, но все же это не равносильно тому, что писатель трагической концепции совершенно чужд. Совершенно наоборот.

„Мне приходилось читать у Чуковского,—читаем мы,—что у Короленко отсутствует трагизм. Не знаю, откуда это взял Чуковский. У Короленко чувствуется гораздо более трагизма, чем у прославленных создателей трагического. Это недоразумение я объясняю тем, что у Короленко нет ямы, нет безысходности; весь он одарен верой в победу жизни и солнца. Но разве оттого, что будет солнце, переживанья мокнущего и мерзнувшего под дождем и снегом жизни менее трагичны? Да, солнце будет! Свет и тепло наступит. Но пока гибнут люди и нет им спасения от холода жизни. И в торжественную песню веры в грядущее, в солнце врывается скорбная нота великой печали о настоящем. Как-то я читал статью о трагедии Софокла „Царь Эдип“. Клянусь вам, что весь ужас царя перед свершившимся роком, когда он узнает, что предсказание оракула сбылось, кажется мне пустяком перед великой трагедией „убийца“. А разве не полна живого драматизма сцена „В дурном обществе“, где мальчик, ожидая от отца наказания за пропавшую куклу, чувствует, что свершившись это, он будет ненавидеть отца всю жизнь? Чуковский поместил в трагическое почему-то только трагедию разрушения души и совершенно просмотрел трагедию созидания. А рассказы Короленко именно и полны трагедии созидания. Он с особенной любовью останавливается над трагическим самосозиданием надломленных душ, над процессом, когда искривленное от каких-то причин дерево медленно оправляется и выравнивается.

Нет, книги Короленко полны трагизма. Но только он знает не одни провалы ужасного и злого, а и вершины горения и надежды. Ужас смерти и разрушения преодолевается у него глубокой верой в жизнь и воскресение.

И его собственная трагедия, трагедия поэта, чувствующего и призывающего жизнь, во имя жизни сражающегося с смертью, примиряется глубокой верой в живого человека, созидающего живое“.

Я уделил этой заметке место целиком. Этот человек имеет все права на наше внимание по вопросу о трагическом. Жизнь его самого представляет собой если не трагедию, то глубокую бытовую драму. Это бывший бояк, большую часть жизни проведший по ночлежкам. Обстоятельства жизни его сложились вместе с тем так, что он рано пристрастился к книге, а воображение и память, которым мог бы похвастаться и художник, и философ, делали свое дело безостановочно и ярко. И вот в итоге ясный, благородный ум и неискаженное сердце и организм; мысль, сознающая „не одни провалы ужасного и злого, а и вершины горения и надежды“; может быть, и талант, даже наверное талант и вместе с тем—яма, в которой не только мысль о таланте, но

и какая бы то ни была мысль, как у калеки из „Парадокса“, превращается, в лучшем случае, в „парадокс“. Да, наш люмпен-пролетарний с неменьшим правом говорит о трагедии, чем Засусский о счастье человека...

IX.

Интеллигент из народа—насколько он представлен нашим материалом—высоко ставит литературу, ту художественную литературу, которая вдунула в него душу, учила мыслить, чувствовать и понимать. Правда, не все ценности свои донес до него Короленко, не все огни, которыми сверкает этот глубоко художественный талант. Но для него ясно, как для всех, кто любит литературу, что даны крылья писателю для того, чтобы творить нетленное. И вот вопрос, который стоял перед многими и многими каждый раз, когда писатель откладывал в сторону кисть художника, чтобы браться за перо публициста—вопрос о прекрасных, но ненаписанных произведениях, о неродившихся литературных детищах Короленко—стоит и перед нашей читающей демократией.

„В этот промежуток времени,— пишет рабочий-белорусс,— я только читал его „Огоньки“, которые служат символом разделяемой мною идеи национально-культурного возрождения моей родины. Но одних „Огоньков“ для меня становилось мало, и я ждал новых произведений. Но в силу судеб,—лучше или хуже это для нас, отвечать я тогда затруднялся,—великий писатель как бы оборвал нить своей беллетристической деятельности и перешел к публицистике и служению родине. Чтобы следить за ним, я не переставал доставать журнал „Русское Богатство“. Место же, покинутое им, заняли другие мало любимые и уважаемые мною беллетристы“, с грустью добавляет белорусс. Но шли годы. В нем, разумеется, происходит перемена. Он „больше начал уделять внимания газетам, журналам, публицистике, отражению современнейшей действительности“. И вот чем больше он углублялся в „действительность“, тем понятней ему становилось то, что происходит с Короленко. Если бы писатель родился не в России, а где-либо за границей, он не забыл бы,—по мнению белорусса,—для чего даны ему крылья. Неродившиеся его детища родились бы, ненаписанные произведения были бы написаны, и биография его была бы биографией художника. Но родился Короленко в России, и биография его есть не только история его художественных творений, но и история тех дел, на которые не может не откликнуться Короленко и как публицист, и как гражданин и деятель.

Нельзя сказать, чтобы Короленко, как публицист, в такой же мере был знаком демократии, как Короленко-художник. Но кто вдумывается в публицистику его, в один голос говорят, что близоруко видеть в Короленко лишь художника, и не потому, что и публицистика

занимает место в литературной деятельности его, но потому что это художник и публицист равной величины и равной силы выражения.

Это, впрочем, не мешает им и публициста, как и художника, воспринимать не во всей сложной полноте. И нам это понятно: интеллигенция из народа формировалась в рамках наших программных настроений, и им ближе то, что говорит писатель, чем то, как он это говорит.

Отличительная черта, придающая прелесть публицистическим статьям Короленко, состоит в том, что он тот же в них, что в своих очерках и рассказах, что нигде не видим мы упрощений, прокрустова ложа отвлечений. Подобно тому, как жизнь претворяет он в образ, так всякую идею укладывает он в рамки жизни, эластичной, неугомонной, ибо это человек борьбы не предначертанной, не партийной и программной. Это не значит, что Короленко-публицист исходит лишь от фактов, явлений действительности, не поднимаясь до „идей“. Нет, в публицистике Короленко не мало идей высоких, плодотворных... Но как бы ни были эти идеи высоки и плодотворны, публицист всегда стоит как-то выше идей своих. Это, бесспорно, самый почвенный, самый жизненный публицист в России, независимо от основ его мировоззрения. Оттого-то от поучения, от рационалистических предначертаний он так же далек в своих публицистических статьях, как и в художественных произведениях. Вот этот-то дух статей, делающий их столь же высоким искусством, как и создания его художественного гения, не отразился в суждениях наших читателей.

Здесь—в области публицистики—заметнее уже та дифференциация, которая имеет место в среде интеллигенции из народа. То здесь, то там писатель характеризуется, как „боец, хотя и не стоящий на классовой точке зрения“. В этом, например, духе редактировано приветствие общего собрания рабочих печатного искусства, посланное В. Г. Короленко. Приказчик обувного магазина пишет: „Читать его статьи есть истинное наслаждение, но они не овладевают с той силой, с какой захватывают статьи и рассказы Максима Горького“. И это потому, что Максим Горький стоит на „пролетарской точке зрения“, а Короленко „не ставит перед читателем тех широких мировых вопросов“.

Разумеется, грешно было бы не видеть, что и в публицистике—как и в художественном творчестве Короленко—читатель наш угадывает немало настоящей души писателя. Так, „его статьи,—говорят они,—вносят те же краски и переживания в будничную жизнь людей, манят к той же светлой дали, что и художественные произведения Короленко“; что это „также любовь и ненависть“, „также вера в человека“. Еще одна особенность. В статьях своих писатель кажется им „умеренное“, чем в своих художественных творениях. „Демократически настроенный писатель“, „писатель-демократ“—вот выражения, в которых видится им публицистический облик Короленко (цитаты из него берут преимущественно такого рода: „огромная му-

жицкая Русь требует постоянной, дружной и напряженной работы, а мы, общество? Что же мы сделаем, чтобы осветить эту тьму?" „Павловские очерки“). В наши дни такая оценка едва ли представляет собой нечто „лестное“. В те же времена, когда писались эти строки, это именно и ценили наши пролетарии в публицисте-Короленко. И как еще ценили!

Мы все помним, как плакал Лев Толстой, читая „Бытовое явление“ Короленко. А вот рассказ о том же, как передает нам плотник. „Его своеобразность демократа-публициста *проста, понятна, близка душе*. Помню, какое впечатление было произведено на меня его статьей „Бытовое явление“, как я дрожал от ужаса и злобы, давившей мою душу, читая *то, что художник нам нарисовал* своей мощной кистью, заставив взглянуть на ту картину ужаса, творимого людьми, к которой мы уже привыкли, смотрим, как на бытовое явление, на рок судьбы людей“. Другой рисует момент, в какой появилась эта статья, чтобы оттенить еще рельефнее значение его. „Казалось, все живое умерло, попряталось по закоулкам, и только хищные шакалы тянулись к трупам жертв, чтобы спровоцировать свою черную тризну. Русское общество молчало, оглушенное расстрелами Меллеров-Закомельских.

Пусть жены ждут расстрелянных мужей.
Но плакать вслух не смеет побежденный.—
Не смей смущать, о город покоренный.
Святого сна владык и палачей.

Не сметь смущать... И вдруг „Бытовое явление“ Короленко. Среди этого безмолвия только Короленко, будучи верным сыном своего отечества, говорил громким голосом и языком. Администрация не пришла в трепет от этого шума. Но ее ухо привыкло уже к безмолвию и тишине. И постарались зажать рот писателю-демократу. Отдельный выпуск „Бытового явления“ конфисковали. Но „Бытовое явление“ от этого не потеряло свое значение в глазах рабочих и крестьян. Когда писатель был оштрафован, как редактор журнала „Русское Богатство“, в котором печаталась статья, читатель не остался равнодушен. „Как рабочие отнеслись к писателю, видно из того, что штраф, наложенный на Короленко, был уплачен подписчиком журнала. Рубли и копейки присыпали в редакцию и рабочие, кто сколько мог и кто сколько имел“. (Приказчик из Самары).

X.

„Хочется благодарить Короленко, как благодарила его группа лиц во главе с Репиным, „за его прекрасную жизнь“, — цитировали мы выше.

Да, и за жизнь благодарит наша читающая демократия, за дела несокрушимо бодрого и неисчерпаемо волевого человека. Не потому, в свою очередь, что литература его одно, а поступки его — другое, а

потому, что нет произведения, которое не говорило бы о делах писателя, и нет дела, которое не говорило бы о произведениях его.

Когда писатель отрывался от рассказа, чтобы подойти к жизни, в качестве боевого публициста, наш читатель еще задавал себе вопрос: хорошо ли, правильно ли, что писатель приносит эту жертву, которой требует от него жизнь с ее кровавыми пятнами; хорошо ли, правильно ли, что его место занимают мало любимые и мало уважаемые беллетристы. Но когда писатель отрывался от стола, оставляя свой домашний кабинет, чтобы защищать евреев, вотяков, сорочинских крестьян, чтобы „кого-то непременно защитить“, нашим читателям и в голову не приходило, чтобы единый, цельный Короленко чем-нибудь здесь нарушался. Так и должно быть, ибо, в их глазах, это писатель, вознесший звание литератора так высоко, как никакой другой, ибо это писатель-деятель в истинном смысле этого слова.

Это, полагаю я, имеет в виду молодой слесарь, когда пишет: „я молод, я только начинаю вступать в жизнь и делать свое дело. Мне нужно изучать, присматриваться ко всему, что есть в жизни, и прежде всего к людям. И когда присматриваешься к тем людям, которые стоят на видном месте, то есть среди них один, на которого я смотрю с уважением и любовью. Этот человек Владимир Галактионович Короленко. Он — мощный. Когда слушаешь его звучные слова, то уже светлее кажутся темные будни и бодрее начинаешь глядеть вперед. Но еще бодрее становится на душе, когда думаешь о делах этого человека. Когда наше время отойдет в область воспоминаний, то будущее поколение его определит, как время, в которое жил писатель Короленко, который как писал, так и жил. Много у нас есть писателей, и многие из них пишут хорошо, но чьи дела так очаровывают, как и произведения?“

Нашим читателям симпатично, что писатель не стал петербуржцем. „Короленко деятель провинции и деревни. Он не любит больших столиц и их жизни. Его тянет туда, где „река играет“, где „лес шумит“, где движется толпа богомольцев по пыльной дороге „за иконой“... Кто не помнит Мултанского процесса вотяков в Вятской губернии, когда писатель взялся защищать бедных, невежественных язычников и добился их оправдания? А голодный год в 1891—92 году? Горячо принял к сердцу Короленко горе крестьянское: писал корреспонденции, собирая пожертвования... При его посредстве в Лукояновском уезде устроено было 17 столовых, где кормилось более 600 человек... А филиновское дело? *И все это — во глубине России*“ (артельщик).

Все это местные дела, но дела, которым писатель сообщил характер всероссийский. Это не „культур-трегерство“, в глазах интеллигенции из народа. „Все передовое русское общество невидимыми нитями связано с ним, как с Толстым, и чувствует его близость“; „Короленко в настоящее время является таким же, как был Лев Толстой, но вносит в свою деятельность больше здравого смысла“ — параллель

с Л. Н. Толстым вы встречаете неизменно все время, что идет речь о Короленко, как общественном деятеле. Оттого-то „вошло в привычку“ обращаться к Короленко и, прежде всего, к Короленко в Петербурге, и в Москве, и в Нижнем, и в Полтаве. Оттого-то к „голосу Короленко прислушиваются не только люди одинакового с ним образа мыслей, но даже и враги его—такой это светлый деятель, и так хороши его дела, его „не могу молчать“ на всякое „бытовое явление“ наших жестоких дней“.

Оценку этого размаха человеческих деяний, непрерывной цепи воплощений слов в общественные дела, дает в особенно трогательных выражениях кожевник-белорусс:

Когда Россию, мыслящую Россию,—пишет он,—постигло великое несчастье,—смерть Льва Толстого, я, хоть и не разделявший его воззрений на жизнь, мораль и философию общественных отношений, побледнел и испугался: будто бы подо мной дрогнула почва, и задал я себе вопрос: что будет теперь без Толстого? И горькую, неведомую никому слезу уронил на мокрую, грязную землю. Стало жутко, и я начал искать людей в литературе, нравственный авторитет, на кого бы опереться. Но искать долго не пришлось—я вспомнил, что жив и бодрствует Короленко. Короленко, как бы получивший великий дух в наследство от Толстого, во всем своем величии вознесся над Россией, и—я чувствовал—к нему тянулись руки со всех концов, сердца всех ищущих людей. В это время мощный голос Короленко, окрестив непрекращающиеся казни в России бытовым явлением, обрисовал весь их ужас. Вслед за тем выплывал на сцену кровавый навет на евреев. И первым протестантом поднял голос Короленко... Писатель выросстал в моих глазах в великого и славного мужа, который всецело подкупил, очаровал меня своей личностью. И я не знаю, перенесу ли я ту утрату, утрату уважаемого Короленко, если только рок заставит меня пережить ее! О, я не допускаю и мысли об этом! Как хотелось бы мне быть чудодеем, дабы я смог обессмертить живую совесть моей родины, ибо что тогда будет стоить моя родина? Где она найдет таких сынов!?

Л. Клейнборт.

Мелочи прошлого. Крестьянские надежды о земле.

Посылали гопреж мужички письма к царю на счет земли, да письма те, видно, до него нэ доходили. И решили они ходоков послать. Приходят ходоки и бух в ноги: „ваше царское величество! хлебушка у нас нетути, и с голода мы дохнем, а податься некуда. Курицу, и ту спутанную держим. Господа же твоё царское жалованье получают да и землею завладали. Нас же, чернью твою, штрафами теснят. Яви божескую милость, ублаготвори землею!“

А царь в это время с другими королями чай пил. „Господа короли,— сказал он,—об'ясните мне, пожалуйста, как вы вашу чернью землею ублаготворили? Я сам чином млад и против сената ничего сделать не могу“.

— Очень просто, — отвечал один из королей. Было нас два брата. Брат помер, а я землю его черни отдал, сенату же сказывать не велел. Так они ее и доселе пашут.

Слышит то Константин Константинович и думает: „дай и я попробую“:— Мужички,—говорит,---есть у меня в Харьковской губ. 18,000 десятин. Пашите, только меня, братцы, не выдавайте, а то сенат по головке не погладит.

Поблагодарили мужички. Вернулись к себе, сохи наладили и пошли в великорусскую экономию. Только что пахать начали, как откуда взялся приказчик княжеский (тоже князь): „Кто, спрашивает, вас, православные, сюда послал?“—Да сами надумали, вашескородие,—отвечают.

Тут он их гнать! Они же, знай, пашут. Тогда позвали войско, и началось побоище великое: 800 генералов убили и 1500 мужиков. Такого большого кровопролития Россия сама судить не может, а судьями будут 9 королей.

Услыхал царь, испугался, а царица и говорит: — У моего папаши никогда таких скандалов не бывает, потому что он чернью ублаготворил. Ублаготвори и ты свою. Перебить же ее никак невозможно: кто нас тогда кормить будет? да и другие державы придут—нас с царства сгонят.

Делать нечего. Пошел царь в сенат. „Господа сенаторы,—говорит,— черня моя с голоду бунтует, у господ же земли излишek. Издайте указ, чтобы землю ту отобрать и ею чернью ублаготворить. Вам же она по 7 десятин на душу на прокормку нарежет.

А у сенаторов у самих излишек земли зацапан. Расстаться-то им с нею не охота. Вот они в просьбе царю и отказали.

— В таком разе,—говорит царь,—подписывайте указ, чтобы на три года суда не было.

Если сенат тот указ подпишет, царская фамилия вся сейчас в чужие страны уедет, а в России будет резница страшная, потому три года суда не будет, и черня, значит, делай что хочет. И порежет она господ: больно уж от них натерпелась и против них озлобилась! И дойдет она до самого сената, разнесет она его по бревнушку и возьмет оттуда казну свою.

Вот и ждем теперь, какой из указов сенат подпишет, а чтобы задержки не вышло, российские все мужички, говорят, такое удостоверение царю послали: „ваше царское величество! не затем мы тебе сынов своих даем, чтобы ты в нас голодных, отцов их, стрелять им велел, а затем, чтобы землю нашу от врагов защитить. Не будет тебе отныне ни одного рекрута, пока нас землею не ублаготворишь. Чем нам под тобою с голоду дохнуть, пусть лучше придут другие державы и нас заберут. Может быть, они сходнее тебя будут“.

(Записано в слободе Нальчик, Терской области, со слов ходока-крестьянина).

Студенческие годы.

(Продолжение¹).

„Фричи“.

После разгона цюрихских студенток, многие из них вернулись в Россию, чтобы приступить к социалистической пропаганде в народе. Хотя цюрихские социалистки отнеслись очень серьезно к своей будущей деятельности, они все же совершенно отвергали ту многосложную научную подготовку к ней, которую рекомендовало „Вперед“. К тем, кто принимал ее всерьез, многие относились даже с иронией и были заранее уверены, что готовящиеся так долго, никогда не перейдут к делу и из них выйдут или болтуны, или кабинетные люди, но никак не практические деятели. Те, которые уезжали, пробыв год-полтора в Цюрихе, считали себя уже достаточно подготовленными для того, чтобы приобретенные знания передавать народу.

По этому поводу перед разъездом, в Цюрихе была выпущена даже карикатура, автор которой остался неизвестен. На этом летучем листке был изображен ряд карет, из которых выглядывали молодые женские лица. Улыбаясь и кивая головками, они кричали: „Мы готовы!“ „Мы готовы!“ А надпись вверху гласила: „В народ!“....

На деле же это были хорошие вдумчивые люди: Глушкина, Блинова, А. Розенштейн (теперешняя жена птальянского социалиста Туратти); вместе с двумя братьями Жебуневыми и Макаревичем они составляли один кружок; к ним примыкала Завадская, много лет спустя кончившая в Женеве самоубийством. Уехали также: Смецкая, Ваховская, Потоцкая, Лаврова, Мачтет, принадлежавшие к компании Бремершлюссельских бакунистов, и многие другие. Все названные лица, по приезде в Россию, соединились со своими тамошними друзьями и единомышленниками и тотчас-же стали на практическую дорогу. Вскоре все они были или арестованы и привлечены по делу 193-х, или принуждены скрыться.

Из трех сестер Субботиных, две тоже вернулись на родину, а старшая, пробыв некоторое время в Париже, переехала в Женеву, чтобы потом отпрасться в Россию для той же социалистической работы.

¹) См. „Голос Минувшего“. № 1 за 1923 г.

И остальные „Фричи“ не переставали думать о практической деятельности в народе. Еще до разъезда из Цюриха они составили небольшую программу и устав, формально закрепившие их ранее безмолвно заключенный, маленький союз. Этот документ формулировал в общих выражениях социалистическую цель организации и пути осуществления ее. Эти несколько параграфов, как они остались у меня в памяти, были точным списком с организационного устава швейцарских секций Интернационала. Бледная и неопределенная копия, совершенно игнорировала русскую жизнь с ее условиями политического строя и экономического быта. Да разве кто-нибудь из нас, молодых студенток, мог действительно знать свою родину? Только что кончив гимназию или институт, мы попали за границу в совершенно чуждую для России обстановку свободного государства и зажили в ней, как в родной стихии. Я уже говорила, что все, что мы видели, о чем слышали и узнавали из западно-европейских условий и отношений,—все воспринималось нами, как совершенно применимое к русской жизни, к русской деревне, к русской фабрике, к крестьянину Поволжья и рабочему Иваново-Вознесенска. И этот взгляд, совершенно отрешенный от всего родного, русского, не мог не отразиться, наивно и простодушно, на том первоначальном наброске, который был выработан и принят кружком „Фричей“, и этот случай типичен, потому что на ряду с чайковцами, „Фричи“ являются одним из самых лучших кружков, действовавших в России.

После принятия устава, дальнейшим шагом должна была явиться практическая деятельность— осуществление программы. И решимость эта слова перейти к делу все более созревала: в Париже — у Бардиной, Л. Фигнер, Александровой, Тумановой, а в Берне — у Каминской, и двух Любатович. Самым жгучим вопросом — был вопрос о том, в какой форме, по возвращении в Россию, надо действовать в народе? От того или иного ответа зависело, оставаться ли в университете и продолжать ученье, или оставить его. Демократическое учение, воспринятое в Цюрихе, указывало, как было уже сказано, что для приобретения доверия народа и успеха пропаганды среди него, надо стать в положение одинаковое с ним. Надо „опроститься“ — заниматься физическим трудом, пить, есть и одеваться, как народ, отказавшись от всех культурных привычек и потребностей. Только при этом условии можно сблизиться с народом и найти в нем отклик на слово пропаганды. Но и помимо этого, ведь только физический труд, чист и свят, только предаваясь ему, не являешься эксплоататором. Чтоб быть последовательным, чтоб быть верным идеи — остается лишь один выход — самим стать физическим работником.... Так, и с практической и с принципиальной точки зрения надо было оставить университет, который приводил к докторскому диплому; и, отказавшись от привилегированного положения, идти на фабрику или завод в России.

„Фричи“, так и решили: они оставят университет — студенческие заявления им более уже не нужны; они вернутся в Россию и станут на работу, как простые ткачики или прядильщицы.

Действительно, через год после отъезда из Цюриха, „Фричи“ отправились в Россию. Это было в 74 году, и с тех пор я уже не видела их

свободными, так как осталась за границей. Но раньше, чем уехать, организация „Фричей“ численно увеличилась. В Париже и Женеве первоначальные члены кружка, состоявшего исключительно из женщин, познакомились и сблизились с кружком кавказцев. То были: Джабадари, Чикондзе, кн. Цицианов, Зданович, а впоследствии Карташев и Гамкрелидзе. Единство цели и общность идеалистического настроения привели оба кружка к мысли действовать сообща и они слились в одну общую организацию, при чем приток мужского элемента имел наилучшие последствия, так как внес больше практичности в план деятельности и способствовал тому, что переработанный уже в России устав так называемой „Московской организации“ явился, можно сказать, первым образцом стройного объединения на началах солидарности и дисциплины¹⁾.

По приезде в Россию „Фричи“ застали общий революционный разгром: „ходившие“ в народ, теперь „сидели“ в казематах, рассыпанных по всей России. Прошаганда в 36 губерниях, о которых говорила знаменитая записка министра юстиции, графа Палея, смолкла. До 2000 участников и лиц, так или иначе причастных, если не к делу пропагандистов, то к их личности, были привлечены к следствию. Неслыханное дотоле количество арестов волновало культурное общество и всех тех, кто уцелел от „избиения младенцев“, как потом называли богатый улов среди молодежи, сделанный жандармами в 73—74 годах.

Петербург в эти годы оставался центром деятельности Чайковцев, уцелевших после общих арестов. Но в Москве их организация была слаба даже в период расцвета, как это можно видеть из правдивого рассказа Н. Морозова, который еще гимназистом был привлечен именно в эту группу чайковцев. (См. „Повести моей жизни“ Морозова т. I, изд. „Задруги“. М.). Теперь же в Москве было совсем пусто. Поэтому „Фричи“ и выбрали ее своим местопребыванием. Их план заключался в том, что двое-трое из них останутся в этом городе, в качестве администрации, для ведения общих дел организации. Остальные-же члены разъедутся по разным промышленным центрам и поступят на фабрики и местные заводы вместе с теми рабочими, которых им удалось разыскать в Москве, уже распропагандированными прежними деятелями.

Кроме самой Москвы для пропаганды были намечены: Киев, Одесса, Тула, Орехово-Зуево, Иваново-Вознесенск. В деревню не предполагали забираться: женщинам там трудно было бы устроиться в качестве работниц, кроме того, члены кружка имели совершенно определенный план распространения социалистических идей в крестьянстве посредством фабричных и заводских рабочих, уже захваченных пропагандой. Если еще и теперь множество рабочих уезжает раза 2—3 в год на побывку в деревню, на праздники, в родные семьи, или покидает промышленные центры ради полевых работ, то в начале 70-х годов это явление было заурядным.

¹⁾ Известно, что до этого социалистические группы пропагандистов имели довольно широкую организацию, что конечно же мешало тому, что некоторые из них, в особенности чайковцы, действовали и без устава чрезвычайно дружно и успешно.

и рабочее население то приливало в промышленные заведения, то отливало, рассыпаясь по деревням и селам. „Московская организация“ думала воспользоваться этим постоянным обменом между городом и деревней. Рабочие, завербованные пропагандистами, уезжая в деревню, должны были вносить в нее новые идеи и распространять революционную литературу, бывшую тогда в обиходе.

Первая типография для издания революционных книг для народа была устроена чайковцами за границей. Первоначально ею заведывал Александров; но в 72 году, когда мы приехали в Цюрих, он уже был отстранен чайковцами и типографией, перенесенной в Женеву, управлял Лазарь Гольденберг. Транспорт, благодаря члену кружка чайковцев—Зувделевичу, был поставлен отлично и пропагандисты в России никогда не испытывали недостатка в нужном материале. Я не знаю на каких условиях чайковцы снабжали другие организации изданиями своей типографии и помогали-ли им эти организации нести расходы по печатанию и перевозке. Верно одно,—что все организации широко пользовались книгами, выходившими из рук Гольденberга, всецело посвящавшего себя их изданию. Кроме общизвестных брошюр и книг, выпущенных этой типографией и имевшихся в распоряжении „Московской организации“: „История одного крестьянина“ — переделка книги Эркмана-Шатриана; „Сказка о четырех братьях“; „Сказка о копейке“; сказка „Мудрица Наумовна“; „Хитрая механика“ и другие. Московская организация поддерживала деньгами и считала своим органом газету „Работник“, издававшуюся в Женеве двумя бакунистами: Ралли и Эльсицием.

Мысль распространять социалистические идеи в крестьянстве через рабочих была бы удачной, если бы книга могла идти ходко среди сельского населения. Если среди промышленных рабочих человек грамотный был редкостью, и пропагандистки, как Бардина и Каминская в Москве, на фабриках читали революционные книжки рабочим вслух, а весьма способный Николай Васильев, рабочий, судившийся вместе с „Фричами“, научился грамоте только в тюрьме, то тем менее читателей можно было найти среди неголовно безграмотных крестьян. Школьный бюджет земских губерний был тогда ничтожен, школы—очень немногочислены; иногда целые волости были лишены их. Но истинное положение деревни было нам совершенно неизвестно—для этого надо было жить в ней, а не в Цюрихе или Париже. Даже и по книгам не было возможности изучить положение вещей, получить те или иные необходимые сведения. Русская статистика—эта гордость русского земства—еще не существовала или только что пробивалась на свет божий, да, признаться, ни одной из нас и в мысль не приходило задать себе вопрос: а каков процент грамотности в нашем отечестве? Конечно, если судить по теперешнему масштабу, то и самое количество революционных изданий для народа было незначительно, но тогда и мера, и вера были особенные и дозволяли и с малыми средствами надеяться на громадные результаты¹⁾.

¹⁾ Издания не превышали 1—2 тысяч экземпляров.

Итак, прежде всего „Московская организация“ хотела заняться пропагандой среди промышленных рабочих и уже через них воздействовать на народ, крестьянство, путем пропаганды устной и литературной.

После подготовки почвы путем пропаганды устав предлагал поднятие местных бунтов, которые потом разлились бы в общенародное восстание.

Но не только до бунта и восстания—дело не дошло даже до опыта проведения социально-революционных идей в крестьянство через посредство городских рабочих, которых крестьяне слушали бы охотнее и с большим доверием, как плоть от плоти и кровь от крови своей. На первой же стадии деятельности в городах на фабриках—все крушилось.

В качестве администрации в Москве были оставлены: кн. Цицианов и Вера Любатович, а на фабриках работали: Бардина, Каминская и одновремя моя сестра Лидия. Пропагандой и раздачей книжек занимались также Джабадари, Чикондзе, А. Лукашевич и несколько рабочих, завербованных раньше: Петр Алексеев, Иван Соузов, Николай Васильев и некоторые другие. В провинцию отправились: Ольга Любатович—в Тулу; Хоржевская (дюрихская студентка, впоследствии жена Ф. Волховского)—в Одессу; Топоркова, В. Александрова, моя сестра Лидия и рабочие: Семен Агалов и Филат Егоров—в Иваново-Вознесенск.

Но эти вачивания быстро обрывались. Бардина и Каминская, как раньше Л. Фигнер, с фабрик должны были скрыться: появление молодых изящных барышень, переодетых в деревенских девушек, не могло не обращать внимания в непривычной обстановке фабричного заведения. Все их поведение было необычно; маленькие нежные руки не умели работать: 10—12 часовой труд в антигигиенической мастерской, когда Каминской, напр., приходилось возиться на писчебумажной фабрике с грязным тряпьем, с непривычки утомляя сверх сил; уровень их товарок по работе был слишком низок, чтобы заниматься пропагандой среди них. Переодетые работницы, вопреки обычью и прямому запрету фабричной администрации, ходили в мужскую рабочую казарму. Там они старались заинтересовать рабочих книжками, предлагали им направо и налево, но так как грамотных было очень мало, то прибегали к чтению вслух. В полуутемной, грязной и вонючей казарме, одинокая молодая чтица, окруженная слушателями из тех, кто не поспешил завалиться спать, разумеется, была чем-то выходящим из ряда вон. Так как тут не допускались ни шуточки, ни фривольность, то для массы появление пропагандисток казалось загадочным и непонятным. Полное незнание фабричных распорядков не раз вовлекало их в беду. Так, уходя в праздник с фабрики, барышни уносили в своих мешках имевшиеся у них революционные издания. Нельзя же было оставить их в сундучке в казарме, где их могли найти при обыске или другой случайности. А между тем при выходе мешки-то работниц и подверглись осмотру. Такой случай произошел с моей сестрой на фабрике Гюбнера, где она работала до отъезда в Иваново-Вознесенск: еле-еле она унесла ноги после того, как фабричный сторож хотел задержать ее.

Уже в самом начале 75 года московская группа была арестована. После того, как 29 марта был взят рабочий Николай Васильев, хотя

неграмотный, но очень искусный и энергичный агитатор, его сожительница Дарья указала жандармам квартиру, на которой сразу были арестованы: Бардина, Каминская, Петр Алексеев, Джабадари, Чекоидзе, А. Лукашевич и Георгиевский.

Затем с мая по сентябрь 75 года были арестованы члены организации, находившиеся в Иваново-Вознесенске, Туле, Киеве и члены „администрации“, оставленные в Москве.

В Иваново-Вознесенске арест всей группы произошел вскоре после того, как на фабрике нашлась работа. Все приехавшие жили вместе, артелью, налив маленькую квартирку, в каких обыкновенно селятся рабочие. Нашла ли полиция что-нибудь подозрительное в них, или какоенибудь попавшееся письмо навело на след, только жандармы нагрянули и захватили всех. Нашли у них революционную литературу. Моя сестра Индия, чтобы выгородить товарищей, тут же объявила, что вся эта нелегальщина принадлежит ей. За это, по первоначальному приговору, она получила пять лет каторги. Но так как все остальные проживали в Иваново-Вознесенске по подложным паспортам, то и они получили соответствующее драконовское возмездие.

Если в Москве жена арестованного рабочего, думая спасти его, привела полицию на квартиру членов организации, то нечто подобное произошло и в Туле: подруга одного местного рабочего—Ковалева, предполагая измену своего возлюбленного, допесла в полицию и привела жандармов в квартиру О. Любатович, имевшей дело с Ковалевым.

Потом с грохотом погибла в Москве и „администрация“ московской организации, при чем кя. Цицианов оказал вооруженное сопротивление, первое в истории революционного движения 70-х годов. Цицианов и В. Любатович жили в номерах и по тогдашнему совершенно не конспиративно. У них был склад литературы, паспортное бюро со всеми атрибутами: тут мыли паспорта хлорной известью, наполняя комнаты удущившим запахом хлора; на столе мастерили фальшивые виды на жительство, а в столе хранили печати, краску и обширную переписку. Множество народа ходило то за тем, то за другим на эту квартиру. Деньги организации хранились тут же, чтоб по мере надобности выдаваться и рассыпаться, кому и куда следует. Эти суммы были очень значительны и их великодушным источником были Субботины, которые все свое большое состояние отдали в распоряжение организации, к которой принадлежали. Насколько крупны были наличные суммы, которыми располагала организация, показывает факт, что у Карташева, арестованного в квартире Цицианова, было взято 10.000 руб., ассигнованные для одного порученного ему дела.

Почти в то же время были арестованы на юге Хоржевская и Зданович, взятый на вокзале, куда он пришел, чтоб получить транспорт литературы. У него был найден полный текст программы и устав организации, которые потом фигурировали на суде.

Конечно, приехав из-за границы в Москву и разъехавшись в разные города, члены революционной группы не оставались изолированными и входили в сношения с разными лицами. Рвение жандармов тщательно

подобрало все нити; иногда действительно нападая на след тех, кто был прикоснувшись к делам московской организации; в других же случаях искусственно связывая с ней людей совсем непричастных. Так возник уже упомянутый мной процесс 50¹), в котором участвовало двенадцать цюрихских студенток. Каминская не была предана суду, так как во время предварительного заключения заболела психическим расстройством. Ходил слух, что тихая меланхолия, которой она страдала, не избавила бы ее от суда, если бы не 5.000 руб., которые ее отец дал жандармам. После осуждения товарищей, Каминская, желавшая разделить с ними одну участь, отправилась спичками.

Новые знакомства.

Когда среди „Фричей“ решался вопрос о форме, в которой надо действовать среди народа, и решался в смысле необходимости стать в положение физического работника—я оказалась отщепенцем. Но прежде, чем решиться и сказать, что на это я не пойду и университета не оставлю, мне пришлось пережить тягостный период колебаний и душевной дисгармонии.

Нужно ли было, во что бы то ни стало, стать фабричной работницей? Надо ли отказаться от положения, от всех привычек и вкусов интеллигента? Честно ли не опроститься до конца, надеть сарафан и лапти, или, покрывшись платочком, идти теребить вонючее отвратительное тряпье на писчебумажной фабрике? Честно ли занимать место врача, хотя бы и занимаясь социалистической пропагандой? Честно ли, наконец, заниматься медициной, оставаясь студенткой, когда другие, тут же рядом, такие же женщины культурного класса, как и я, бросают университетскую науку и решаются ради великой цели опуститься на дно социальной жизни?:

Я чувствовала всю красоту последовательности и искренности моих друзей и сознавала, что они делают самое лучшее, самое высокое, на что может решиться человек. И меня мучило, что я не решалась, не хотела стать работницей. Я столько лет стремилась в университет и работала в нем. Так сжилась с мыслью, что буду доктором. И если мои планы земско-культурной деятельности сменились целями социалиста-пропагандиста, то прежняя форма деятельности, внешняя оболочка ее, оставалась для меня желанной. Жизнь работницы казалась мне ужасной, невозможной! Перед перспективой ее я останавливалась. Но у меня не хватало тогда мужества сказать прямо: „Я не хочу!..“ Было стыдно признаться в этом, и я сказала: „не могу!“ Оказались, конечно, и доводы: „сил физических не хватит“.

„Зачем же, говорила я, непременно всем идти на фабрику? В качестве социалиста можно действовать и в другом, не столь демократи-

¹) Леруа Белье, осведомленный о процессе, посвятил участникам его несколько лестных отзывов в своей книге о России.

ческом положении.. Если земский врач может казаться барином, то и неужели фельдшер—тоже барин, далекий для населения? Я учусь и буду учиться не для диплома, а для приобретения знаний. Приобретя их, можно и не занимать места врача, а служить в земстве фельдшерицей, знание же принести в деревню надо полное“.

Надо заметить, что хотя многие из „Фричей“ держались взглядов самых крайних, и все мы, будто щеголяя друг перед другом, выбирали себе героями самых непримиримых деятелей великой французской революции, при чем одни увлекались Робеспьером, а другие не хотели помириться на меньшем, чем „Друг народа“—Марат, требовавший миллионы голов, однако кружок не отличался нетерпимостью по отношению к индивидуальным мнениям своих сочленов. Относительно формы деятельности и срока, когда надо приступить к ней, в первоначальном уставе не было ничего общеобязательного, и, когда большинство „Фричей“ решили уехать из-за границы, чтоб приступить к практическому делу, а я и Аптекман остались продолжать курс, мы не услышали ни одного слова порицания, не увидали никаких признаков неодобрения. Однако, с момента их решения и отъезда мы, две оставшиеся, оказались совершенно отрезанным ломтем; все переговоры с кружком „кавказцев“, объединение с ними, окончательная выработка общей программы и устава, сношения с издателями „Работника“ происходили без нашего ведома, так что я узнала обо всем этом уже после того, как сама уехала в Россию.

После того, как из Берна уехали две Любатович, Каминская, а потом и Хоржевская, я поселилась недалеко от старого университета в небольшом отеле „Zum Bären“, где кроме меня, жили еще некоторые студентки. В это время зимой 74 года завязалось мое знакомство с двумя лицами, жизнь которых впоследствии не раз переплеталась с моей: это были Николай Александрович Саблин и Николай Александрович Морозов. „Фричи“ поехали в Россию, когда большая часть из тех, кто „ходил в народ“, была арестована и из России уже шел поток свежей эмиграции из лиц, потерпевших крушение. Наиболее заметными из покинувших Россию были Чайковцы. Кравчинский, Клеменц, близкие им Иванчин-Писарев, М. Лешперн поселились в Париже; сам Чайковский, обратившись в „богочеловека“, отправился в земледельческую колонию в Америку вместе с Клячко и двумя дамами, учившимися до этого в Берне; Аксельрод остался в Женеве, а в Берн приехали Грибоедов и Саблин. Морозов, которого с трудом друзья уговорили отправиться хотя бы на время в безопасное место, перешел границу вместе с Грибоедовым и Саблиным, но местопребыванием своим выбрал Женеву. Случилось так, что Грибоедов и Саблин поселились в том же отеле, где жила я, и через кого-то из студенток я познакомилась с ними. Вскоре мы стали друзьями.

Николай Алексеевич Грибоедов был шестидесятник, лет на 10 старше меня, друг Гл. Ив. Успенского и доктора Веймара, осужденного позднее по делу Соловьеву. Каждый десяток лет кладет свой отпечаток на поколение, вступающее в жизнь в этот десяток, и между людьми 60-х и 70-х годов была целая пропасть по отношению к истории развития, психиче-

скому укладу и общественным навыкам. И хотя Грибоедов был революционером, как им был и его друг Орест Веймар, они как то несливались вполне с нашим поколением. В общественных отношениях, или лучше сказать в организационных, они были индивидуалистами в сравнении с нами. Тогда как мы, революционеры 70-х годов, стремились к коллективности и подчиняли свою личность коллективу, желая действовать сокрутыми рядами, Грибоедов, Веймар и другие, принадлежавшие к их поколению, стояли среди нас одиночками; они не были членами организаций и не участвовали в нашей ежедневной революционной работе. Невозможность полного слияния, быть может, зависела и от возраста, как такового, от неосознанного отношения старших к младшим и обратно: чуть-чуть иронического со стороны первых и, быть может, чуть-чуть победоносного со стороны вторых, по самому времени ушедших дальше вперед.. Во всяком случае, эти более старшие стояли как-то в стороне, хотя и близко, и не входили в гущу ежедневных забот и тревог более молодых революционеров. И Грибоедов, и Веймар, с которым я познакомилась уже в России, были людьми необыкновенной смелости. Ни перед каким отдельным рискованным предприятием они не остановились бы. Но это было революционное ушкайничество, набег. Отбить арестованного, принять участие в риекованном побеге, как это было у Веймара в побеге П. А. Кропоткина, вот поприще для выявления их революционной энергии. На мелочную работу конспиратора или пропагандиста они были решительно неспособны и, не отказываясь ни от каких услуг друзьям-революционерам, членами тайных сообществ и кружков они не состояли. Грибоедов и Веймар, не прочь были хватить рюмочку, что уже совершенно не входило в нравы нашего поколения, и в Петербурге я с великим удивлением слышала рассказы Веймара и Грибоедова оочных похождениях с испровержением, в подгулявшем виде, фонарных столбов и полицейских будок.

Саблин был года на два старше меня. Среднего роста, шатен с правильными чертами лица, он был красив и отличался крайне веселым нравом. Он, можно сказать, никогда не был серьезным и постоянно шутил. Это даже неприятно поражало каждое молодое ухо: постоянные каламбуры, стишк собственного и чужого производства, анекдоты и остроты—все это было хорошо изредка, при случае, в веселой компании. Но каждый день и каждый час бывало неприятно как мне, так в особенности Морозову, который признавался мне в этом. Благодаря этой черте характера, Саблин проигрывал, казался легкомысленным и поверхностным: шутки мешали разглядеть его внутренний духовный мир. А в нем несомненно была глубина и был элемент трагизма, как показал конец его жизни. Человек он был талантливый; его поэма „Малюта Скуратов“, которую он читал мне в рукописи за границей, была потом напечатана без его подписи в „Работнике“ и вновь появилась, уже в новейшее время, в „Былом“ заграничного издания. Она производит сильное впечатление и носит печать недюжинного дарования. К сожалению, он вовсе не работал дальше в этой области. Когда происходили приготовления к покушению 1-го марта, Саблин настоятельно требовал у Исполнительного Комитета самой ответствен-

ной роли и не его вина, что Комитет ошибочно остановился на Рысакове, считая его вполне пригодным и вместе с тем желая сохранить Саблина. Но, когда после ареста Рысаков раскаялся, выдал все, что знал и указал квартиру Саблина и Гели Гельфман, ту квартиру, на которой он получил бомбу, то Саблин, не желая сдаться, покончил с собой выстрелом из револьвера. И это не было мгновенным решением: Саблин обдумал и решил это наперед, как я знаю это от лиц, близко стоявших к нему в то время: он знал, что делал...

Однажды, когда мы жили в отеле „Zum Bären“, Саблин вошел ко мне в комнату со словами: „Поедемте в Женеву! Надо же, наконец, показать вам нашего Морозика“.

Сказано-сделано. Я столько слыхала о Морозове от двух друзей его, что не могла отказаться от предстоявшего удовольствия.

Мы приехали в Женеву и явились в Hotel du Nord, где в то время жил мой будущий друг, Николай. Саблин провел меня в какую-то большую, пустынного вида комнату, которая показалась мне совсем необитаемой: мебель была сдвинута к одному месту; за ширмами стояла кровать без подушки и одеяла, а воздух нетопленного неуютного номера леденил кровь. Гостинница была, должно быть, не из важных. Сбросив теплое платье, мы двинулись наверх. Там, в маленькой комнатушке, в которой стоял такой же смертный холод, как и внизу, на диване сидел, посиневший от стужи, юноша, уткнувшийся в какую-то, должно быть, очень интересную книгу... Морозов встал, высокий, тонкий, с характерно вытянутой несколько вперед головой. Красивый румянец ясно говорил, что ему всего 20 лет; милые детские губы чуть-чуть прикрывались темными усицами, а из-за очков смотрели ласковые и кроткие карие глаза. Кажется, достаточно было нам взглянуть друг на друга, чтобы объединиться во взаимной симпатии. Ну, право,—мы с первой минуты стали друзьями—и павсегда.

Нельзя было не полюбить Морозова, этого искреннего, детски-доверчивого мальчика, беспредельно преданного революции. В нем не было ничего личного, и весь он был—идеалистическое стремление к самоусовершенствованию на пользу революционного дела. Мне было 22 года, но в сравнении с ним я чувствовала себя много, много старшей и с нежностью сестры или даже с чувством матери всматривалась в его духовную личность. Морозов, по натуре любящий и мягкий, как-то естественно тяготел к обществу женщин. В Женеве он подружился со студентками с Кавказа и охотно пребывал в цветнике из Гурамовой, Като Николадзе и Церетелли. На этот счет Саблин не замедлил сочинить стихотворение, очень смешившее нас, так как в легких рифмах оно подшучивало над одиноким сердцем юноши, тоскующего по кавказским барышням поочередно.

Там фигурировали строки:

,Все фибры сердца мыли—
Здесь нет Гурамишвили!....“

А далее:

„Шумели ели
Здесь нету Церетелли!“

И, наконец, в отчаянии —

„Ах, вет! Не то—
Здесь нет моей Като!“

На ряду с нежным общением с милыми барышнями Морозов тотчас же окунулся в окружающую жизнь: бегал на собрания секции Иатернационала, конспирировал с редакторами газеты „Работник“, писал, как и Саблин, статейки для этого издания.

Кроме того, ходил в университет и очень много читал.

В его характере и взглядах было еще много детского, но его наивные признания не вызывали во мне смеха, как это было у Саблина; напротив, они трогали; оттого он был со мной откровеннее, чем с вечно подшучивавшим товарищем. Помню, в один из приездов Морозова ко мне в Берн, во время какого-то разговора, он, в порыве самообличения, с серьезной грустью жаловался на слабость воли: „Никак не могу победить себя,—говорил он,—люблю фрукты!..“

А истинный революционер, конечно, ведь должен быть выше всяких слабостей и пристрастий к земным благам...

С тем же желанием победы над плотью и стремлением закалить себя он в Женеве не тратил денег на отопление комнаты и терпел стужу, а костюмом пренебрегал настолько, что, как только он являлся ко мне в Берн в гости, я спешила купить ситцу, чтобы сшить ему рубашку, а старую сжигала в печке.

Романтизм и мечты о подвигах были в этот период столь же свойственны ему, как и в раннем детстве, о котором он писал в своей книжке „В начале жизни“.

„Революционеры должны завести свой корабль, который будет пловучей революцией“, поверял он мне свои мечтанья. „Надо организовать военный отряд, какой был у Гарибальди, посадить его на корабль, и пусть он идет на водах океана, всегда готовый спустить десант в той стране, где надо защищать свободу и справедливость“.

О критическом отношении к результатам хождения в народ и к собственным похождениям этого рода, как это выражено впоследствии „В начале жизни“, он в то отдаленное время мне не говорил, как не было речи и об иной, новой постановке революционного дела в России. Об этом, вообще, тогда еще не думали, а сам Морозов, при возвращении в Россию был арестован и оставался в тюрьме до начала 78 года, когда уже в течение двух лет действовало общество „Земля и Воля.“ Весной 75-го года, проведя в Швейцарии всего несколько месяцев, Морозов стал тосковать и рваться в Россию. Видя его серьезное желание снова стать на революционную работу, я снабдила его деньгами на дорогу. Так как и Саблин решил уехать, то они отправились вдвоем. Но на границе им не посчастливило. Предал ли их контрабандист, переводивший их, или при ожидании поезда на пограничной железнодорожной станции фигуры двух красивых молодых интеллигентов в не совсем обычном костюме и широкополых студенческих шляпах обратили внимание жандармов,—только они были арестованы и, по выяснению личности, препровождены в Петербург, где спустя почти три года их обоих судили по процессу 193-х.

Когда по возвращении в Россию я посещала Дом Предварительного заключения для свиданий с сестрой Лидией, мне пришла мысль, не могли я повидаться и с Морозовым.

Свиданья с заключенными давал товарищ прокурора Гогоберидзе, про которого говорили, что, если его хорошенко попросить, то он отказать не сможет. Вот я и обратилась к нему, и он тотчас же распорядился, чтоб меня провели прямо в камеру Морозова. Для меня и еще более для него это было совершенно фантастическое приключение. Морозова никогда никто не посещал в тюрьме: после того, как он скрылся и порвал с родными, разгневанный отец не хотел его знать, а многочисленные сестры не одерживали с ним сношений. Заботились о нем в Петербурге только его друзья—сестры Корниловы, благо тюремные порядки передач допускали это.

Меня ведут запутанными коридорами, отпирая кое-где железные решетчатые ворота. Вот щелкнул замок одной из многочисленных темных дверей—я вхожу, и тотчас за моей спиной дверь запирается на ключ. И я, которую Морозов оставил за границей два года назад, я, о возвращении которой в Россию он и не подозревал, видеть которую не ожидал, и если видел за это время, то только в сновиденьях—я стою перед ним наяву, в его камере, без свидетелей, наедине. Он поднимается с койки, на которой спел с книгой: милое круглое лицо опало, румянца нет, но он все тот же прелестный Морозов с детскими сияющими кроткими глазами...

Обнявшись, мы проводим, сидя на койке, наш час и полуушопотом передаем друг другу все, что с нами было за время разлуки, и делимся планами на будущее.

Мы слышим, как в замочную скважину вкладывается ключ... „Прощай Морозик!“.... „Прощай Верочка...“ и мы расстаемся.

После этого я встретилась с Морозовым уж по окончании процесса 193-х, когда он был выпущен на свободу. Он тотчас же вошел в тот революционный землевольческий кружок, в котором, кроме меня, членами были: Иванчин-Писарев, Юрий Богданович, Александр Соловьев, Марья Павловна Лешрен и моя сестра Евгения. Сделавшись „нелегальным“, чтобы избежать административной ссылки, которой подверглись другие освобожденные после процесса, Морозов после этого уже не разъединялся со мной в своей политической карьере: вместе мы были землевольцами, оба были членами Исполнительного Комитета Народной Воли. Весной 80 года он уехал за границу, предполагая пробыть там некоторое время, но когда осенью того же года при возвращении переехал русскую границу, был, как и в первый раз, арестован. 15 февраля 82 г. его судили вместе с Сухановым, Ал. Михайловым и другими Народовольцами, когда я еще оставалась на свободе. Но в 84 году в Шлиссельбургской крепости, куда меня привезли после суда — произошла наша невидимая встреча: Морозов оказался хотя не рядом, но внизу, по соседству с моей камерой, и был моим первым и вначале единственным соседом. Он же был и последним, когда через 20 лет, при выходе из Шлиссельбурга, я покидала камеру, бывшую бок о бок с ним. А моим другом он был всегда, от первой встречи и до последнего дня.

Надо решаться.

Осенью 75 года я была уже на седьмом семестре медицинского факультета, и так как по учебному плану их полагается девять, то через год надо было приступать уже к работе над диссертацией. Но тут произошел решительный перелом моей жизни.

Кажется, в ноябре за границу приехал член, а, компетентные товарищи говорят, даже основатель кружка Чайковцев—Марк Андреевич Натансон. В период расцвета деятельности этого кружка Натансон не мог принимать в ней участия, потому что в самом начале был выслан административно сначала в Екатеринослав, а затем переведен в Финляндию, где находилась семья его жены, Ольги Шлейнер (ум. в 81 г.). Только в 75 году Натансон вернулся в Петербург вместе с женой и застали они там запустение: одни из Чайковцев, самые многочисленные, находились в тюрьме, другие эмигрировали за границу. Настоятельной задачей являлась реорганизация революционных сил, и Натансон задался целью подобрать и объединить все, что уцелело от разгрома. Однако, он думал не только разыскать и связать между собою всех, кто был причастен кружку Чайковцев в Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и Одессе. Его планы были шире. Пострадали от арестов и рассеялись все другие революционные кружки, действовавшие на пространстве России в период „хождения в народ“. Объехать все значительные города, повидать не только Чайковцев, но и уцелевших членов всех других кружков, переговорить с ними и из разрозненных сохранившихся элементов создать единую всероссийскую организацию с общим центром в Петербурге — такова была задача, поставленная Натансоном. Задача колossalная и достойная усилий. Недаром, шутя, Натансона, даже звали Иоанном Калитой, собирателем земли русской. Но этот план, несмотря на старания Натансона, обхваченного провинцией, не удалось привести в исполнение. Идея объединения революционных сил еще не имела власти над умами. Все, кого Натансон находил в больших городах, по тем или другим причинам думали оставаться на своих местах, и мысль о едином центре, в состав которого вошли бы наиболее энергичные элементы из всех главных пунктов, не нашла себе отклика. Эта мысль была удачно осуществлена только 4 года спустя, когда из элементов, накопленных в предыдущий период, состоялся Исполнительный Комитет Народной Воли, и сосредоточив все силы, предпринял централизованную борьбу с самодержавием, как того требовали условия времени и настроения.

Но, если провинция не оправдала надежд на объединение, то в Петербурге, казалось, возможна удача. Дело в том, что в Петербурге, несмотря на общий крах, сохранилось ядро Лавристов, богатое интеллигентными силами и энергично работавшее среди рабочих. Натансон хотел, чтобы эти Лавристы соединились в одну организацию с Чайковцами. В этом смысле велись продолжительные переговоры между главарями обоих кружков (Гинзбург и Таксис, с одной стороны, Натансон и Драго с другой). Договор, объединявший их, был, наконец, заключен; но различие темпе-

ментов и расхождение в методах работы сделали это слияние кратковременным: после опыта 2—3 месяцев Лавристы и Чайковцы разошлись и каждая группа пошла своей дорогой. Первые были слишком осторожными пропагандистами, тогда как товарищи Натаансона были более склонны к агитации: идти пога в ногу те и другие не могли.

В организационные планы Натаансона входила не только русская провинция, он надеялся вернуть в Россию тех выдающихся революционных деятелей, которые перекочевали на Запад. Для этого он отправился за границу, побывал в Лондоне, в Париже, везде вел переговоры, делал предложения и приглашал вернуться на родину, чтобы встать на работу.

Приехал он и в Швейцарию.

Отыскав меня и Аптекман, он описал печальное состояние, в котором в тот момент находилось социалистическое дело в России. Революционных сил нет, но почва есть и ждет деятелей... Все, кто раньше вступил на практический путь, арестованы, сидят в тюрьмах и ждут суда. Необходимы новые силы, свежий приток людей... И он сообщил нам о своих начинаниях и поисках этих людей. Обращаясь к нам двум, он изложил историю разрушения Московской организации: все ее члены арестованы и продолжать их дела некому. А между тем, всюду, где они были, заведены связи, поддержать которые было бы необходимо. Ввиду этого, во имя общего революционного дела, но и во имя товарищеской солидарности, он приглашал нас оставить университет и отправиться на помощь погибшим товарищам. Он передавал, что эти товарищи из-за стен тюрьмы призывают нас, в качестве их заместителей, встать в опустевшие ряды пропагандистов-агитаторов.

Это предложение упало, как снег на голову: за все время до этого никаких писем от уехавших друзей я не получала; о том, что я могу быть нужна в России, вообще или нужна им в частности — мне и в голову не приходило. Я жила, спокойно и уверенно идя к своей определенной цели и думала только по окончании факультета приступить к практической деятельности. Теперь пришло приглашение с характером настоящей катастрофы.

Как быть? Чем быть в жизни?

Уже в третий раз с тех пор, как я уехала из провинции и оставила мирные деревенские поля, на меня нападало тягостное раздумье, возникала та внутренняя переборка, которая решает направление жизни. Сомнения и колебания мучили меня, когда из лагеря благополучного либерализма и благодушной филантропии я переходила в беспокойную область революции и социализма.

Задача — что лучше? что выше? которое из двух следует выбрать, на какой путь вступить? — занимала меня тогда, волнуя всеми противоречиями старого и нового, борьбой между стремлениями эгоизма и альтруизма, между личным и общественным...

И во второй раз мучительно было видеть, как сестра и ее друзья уезжают в Россию с тем, чтобы стражнув все, что напоминает принадлежность к культурно-буржуазному обществу, спуститься в самые низы, песя

народу благую весть грядущего освобождения. Видеть, знать это и самой не идти. И прежде, чем поставить решение оставаться тем, чем я была по рождению и воспитанию, и открыто заявить об этом, сколько внутреннего разлада, сожаления и даже стыда пришлось затаить в себе!

И когда все это отошло уже в прошлое и наступила определенность, позволявшая отдаваться занятиям, встречам и интересам минуты—вновь, в третий раз беспокойные вопросы нравственного характера ворвались и требовали ответа не в отдаленном будущем, а теперь, сейчас-же. И душа раздваивалась, чувства спорили.

На примере „Фричей“ сама жизнь доказала всю трудность положения работницы для интеллигентной женщины. Их опыт показал скоротечность деятельности в этой несвойственной и непривычной форме, когда приходилось начинать прямо с фальшивого паспорта и нелегального положения. Среднее положение, положение фельдшерицы обещало большую прочность и продолжительность деятельности. Благородная попытка стать в ряды наемых работников была сделана, но не привела к тому, чтобы увековечить это средство подойти к народу; в дальнейшем члены революционных партий не пошли по этому пути. Более целесообразными были признаны демократические положения того рода, который я намечала для себя.

Но если я не стремлюсь к диплому и не предполагаю сделаться врачом, то почему непременно кончать факультет? Если я буду служить в земстве, как фельдшерица, то к чему докторский диплом? Были бы только достаточные знания, чтобы выполнять обязанности с пользой для населения. И эти знания у меня уже были. Ведь я училась уже три с половиною года — время достаточное для приобретения их.. Если я не гонюсь за бумажкой, удостоверяющей мое знание, то почему не бросить сейчас же все и лететь на помощь революционному делу и друзьям-революционерам?

И....вдруг, я почувствовала, что диплом, эта бумажка, как я третировала его, — на деле мне дорога: манит и связывает меня...

Он был бы официальным признанием моих знаний, символом, что я довела предпринятое до конца и достигла того, к чему стремилась, о чем мечтала в 17 лет. Это значило-бы, что приз взят, и, право, ценою не дешевой! Не кончить!.. Отступить!.. Ведь столько лет, с такой энергией постоянством и самодисциплиной я преследовала одну, совершенно определенную цель! И теперь, не кончив курса, не достигнув цели отступить... бросить! Мне было стыдно — бросить.... Стыдно перед собой и перед другими. Какими глазами посмотрят на меня все те, кто знали о моем предприятии, тогда еще неслыханном в провинциальной глупи, те родные и знакомые, которые сочувствовали, одобряли и провожали в Цюрих пожеланиями успеха на новом для женщин общественном поприще.

А с другой стороны — революционное дело, которое, говорят, требует усилий и с моей стороны! друзья, заключенные в казематы, связанные по рукам и ногам, и зовущие к себе на помощь!.. Возможно-ли пренебречь их интересами, раз они заявлены, и отдать предпочтение своей гордости, самолюбию и, увы! тицеславию. Никогда эти свойства

человека я не считала доблестью и всегда отрицала самолюбие, как основу поведения. И, вот, теперь я увидела, что и самолюбие, и честолюбие сидят во мне, и как они, в сущности, сильны! Но неужели я подчинюсь им? Чувство самоуважения и веры в себя говорили—нет! И все таки мне было больно; мне было жалко бросить университет и было жаль, что я, Вера Николаевна, не буду иметь права подписываться: „доктор медицины и хирургии.“

Но действительно ли я нужна там в России, для революционного дела, вообще, и для поддержания дел Московской организации в частности? Наталиона я видела в первый раз; до этого я не слыхала о нем; о его характере не имела представления: он был для меня чужой, незнакомый человек, с которым ничто не связывает. Никакого письма с собой он не привез и передал мне на словах, что родственница Субботиных, Шатилова, осталась после ареста друзей одна в Москве и не в силах, несмотря ни на какие усилия, справиться с задачей, павшей на нее. Люди, которых она успела привлечь к выполнению кое-каких функций, после короткого времени были тоже арестованы и заменить их решительно некем.

Разум говорил, что следовало бы проверить обстоятельства и на месте посмотреть, как обстоит дело, чтобы воочию убедиться в необходимости и целесообразности присутствия в Москве Аптекман и меня. Для этого достаточно было поехать которой-нибудь из двух. И если взвешивать характеры, то ехать следовало Аптекман. Очень рассудительная и спокойного темперамента она прекрасно разобралась бы в положении и если бы нашла, что присутствие нас двоих не может иметь значения при данных условиях, то и сама вернулась бы и меня удержала. Другое дело — я. Уж если бы я оставила университет и уехала, то можно было паверное предсказать, что возврата — не будет.

Но Аптекман молчала и я видела, что она ехать не хочет.

Не могла же я сказать ей: „Не нужно сейчас ехать обеим: вы — человек хладнокровный и осмотрительный — поезжайте вперед и вызовите меня, если найдете нужным. Если же поеду сейчас я, то уже ни в каком случае не вернусь...“

Разве тринадцатилетней девочкой, голосом оратора, я не громила книжников и фарисеев: „Горе вам! Горе вам, книжники и фарисеи, ибо бремена на других возлагаете неудобносимые, сами же и пальцем не шевельнете!“

Нет! Невозможно сказать ей: поезжай ты! Невозможно на другого возложить то, что хочешь отклонить от себя.

И с этими чувствами я подошла к Аптекман и сказала: „Оставайтесь! я поеду одна и напишу вам, стоит вам ехать или нет“.

Так состоялось мое решение и оно определило все направление моей жизни.

Душевный кризис, который я пережила, чтобы вынести это решение, был последним. За эти годы, в борьбе с самой собой выработалась и окрепла моя личность. С последним решением мой психический мир,

пришел в равновесие: колебаний уже не было, и „положив руку на плуг“, я не оглядывалась ни назад, ни в стороны. Интересы общественные навсегда взяла перевес над интересами личными. Это была победа того, что запечатлелось в душе 13-тилетнего ребенка, когда я читала: „оставь отца твоего и мать твою и следуй за мной...“

Итак, я оставляю университет, не получив докторского диплома; покидаю Швейцарию, в которой я нашла новый мир идей, великодушных и всеобъемлющих, и, взволнованная недавними, скрытыми переживаниями еду в Россию.

Мне 23 года.

Последняя встреча заграницей.

Отправившись перед отъездом в Женеву, чтобы познакомиться с Иванчиковым-Писаревым и Кравчинским, которые в то время были там, я наткнулась на интересную встречу с несколькими другими лицами. Кравчинского и Писарева я видела только раз, и свидание вышло бессодержательное и тусклое.

В Женеве среди русской колонии славилось маленькое кафе „Café Gressot“. Его хозяевами были тучный французский швейцарец и его симпатичная, миловидная жена, а прислуживала маленькая девочка лет 12-ти, их дочь, тоже премиленькая. Обычными посетителями этого ресторанчика были местные рабочие, которые и занимали первую комнату. Но за нею была другая, совсем маленькая, и она предназначалась исключительно для русских. Бессемейные эмигранты и студенчество, наезжавшее во время вакансов из других городов, неизменно шли в это кафе, где брали на обед небольшую порцию мяса и маленькое овальное блюдце с овощами. Кое-кто спрашивал децилitr красного вина, потребляя таким образом гораздо меньше, чем рабочие, обедавшие рядом. Однако, даже такого скучного питания некоторые эмигранты не могли оплачивать и по безденежью пользовались широким кредитом добродушного Грессо. Бывая в Женеве, я тоже состояла посетительницей этого прибежища эмигрантов. Придя туда в этот последний приезд в Женеву, я застала вечером среди обычных посетителей трех незнакомых мне людей. Это были: Иван Дебагорий-Мокриевич, двоюродный брат автора известных воспоминаний, Габель и юноша, которого звали: „помещик“. Мы познакомились и, должно быть, я понравилась, потому что они пригласили меня к себе. Мы забрались куда-то высоко, в маленькую убогую комнатушку; печать беспорядка и большой скучности лежала на всем: две кровати служили ложем для Габеля и Мокриевича, а более юный „помещик“, оказывается, спал на 3—4 составленных стульях, несколько газет служили тюфяком и вместе с тем простыней, а вместо подушки голова покоялась на связке какой-то, должно быть, нелегальной литературы. Разместившись кое-как в этой мансарде, новые знакомые, знавшие обо мне только одно—что я студентка, принялись меня пропагандировать, а я чтоб помистифицировать их, притворилась ничего незнайкой. Они говорили о России и деятельности в ней; о том, что не теоре-

тическая пропаганда нужна в народе, а внесение в него революционной страсти; что настроение масс близко к общему взрыву, и интеллигенция должна быть искрой, которая вызовет этот взрыв. Говорил, главным образом, Иван Мокриевич и говорил красиво, с энергией и увлечением. Он рисовал мне на необъятном поле России одну из тех, полных пафоса картин, о которых с волнением я читала в книгах, описывающих революцию. Народное восстание, гул набата, оглашающего деревни и разносящегося среди полей... Полчища крестьян, вооружающихся косами, бросящих дом, семью и нивы, чтоб под руководством могучего предводителя, вождя, итти в бой, чтоб победить или умереть... Развеваются знамена... слышится топот шагов народной армии... А вождь,—это второй, современный, Емельян Пугачев или Стенька Разин...

Народ еще верит в царя и еще ждет от него всяких благ, и эта вера будет могучим орудием в руках народного вождя-революционера, интеллигента, который объявит себя принадлежащим к царскому роду... А на ряду с славным предводителем будет стоять прекрасная женщина с распущенными волосами и со знаменем в руке... Народ завладеет арсеналами, вооружится, и загрохотут пушки революции. Войско, состоящее из сыновей того же народа, перейдет на сторону восставших; регулярная армия будет разбита, правительство свергнуто. Запылают усадьбы помещиков, крестьяне завладеют землей. Дымящиеся развалины покроют землю, которая столько веков орошалась кровью и потом народа; а на развалинах, как феникс из пепла, народится новый справедливый социальный строй...

Вся ночь прошла в том, что трое хозяев говорили на эту тему, а я слушала, и меня увлекала красота слова, революционный пыл и энтузиазм ораторов. Все трое уговаривали меня бросить университет и вместе с ними заняться революционным делом в России. Они сказали все, что возможно привести против моего университетского образования и дальнейшего пребывания за границей, и звали горячо с собой, на родину. Я слушала.

Потом Габель стал развивать те принципы, на основе которых должна быть построена революционная организация. Ее члены должны быть связаны самыми тесными узами преданности и дружбы, должны делить все радости и скорби друг друга, в особенности — беды и скорби! И тут, в качестве примера, я узнала недавнюю историю, в которой они думали на деле доказать неразрывную товарищескую связь между собой.

В Женеве в декабре есть трехдневный праздник, называемый Escalade. Он установлен по следующему поводу. В давнишние времена герцог Савойский, владения которого граничили с территорией женевцев, постоянно покушался на независимость последних. В начале 17-го века, однажды ночью, такая попытка чуть-чуть не увенчалась успехом: уже лестницы были приставлены к стенам города, и воины герцога карабкались по ним, собираясь овладеть городом, когда одна женщина, что-то варившая в котле в доме у городской стены, заметила врагов и опрокинула кипящий котел на голову передового воина. Его крик поднял тревогу, проснувшиеся граждане узнали об опасности и отбили предприимчи-

вого врага. В память и этой удачи и был установлен праздник, название которого Escalade намекает на лестницы герцога (Escalader — взбираться по лестнице). Должно быть, в радости, что защитили свою независимость, граждане обнимали и целовали друг друга, празднуя торжество, и с тех пор установился обычай (теперь, говорят, уже отмененный), по которому в дни Escalade каждый мужчина может подойти и поцеловать любую женщину, встретившуюся ему на улице.

Молодые русские эмигранты обрадовались слуху и принялись целовать всех хорошеных дам, какие им попадались навстречу. На этой почве произошел инцидент: Иван Мокриевич бросился целовать красивую англичанку, рядом с которой шел здоровый молодой британец. Видя спутницу в объятиях незнакомого мужчины, он принял кинжал и палкой, а те, кто был с Мокриевичем, видя товарища в беде, не замедлили проявить солидарность, набросившись на британца. Вмешалась полиция и повела раба божия Мокриевича в участок. Но ведь Габель и „помещик“ клялись делить с товарищем не только радости, но и горе вплоть до гроба... Теперь представился случай блестяще доказать верность слову. Габель и „помещик“ потребовали, чтоб их вели в полицию и посадили в кутузку, что и было исполнено. Бедствия и муки тюремного заключения были, однако, не продолжительны: на утро всех трех выпустили.

Габель рассказал мне этот эпизод самым серьезным образом. С должным вниманием отнеслась к нему и я.

Ночная беседа все продолжалась и продолжалась: мои хозяева говорили и убеждали, а я выдерживала роль политически невинной слушательницы. — Нечего было думать о сне: уже светало. Тут я вынула свои золотые часики, чтоб узнать время. „Помещик“ протянул руку и, играя золотой цепочкой часов, должно быть, чтоб измерить мою привязанность к материальным вещам, сказал: „Подарите мне ваши часы!“

Часы и цепочка были семейной драгоценностью, единственной, с которой я не рассталась, уезжая в Цюрих. „Продам только тогда, думала я, когда наступит крайность“.

Теперь, когда „помещик“ сказал: „отдайте!“, я видела кругом скучность — у этих эмигрантов не было ни сантима... Я тотчас же сняла с себя часы и положила их в руку „помещика“... На другой день они были проданы задешево, за какие-то жалкие сорок франков.

Стало совсем светло; кафе на улицах открылись, и мы в четвером решили пойти к Gressot выпить утреннее кофе. Но прежде, чем спуститься с лестницы, с маленьким внутренним смехом, по поводу того, что мои новые знакомые приняли меня за новичка и всю ночь старались обратить меня в свою веру, я раскрыла свою невинную мистификацию и не без задора объявила, что я член арестованной в Москве организации, уже вышла из университета, уложила свои вещи и через несколько дней еду в Россию.

Потом я спросила, когда думают они сами вернуться в Россию.

„Мы не можем уехать, сказал Мокриевич. Очень хотели бы, но денег у нас нет“.

И он рассказал, что выехал из России с товарищами, чтобы вместе с бывшим начаевцем — Энкуватовым, которого я тоже видела в Café Gressot, отправиться в Герцоговину и принять участие в происходившем там восстании против турок. Никакого участия в нем они, в сущности, не приняли, а были только в тягость герцоговинцам, этим жителям гор, в их трудных военных переходах. Дело доходило до того, что, кажется, „помещика“ горцы должны были тащить на своих спинах, так русские добровольцы, были неприспособлены к местным условиям в которых действовали повстанцы¹⁾.

,А теперь, продолжал Мокриевич, мы застряли здесь и почти безнадежно: по отсутствию денег, мы все время кредитовались у Грессо и страшно задолжали ему.... не говоря уже о том, какая большая сумма необходима, чтобы нам трем перебраться в Россию“.

— Сколько же вам нужно, чтобы расплатиться с долгами и уехать в Россию? допытывалась я.

„Да не менее 600 рублей“, отвечал Мокриевич.

— Ну, так я достану их, воскликнула я. И как только приеду в Россию, так вышлю“.

Самая мысль, чтобы такие выдающиеся революционеры, смелые и красноречивые, прозябали без действия за границей из-за каких-нибудь 600 рублей, казалась мне невыносимой: их присутствие в России необходимо, там они будут двигать горами и осуществлять свои планы...

Забота о их возвращении не покидала меня, и во приезде в Петербург я тотчас же стала искать требуемую сумму. Я обратилась к одной знакомой со средствами и со всем пылом энтузиазма рассказала о своей встрече с тремя социалистами, бесполезно проживающими в Женеве. Мой рассказ произвел впечатление не меньшее, чем на меня произвела самая встреча, и я тотчас получила требуемую сумму. Моя мать уезжала тогда за границу вместе с моими сестрами: Евгенией, только что кончившей гимназию, и Ольгой, еще совсем маленькой девочкой. Я передала деньги матери для вручения Мокриевичу, но, опасаясь обыска на границе и не желая беспокоить мать, вручила письмо к Мокриевичу

¹⁾ Кстати замечу, что в книге „Активное народничество 70-х годов“ Богучарский придает серьезное значение участию русских революционеров в войне Сербии против Турции и в восстании Боснии и Герцоговины. Не странно ли, что он представляет „ходжение в народ“ певческим предприятием, к которому правительство должно было отвестись с отеческой смиходительностью, и на ряду с этим трактует, как дело великой важности, попытки русских социалистов привлечь участие в восстании на Балканах. Он уверяет, что русские революционеры в активном сочувствии угнетенным славянам шли впереди славянофилов. И рассказывает: анархист Росс, бывший в отряде Любабратича, прошел с ним „по горам почти сутки“. Здесь произошло оно сражение и несколько схваток с турками, а потом было приказано отступать в рассыпную в Кастель-Ново, в 3-4 километрах от которого Росс встретил Кравчинского, едущего на муле с проводником. Росс рассказал ему о положении дел и так как военные предприятия должны были до весны почти прекратиться, то оба решили уехать,—что и сделали. Два других социалиста: Костюрина и Волошенко о своем участии сообщали Богучарскому нечто подобное же. (См. стр. 287 „Активное народничество“).

Ольге, внушивши ей всю важность маленькой записки, свернутой в трубочку. Крепко зажав ее в руку, одиннадцатилетняя девочка подпрыгнула от радости, что ей доверили такое важное дело и, смеясь перекинув плечами, закричала: „Если меня будут допрашивать, я скажу — оставьте! Я несовершеннолетняя!..“

А в записке и всего то было несколько ласковых слов.

Знакомство с этими тремя эмигрантами вызвало во мне сильное одушевление. Особенно интересен был Мокриевич, который казался выдающимся непримиримым бунтарем. Ночь, проведенная в их обществе, навсегда осталась в памяти. Самая мимолетность встречи способствовала этому. Все красиво-патетическое о революции в действии, о чем я когда-либо читала, я услыхала в эту ночь в живой и пламенной речи.

Неприглядную русскую действительность, эту замарашку-Сандрильону, Иван Мокриевич разубрал в златотканый пурпур Сандрильоны-принцессы... Я была в восторге: слово владело моим умом. Ведь я не отделяла его от дела: кто говорит с такой энергией и силой, тот, я думала, имеет и силу воплотить слово в дело. Я верила, как в могущество слова, так и в мощь человеческой воли.

У меня не было глаз провидца; я не могла предвидеть, что, если Габель попадет в Сибирь, в административную ссылку, то Мокриевич станет давать в Киеве уроки музыки и сделается мирным конституционалистом в то время, в то самое время, когда в России, на основании приобретений прошлого, уже начиналась битва, начиналась борьба, правда в единоличных схватках, но все же действие, борьба, все же битва!..

А „помещик“ в ковычках, этот владелец испанских дворцов и замков после продолжительной жизни на чужбине, станет всамделишным помещиком.

Вера Фигнер.

О П Е Ч А Т К И.

В ст. В. Н. Фигнер, в № 1 „Голос Мин.“ за 1923 г., осталась неисправленной по вине тип. опечатка на стр. 28-й, 1-я стр. снизу и на стр. 30-й, 4-я стр. сверху: напечатано „Энглендера“ и „Энглендер“ должно быть „Энгельса“ и „Энгельс“.

На стр. 58-й настоящей, в стр. 19-й сверху ошибочно напечатано „Стих“ Спинозы вместо „Этику“ Спиносы.

Письмо Г. А. Лопатина о беседе с Ф. Энгельсом о России.

Печатаемое ниже письмо Г. А. Лопатина было в неполном виде напечатано в изд. „Материалы для истории русск. соц.-револ. движения“, I, Женева, 1893 г. стр. 97—99. Мы воспроизводим его по подлиннику, доставленому нам В. Н. Фигнер.

20-го сентября¹⁾; четверг; непроглядный туман, сырость, мрак и прочие прелести Лондона; при этом кашель, насморк, тоска, беспокойство, душевный мрак и прочие прелести душевной непогоды.

Ваше благословение,
Мать честная игуменья,
Марина Никаноровна.²⁾

Как видите из заголовка (несколько длинного), в сердце у меня мрак а дела на руках пропасть. Прежде всего, 14 (!) неотвеченных писем, из коих одно очень длинное и очень трудное, мучающее меня уже с давних пор. Затем, разные хлопоты на счет будущего, более или менее нужные визиты и свидания и пр., и пр., и пр. Тем не менее, несмотря на все это, не могу не поделиться с Вами результатами моего первого свидания с Энгельсом, думая, что некоторые из его мнений будут приятны для Вас.

Мы много говорили о русских делах и о том, как пойдет вероятно дело нашего политического и социального возрождения. Как и следовало ожидать, сходство взглядов оказалось полнейшее; каждый из нас то и дело договаривал мысли и фразы другого. Он тоже считает (как Маркс, как и я), что задача революционной³⁾ партии или партии действия в России в данную минуту не в пропаганде нового социалистического идеала и даже не в стремлении осуществить этот далеко еще не выработанный идеал с помощью составленного из наших товарищей временного правительства, а в направлении всех сил к тому: 1) чтобы или принудить государя созвать земский собор, 2) или же путем „устранения“ государя и т. п. вызвать такие глубокие беспорядки, которые привлекли бы иначе к созыву этого собора, или чего-либо подобного. Он верит, как и я, что подобный собор неизбежно приведет к радикальному, не только политическому, но и социальному переустройству. Он верит в громадное значение избирательного периода, в смысле несравненно более успешной пропаганды, чем все книжки и сообщения на ухо. Он считает невозможной

¹⁾ 1883 года, как означено на конверте и как видно из содержания (*Прим. В. Ф.*).

²⁾ Псевдоним, принятый за границей Марией Николаевной Ошаниной (член Исп. Ком. п. „Народной Воли“. (*Прим. В. Ф.*).

³⁾ Разрида, как здесь, так и во всех других местах принадлежат Г. А. Лопатину (*Прим. В. Ф.*).

чисто-либеральную конституцию, без глубоких экономических перестроек, а потому не боится этой опасности. Он верит, что в фактических условиях народной жизни накопилось достаточно материала для перестройки общества на новых началах. Конечно, он не верит в моментальное осуществление коммунизма или чего-либо подобного, но лишь того, что уже назрело и в жизни и в душе народа. Он верит, что народ сумеет найти себе красноречивых выразителей своих нужд и стремлений и т. д. Он верит, что, раз начавшись, это переустройство, или революция, не может быть остановлено никакими силами. Важно поэтому только одно: разбить роковую силу застоя, выбить на минуту народ и общество из состояния косности и неподвижности, произвести такой беспорядок, который принудил бы правительство и народ заняться внутренним переустройством, который всколыхнул бы спокойное народное море и вызвал бы всенародное внимание и всенародный энтузиазм к делу полного общественного перерождения. А результаты явятся сами собою, и именно те, которые возможны, желательны и осуществимы для данной эпохи. Все это чертовски кратко, но обстоятельнее я писать теперь не могу. К тому же, все это, быть может, не вполне понравится Вам¹⁾, и потому спешу передать Вам с буквальною точностью другие его мнения, которые очень лестны для русской революционной партии. Вот они:

„Все зависит теперь от того, что будет сделано в ближайшем будущем в Петербурге, на который устремлены ныне глаза всех мыслящих дальновидных и проницательных людей целой Европы“.

„Россия, это—Франция нынешнего века. Ей законно и правомерно принадлежит революционная инициатива нового социального переустройства“.

„Немцы совершенно лишены революционной инициативы. По своему, дело идет у них прекрасно. Но ждать от них почина нечего. Они могут быть подтолкнуты на революционный путь только другими народами; в данный исторический момент—Россией“.

„Гибель царизма, уничтожив последний оплот монархизма в Европе, упразднив „агрессивность“ России, ненависть к ней Польши и многое другое, поведет к совершенно иной комбинации держав, расшибет вдребезги Австрию и вызовет во всех странах могучий толчок в сторону внутреннего развития“.

„Мне кажется, что, по части „устранений“, надо направлять все силы на „барина“: или его, или никого. После 1-го марта, все остальное было бы слишком мелко“.

„Едва ли Германия решится воспользоваться русскими беспорядками, чтобы двинуть свои войска в Россию для поддержания царизма. Но если бы она сделала это, тем лучше: это было бы гибелью ее нынешнего правительства и началом новой эры“.

„Присоединение к ней балтийских провинций бессмысленно и неосуществимо. Подобные захваты противоположных или прилежащих узких

¹⁾ Намек на якобинизм Ошаниной (Прим. В. Ф.)

побережий и клочков и получившиеся отсюда нелепые формы государств были возможны только в XVI и XVII веках, а не теперь. К тому же, ни для кого не тайна, что немцы составляют там вичтожное реакционное меньшинство“.

(Прибавляю этот последний пункт для матери-казначеи (Ю. П.) ввиду ее ультра-патриотических мнений по этому пункту¹⁾).

„И я, и Маркс находим, что письмо Комитета к Александру III-му положительно прекрасно по своей политичности и спокойному тону. Оно доказывает, что в рядах революционеров имеются люди с государственным складом ума“.

Надеюсь, что все это достаточно лестно и приятно для Вас, и что Вы поблагодарите меня за эти строки. Помните, я говорил, что сам Маркс никогда не был марксистом. Энгельс рассказывает, что, во время борьбы Бруssa, Малона и К° с другими, Маркс говорил, смеясь: „могу сказать только одно: что я не марксист“. Я говорил Энгельсу, что у нас оказывается нужным доказывать, что Маркс не был против политической деятельности. Он не мало смеялся этому и передал мне к слову несколько других подобных же курьезов.

Сегодня в Daily News говорят о последнем выпуске Нар. Воли. Хватают бумагу и печать. Делают фактические выдержки. Но статью о еврейских беспорядках они поняли, как и я, в смысле прямого сочувствия им и даже, быть может, скрытого участия. Разница между евреем и жидом столь же мало понятна им, как и Вашему покорному слуге.

Ну, довольно. И то пишу торопясь, через силу, а потому неособенно понятно и складно. Многие вещи стоило бы развить обстоятельнее, но это значило бы писать для печати, что противно всем моим установившимся привычкам.

Пожалуйста, поторопитесь прислать адрес лица, проживающего в Швеции, ибо мне не хотелось бы заживаться здесь без толку. Недурно было бы иметь и какой-нибудь СПБ-ский адрес. Но здесь я знаю, что я наталкиваюсь на почву непобедимого упрямства, а потому умолкаю.

Доброго здоровья. Ваш Г. Л.

Поклон и все такое.

Богочеловека²⁾ еще не видал. Я откладывая это свидание до того момента, когда буду посвободнее. Слышал о возможности еще одного пути от другого человека, но и об этом после.

¹⁾ Ю. П.—Юлия Петровна, псевдоним Галины Федоровны Чернявской, вышедшей потом замуж за Бехановского (*Прим. В. Ф.*).

²⁾ Богочеловеком называли Н. В. Чайковского, принявшего в 1875 г. учение Маликова (*Прим. В. Ф.*).

Шесть писем декабриста И. И. Горбачевского.

Письма печатаются с любезного разрешения Е. Е. Якушкина по подлинникам, хранящимся в семейном архиве Якушкиных. Они адресованы И. И. Пущину в Турийск и относятся к 1840—1843 гг.

Письма чрезвычайно характерны для Горбачевского периода жизни его в Петровском Заводе. Живо рисуют они Горбачевского с его недомоганиями, незадачливым хозяйством, одинокого, несмотря на многочисленные дружественные связи на Заводе, с его преданностью старым друзьям и болезненной чуткостью к их невниманию и неделикатности, с постоянной грустью, которая все сильнее захватывает его и которая все-таки не убивает ни доброты его, ни мягкого юмора. Вновь проходит перед читателем несломленная непокорность старого „славянина“, острая чувствительность его к произволу, непримиримое протестанство. Письма дают новые детали и факты для биографии Горбачевского, иногда существенно важные (мотивы и обстоятельства его решения остаться на Заводе, вопрос о его „детях любви“, дела его семьи и пр.). Письма сообщают некоторые подробности относительно сибирских связей декабристов времени жизни их в Петровском Заводе, дают кое-какие нeliшенные интереса штрихи для биографий отдельных декабристов (Мозалевского, Аниенкова, Пущина).

Все шесть писем объединены некоторой случайной цельностью: после четырех сдержаных и коротких писем, в которых Горбачевский меньше всего говорит о себе, врывается характерным для Горбачевского порывом бурное письмо 1842 года, вызванное приездом Н. И. Пущина; длинное и горячее, оно почти сплошь заполнено личными обстоятельствами и чувствами автора; собрание заканчивается шестым письмом, опять сдержанным, грустным и коротким.

Письма печатаются в современной орфографии; пунктуация их исправлена; в нескольких местах текста раскрыты сокращенные обозначения отечеств и имён¹⁾.

B. C.

Петровский завод. 1840. Июль. 28 дня.
(Нотетка И. И. Пущина: Пол. 5 сентября).

Вот уже год, как мы с тобой расстались²⁾, добрейший Иван Иванович, и до сих пор я от тебя ни строчки не получил. Огорчение мое превосходит

¹⁾ „Записки“ И. И. Горбачевского под ред. Б. Е. Сыроечковского были изданы кн-вом „Задруга“ в 1915 г. (Ред.).

²⁾ Осенью 1839 г. И. И. Пущин был переведен на поселение в Турийск, куда прибыл 9 октября.

всякую меру; не знаю к чему приписать твоё молчание; не хочу и думать что ты меня забыл. Я же не писал к тебе, исполняя твою волю; помнишь ли, когда я с тобой прощался, ты мне сказал. „Не пиши ко мне, пока не получишь от меня письма“. Не зная твоего намерения, я только исполнял твою волю, во не мог дальше терпеть, решил я сам к тебе писать.

Давыдов ¹⁾ ко мне писал, что ты нездоров, что ты скучен и мрачен; я и не удивляюсь потому, что это почти со мною всегда бывает; напротив того, я удивляюсь тем, которым приятно и весело жить на этом свете.

Ты может быть хочешь знать, что со мной делалось в продолжение года, чем я занимался и как я живу в Петровском. Ничего тут нет интересного, ничего в этом рассказе не будет для тебя нового; лучше об этом помолчим и оставим до другого времени. Скажу тебе только, что мои родные до сих пор не получили от душеприказчиков покойного брата ²⁾ своего наследства. Сестра Анна ³⁾ пишет, что не может до сих пор добиться толку, и что она была принуждена подать просьбу; не знаю, куда и к кому она подала, и что из этого дела будет, до сих пор неизвестно. Все обещают выслать деньги, и вот уже полтора года, как высылают.

Люди, которые служили у нас в каземате ⁴⁾, все тебе кланяются, все живут порядочно: одна Шишкина — у которой всегда что-нибудь случается: недавно у нее украли корову, она ужасно плакала, а там заболела и родила мертвого ребенка; была очень больна и до сих пор еще не поправилась. Салин пошел в Крым, он Высочайше прощен; когда ему об этом объявили, целую ночь бедный старик плакал.

Андреевич ⁵⁾, наш общий с тобой сожитель, умер в Удинске. Бестужевы ⁶⁾ живут в Селенгинске и довольны своим местом. Оболенский ⁷⁾ пашет пашню; Борисов Андрей ⁸⁾ совсем с ума сошел. Вот тебе новости наши, которые я знаю сам по слухам.

Знаешь ли, что я о тебе имел известия из Петербурга: сестра моя бывала у Анны Ивановны ⁹⁾ и писала ко мне. Пиши пожалуйста, Иван Иванович: с нетерпением ожидаю твоих писем; будь так добр, вспомни хоть однажды обо мне; я всем жалуюсь, что ты ко мне не пишешь.

Прощай, будь здоров, обнимаю тебя. Прощай еще раз.

Твой навсегда Иван Горбачевский.

¹⁾ Давыдов, Вас. Льв. в 1839 г. был переведен в Красноярск.

²⁾ Ник. Ив. Горбачевского, военного инженера, скончавшегося, как видно, в конце 1838 г. или в начале 1839 года.

³⁾ Анна Ив. Крист., проживавшая в Петербурге.

⁴⁾ На Петровском Заводе декабристам дали были слуги из ссыльных.

⁵⁾ Андреевич 2-й, Як. Максимов — в 1839 г. осенью больной отправлен на поселение в Западную Сибирь, но доехал только до Верхнеудинска, где скоро и умер — уже в 1840 г. — в больнице.

⁶⁾ Михаил и Николай Александровичи.

⁷⁾ кн. Евгений Петр., в 1839 г. был поселен в деревне Турутаеве, Иркутской губ.

⁸⁾ Борисов 1-й, Андрей Иванович, вместе с братом Петром (Борисовым 2-м) в 1839 г. переведен на поселение в деревню Подлесатки, ок.-то Селенгинска. Андрей Иванович заболел психически еще в Петровском каземате.

⁹⁾ Пущина, сестра Ив. Ив., проживала в Петербурге.

Дмитрий Насонов¹⁾ очень кланяется тебе; он бьет и порет дичь; у него недавно родился сын; ты был заочно крестным отцом; часто тебя вспоминает. Скоро буду к тебе еще писать. Кланяйся от меня всем Туринским²⁾.

2.

23 августа 1840 г. Петровский завод.
(Пометка И. И. Пущина: Пол. 26 октября).

Наконец и я дождался, что ты ко мне написал, мой любезный Пущин; но все же я более прав, потому что предупредил и писал к тебе гораздо прежде получения твоего письма. Я был обрадован и сердечно благодарю за известие, которое ты о себе подал; много раз я тебя упрекал за твое молчание, и если бы ты мне перед отъездом не сказал дожидать твоего письма, то давно бы к тебе писал.

Крайне нас огорчило состояние твоего здоровья; смотри, любезный Пущин, держись и не давай разгуливаться твоей болезни, все меры употребляй к излечению и не пренебрегай своим недугом, как ты прежде это делал. Мы тебя здесь часто вспоминаем; порадовал и ты меня, сказавши, что товарищи меня помнят; поклонясь всем от меня, а Барятинскому³⁾ прибавь, что я ему желаю еще и скучки: он хотя и болен, но, вероятно, всегда весел. Я помню то время, когда он почти умирал: мы с ним и тогда, вздор болтая, посмеивались. Милому добруму Павлу Сергеевичу⁴⁾ особенно поклонись от меня, а Басаргину (*sic!*)—благодари за его память и расположение ко мне.

Ты спрашиваешь, Пущин, что мои дела. Вообрази, что до сих пор сестры мои даже не могут получить и порядочного ответа на их письма, и сколько они ни пишут к душеприказчикам покойного брата, все это ни к чему не ведет. По большей части молчат, а когда и пишут, то противоречат сами себе, всегда обещают и ничего не делают. Непонятная вещь, что делается на этом свете! И по последнему письму от сестры Анны я вижу, что наследство должно пропасть; она наверное полагает, что душеприказчики замотают и ничего не отдадут. Я писал к ней, чтобы она обратилась с просьбой к Графу⁵⁾; не знаю, послушает ли; это по-моему — и скорее и прочнее. Я теперь остался без гроша по милости этих господ, которые так любят и так приятно владеют чужими деньгами. Я не знаю, как и существовать без домашнего пособия с моим здоровьем и с здешним климатом.

¹⁾ Дмитрий Иванович, слуга Оболенского, Пущина и Горбачевского из ссылочных.

²⁾ В Туринске в 1840 году кроме И. И. Пущина жили Ив. Ал-др. Азанков, Ник. Вас. Басаргин, Вас. Петр. Ивашев, скончавшийся 28 декабря того же года.

³⁾ Кн. А-др. Ив. Барятинский с начала 1840 года жил в Тобольске; здоровье его, подорванное еще в России, в Сибири стало очень плохо.

⁴⁾ Бобрищеву-Пушкину 2-му, проживавшему в Тобольске.

⁵⁾ Бенкендорфу?

А. И. Мозалевский¹⁾ чувствительнейше благодарит тебя за твоё обещание; он до сих пор болен: грудь болит, в боку всегда колоть; теплые воды ему не только не помогли, но даже вред сделали, он больше не мог взять—восемь ванн, и после этого кровь горлом так сильно пошла, что доктор тотчас запретил употреблять их.

Ты, вероятно, получаешь от Анны Ивановны часто письма; уведомь, прошу тебя, все ли твои родные здоровы. Что делает Малиновский²⁾ и где он? Засвидетельствуй им мое усердное почтение и поклонись от меня.

У нас все по-старому; живем тихо и мирно. Борисов Андрей иногда, говорят, беснуется, а Петр, бедный, через это сильно страждет. Бестужевы здоровы; Оболенский скучает, а Завалишин³⁾ женился. Все это я знаю по слухам и за верность не отвечаю.

Иногда я смотрю на окошко в твоей бывшей комнате; много в голове тогда рождается воспоминаний, сердце сжимается, думая, где вы все, что с вами. Увижу ли я тебя когда-нибудь, мой любезный Иван Иванович! Долго мы были вместе, я привык к тебе. Теперь довольствуюсь тем, что посмотрю на то место, где ты жил: я и тому рад.

Прощай, Пущин; будь здоров. Сделай милость, прошу тебя, пиши ко мне: это есть единственное утешение получать известия от тех, которых любишь. Прощай еще раз. Помни твоего

Навсегда преданного Ивана Горбачевского.

(Приписка другим почерком, ис Горбачевского),

Клянется А. И. и желает доброго здоровья.

3.

Петровский завод. 1840. Декабря 9 дня.

Виноват, признаюсь, мой любезнейший, дорогой Пущин! Прости, что до сих пор на твоё письмо от 10-го октября еще не отвечал. Разные причины были тому помехою, а главное — незддоровье. Вот и теперь уже почти две недели я не выхожу из комнаты; холода и стужи совсем меня уничтожили; теперь, кажется, поправляюсь. Благодарю тебя за твоё письмо: ничего для меня не может быть приятнее твоей беседы; ежели бы не совестно было, я просил бы тебя всяющую почту ко мне писать — такое удовольствие я имею читать твои письма!

Очень рад, что ты поправляешься в своем здоровье. Ты спрашиваешь, такая ли погода у нас, как у вас: переходи к нам поближе, узнаешь. Но все-таки я думаю, что наша сторона теплее вашей, хотя обе, правду сказать, хороши. Я ужасно зол за то, что холодно. Ты, я думаю,

¹⁾ Мозалевский, А-др. Ив.—декабрист—жил в 1840 г. в Петровском заводе.

²⁾ Иван Васильевич, лицейский товарищ Пущина, жил в имении своем Каменке Изюмск. уезда, Харьков. губ.

³⁾ Дмитрий Иринархович, женат был на дочери горного чиновника Смоляникова Аполлинарии Семеновне.

помнишь наши споры о тепле и холода: теперь еще хуже боюсь стужи она меня жмет так, что кости трещат.

Я получил от своей сестры часть денег; теперь мне покойнее, а то приходилось так, что хоть караул кричи. Не знаю, как твои обстоятельства; по-моему лучше, что ты не имеешь хозяйства и этих мелочных забот, которые ни к чему не служат, кроме — к досаде.

Ежели ты хочешь прислать для могилы Андреевича денег, пожалуй, присытай, сколько тебе угодно; но, мне кажется, и без этого можно обойтись. Алекс. Иванович¹⁾ получил деньги, 58 руб. серебр.; он благодарит тебя усердно, говоря: „Вероятно, Пущин причиною этой присылки“.

Наши товарищи, сколько я могу знать по слухам, все здоровы. Один Борисов сильно горюет; говорят, его брату хуже. Поджио²⁾ так же ко мне, как и к тебе, не пишет. Что мне сказать тебе о своих занятиях? Трудно об этом говорить, когда ничего не делаешь; кое-о-чем поговорить — не стоит того и неинтересно.

Александр Ильич³⁾ кланяется тебе; около праздника он нас оставляет: он едет в Петербург с серебром. Вот тебе новость и, как ты можешь судить, для нас очень неприятная.

Засвидетельствуй мое почтение сестре твоей Анне Ивановне и Малиновскому: я их всегда помню, и память их для меня драгоценна. Две мои сестры живут в Харькове по-прежнему, а Анна уехала в Одессу на время. Ульяна⁴⁾ выдает одну из своих дочерей замуж и очень рада, как видно из ее письма. Дмитрий Насонов тебе кланяется; все ожидает от тебя золотых гор.

Пиши ко мне, мой Пущин, прошу тебя, не отказывай мне в этом удовольствии. Кланяйся всем товарищам, а Баратинскому пожелай от меня здоровья такого, чтобы он мог кричать и спорить сильно и громко⁵⁾.

Обнимаю тебя. Прощай, будь здоров.

Твой навсегда

Ив. Горбачевский.

Дмитрий Захарович⁶⁾ тебе усердно кланяется, равно — Катерина Дмитриевна⁷⁾.

Петровский Завод. 1841. Мая 20-го дня.
(Пометка Пущина. Пол. 27 июня).

Два письма получил от тебя, мой любезнейший Пущин! и до сих пор еще не отвечал. Совестно пред тобою и краснею за такую оплош-

¹⁾ Мозалевский.

²⁾ Александр Виктор, жил в то время на поселении в Усть-Куде близ Иркутска.

³⁾ Арсеньев.

⁴⁾ Сестра Горбачевского.

⁵⁾ Баратинский страдал болезнью горла, сказывавшейся на внятности его речи.

⁶⁾ Ильинский, доктор в Петровском Заводе.

⁷⁾ Ильинская, урожд. Старцева, жена доктора Ильинского.

ность; прости мне: буду исправней на будущее время. Ты спросишь, что я делаю:—не спрашивай о подробностях: холод, нездоровье, нерасположение, хлопоты по хозяйству, хотя все это хозяйство можно отдать за грош,— все это, повторяю, было помехою беседовать с тобою.

Первое твое письмо было от 14-го ноября, второе—от 31-го января; усерднейше благодарю за твои письма: ты меня не забываешь, который всегда был душевно привязан к тебе. Радуюсь, что твое здоровье поправилось. Очень жаль мне Ивашева и бедных его сирот; к счастию их, что они нашли такую подпору, как ты и Басаргин. Кланяйся от меня Николаю Васильевичу¹⁾; скажи ему, что я всегда помню и люблю его. Твое поручение насчет Якова Максимовича²⁾ непременно исполню и уже приступил к делу; уведомлю тебя обо всем, когда кончу.

Письма из дома довольно часто получаю. Сестра Ульяна выдала дочь свою замуж за хорошего человека и очень скучает, что давно не видела Малиновского; вероятно, он теперь не бывает в Харькове. Почему ты мне никогда не напишишь о твоих родных—здоровы ли они, каково живет Анна Ивановна и часто ли тебе пишет. Мне бы это было приятно и интересно знать.

Новенького у нас ничего нет: все по-старому. Все тебе кланяются. Крестница Марья Николаевны³⁾, Софья Михайловна много много тебе кланяется; живет в большой бедности и жалуется на плохое свое здоровье. Насонов тоже кланяется тебе и кое-как перебивается. Александр Иванович Мозалевский здесь еще живет. Дмитрий Захарович и Катерина Дмитриевна⁴⁾ помнят тебя и всегда вспоминают. Он вышел в отставку, торгует белкою и разными разностями; иногда приезжает в завод по торговым делам; живет постоянно в Селенгинске мирно и спокойно.

Прощай, любезнейший Иван Иванович; прости мне, что мало пишу к тебе. Будь уверен в истинной преданности к тебе,

твоего навсегда Ивана Горбачевского.

Как слышно, все наши здешние здоровы, кроме Андрея⁵⁾, который всегда и беспрестанно беснуется.

5.

Петров. Зав. 1842. Августа 22 дня. 12 час. ночи
(Пометка Пущина: Пол. 19 октября).

Сию минуту только что пришел я от Николая Ивановича⁶⁾ и сажусь к тебе писать, мой любезнейший, добрейший Иван Иванович! Два

¹⁾ Басаргину.

²⁾ Андреевича. См. письмо от 9 декабря 1840 г.

³⁾ Волковской.

⁴⁾ Ильинские.

⁵⁾ Борисова.

⁶⁾ Пущина, брата Ивана Ивановича; в 1842 году Н. Ив. Пущин ездил в Сибирь, в командировку для ревизии судебных мест.

письма я от тебя получил: первое от 20-го марта, которое было прислано после того письма, которое не ко мне было писано, и от 10 июля, и на которое я к тебе еще не отвечал, дожидая приезда Н. И.

Я так рад приезду твоего брата, так он на тебя похож, что, разговаривая с ним, я как будто с тобой говорил и говорил; голос даже у вас одинаков. Много я к тебе хотел писать, много ты задал таких вопросов, что я хотел сочинить целую тетрадь и навести на тебя этим такую же хандру, какой я здесь очень часто бываю подвержен,—но удовольствие, радость моя, что я вижу человека близкого к нам, благодарность моя к тебе, Пущин, неизъяснима, невыразима. Я чувствую и вижу, что ты меня не забыл—этому доказательство дружеское расположение и ласки Николая Ивановича, который по приезде своем к нам в Петровский, вечером тотчас прислал замною и обещал завтра, по осмотре завода, быть у меня.

Не обвиняй меня, сделай милость, что я редко пишу. Клянусь тебе всем для меня священным, что мне отвратительно писать чрез руки правительства письма, где бы я хотел говорить с тобою со всею откровенностью растерзанной души. Ежели бы была часто оказия, я бы тебе отдохну не дал и надоел бы своим посланиями. Скажи, пожалуйста, что я могу писать к тебе, когда наши письма везде читаются. Меня это просто приводит в бешенство и отчаяние. И сколько бы я мог тебе новостей разных пересказать; сколько бы я мог получить от тебя утешений, наставлений и советов, ежели бы я мог с тобой откровенно говорить так, как мне бы хотелось!

Ты скажешь, что я мог бы это делать с жителями Иркутска¹⁾. Нет, ты жестоко ошибаешься, ежели ты думаешь, что я ленюсь или ленился писать к ним. Никогда! Но поверишь ли ты, что я с тех пор, как на поселении здесь, от Борисова получил на все мои письма одну записку, писанную карандашом в пять строк, а от Поджио — в полном смысле слова — два письма и то давно, я думаю, тому года два уже²⁾. Будь справедлив: не смешно ли мне надоедать своими письмами тем людям, которые даже на мои письма не удостоивают и обратить внимание. И я перестал писать в Иркутск. Одна Марья Казимировна³⁾ иногда напишет ко мне и то редко, на которые письма я всегда отвечаю.

Всякий раз, когда ты пишешь ко мне и обвиняешь меня в том, что кс мне редко пишут потому, что я сам ленюсь, мне всегда бывает прискорбно и больно, что ты так обо мне думаешь; мне бы не хотелось и я боюсь, чтобы ты обо мне худо не думал. Я так люблю и уважаю мнение моих товарищей, что кривой толк их обо мне приводит меня в содрогание.

¹⁾ В Иркутске и близ него жили на поселении Бечаснов, Борисовы, Быстрицкий, Вадковский, Волконский, Вольф, Громницкий, Люблинский, Муравьев А-др, Муравьев Артамон, Муравьев Никита, Муханов, Панов, оба Поджио, Сутгоф, Трубецкой, Юшневский.

²⁾ В письме от 9 декабря 1840 г. Горбачевский жалуется Пущину, что Поджио не пишет.

³⁾ Юшневская.

Чорт возьми, покуда это будет, что малейшая погрешность в поступке, невинная, неумышенная погрешность ставится в строку и осуждается, как преступление против приличия и всяких правил! Нам каждому около 50 лет, и все-таки друг друга почитаем ветрогонами, подобно Бечасному¹⁾ и Михайле Бестужеву. Клянусь тебе, Пущин, это несносно! Вот тебе не далее пример—Муханова²⁾). Вообрази, на-днях я от него получил письмо об заказах железных вещей для него, где, между прочим он меня всеми силами тащит и просит, чтобы я перешел к ним жить, т.-е. в Урик или куда-нибудь поближе к ним; уговаривает меня и, между прочим, советует мне бросить моих детей любви, которых он насчитал около десятка. Это письмо я получил в присутствии здешнего нашего управителя, помощника его и всех здешних чиновников, которые в то время у меня сидели и пили чай. Я им прочитал это письмо вслух: они умирали от смеха и хохота, зная мою жизнь и мое физическое состояние. А мне было так горестно и больно, что я почти расстроился в здоровье, и так меня это огорчило, что я до сих пор не могу собраться с силами ему на эту глупость отвечать.—Он тоже скажет, как и другие, что я не отвечаю на письма и редко пишу. Но скажи сам, любезнейший Пущин, возможно ли на подобные вещи отвечать. И еще так безбожно клеветать и слушать бабских сплетней!

И поверишь ли—странный вещь я тебе скажу,—что посторонние, чужие люди, но которые меня знают, со мною знакомы и знают мою жизнь, эти люди лучше обо мне думают, лучше судят и совершенно меня во всем оправдывают, нежели друзья и товарищи.

Ты скажешь, отчего же это происходит? Оттого, что мы слишком строги друг к другу, что мы слишком взыскательны, раздражительны, оттого, что судим все по слухам, оттого, что удачу, счастье или случай хороший в оборотах, в торговле, в приобретении считаем за расчетливость, аккуратность и воздержание в жизни; неудачу, месть, преграду, незнание в новой жизни, неопытность, даже доброту сердца, сострадание к ближнему, к бедности, даже характер человека—все это в другом забываем, обвиняем и сыплем укоризнами.—За что, спрашиваю? За то, что не умеешь быть жидом, за то, что не обогатился, за то, что он одинок, за то, что не эгоист и скряга, за то, что обстоятельства, месть проклятая и неопытность противятся всему? Жалко, горестно говорить это, но между тем все это—сущая правда. Разбери, любезный Пущин, подумай хорошенько, вникни во все, распространя все то, что я еще не досказал, и ты совершенно будешь со мной согласен.

Ужасно жаль, что Николай Иванович хочет завтра к обеду выехать отсюда; может быть нам еще посторонние люди помешают быть наедине. Много я сказал бы обо всем, многое я бы ему объяснил и пересказал бы то, чего ты никогда не услышишь и никто к тебе об этом не напишет.

¹⁾ Бечаснов (или Бечасный), Вл. Ал-др., жил близ Иркутска в дер. Смоленщике.

²⁾ Петр. Алдр., жил в с. Усть-Куде близ Иркутска.

Ты просишь меня, чтобы я не хандрил, чтобы я не скучал:—не возможно, мой милый Пущин! Всю жизнь мою я всегда был между товарищами; я теперь одинок. Будущности—никакой, надежда всякая отринута. Мозалевский гораздо беднее меня, но он счастлив: у него одно утешение и радость—кабак. Я, к счастию моему, не могу иметь подобных утешений, но за то у меня другие душевые потребности: я страдаю за себя и других; это мой удел, и я ему покоряюсь.

Прошу тебя—не скучай моей хандрий, не думай, чтобы я не хлопотал и не действовал: все делаю—все этому свидетели—и все—неудача за неудачей, потеря за потерей, расстройство за расстройством. Я прожил 4 тысячи рублей, наделал кучу вещей, думая золотые горы приобрести—все потерял, все разстроил и только рад тому, что моя совесть чиста, что всем прямо в глаза гляжу, что не потерял доброго имени и ничего не приобрел. Конечно, в глазах других это худо, глупо, преступно—оттого я и десять детей любви имею,—но это все ничего. Я душевно спокоен, уважаем знакомыми, любим окружающими. Меня все обвиняют, что я до глупости добр, не могу никому ни в чем отказать, неаккуратен, не хозяин, расточителен не для себя, а для других. Я все это знаю; знаю, что доброта моя не только глупа, но вредна для меня; я знаю, что я скоро буду без куска хлеба,—и все это—отчасти местность, обстоятельства, а главное мой глупый характер, который состоит в том, что чужое добро лучше беречь умею, чем свое. Все это меня разстроило, уничтожило физически, но не нравственно, и мне кажется, чем более я проигрываю в физическом, тем более нахожу утешения и силы в нравственном. Не думай, мой неоцененный Пущин, что ежели я тебе жалуюсь на мое положение, то это значит мое отчаяние и мой вопль на сострадание; нет—это только излияние души встревоженной, тайной горести к человеку, которого люблю и уважаю всей душою.

Вы оба¹⁾ у меня спрашиваете, как я живу, чем я занимаюсь? Признаюсь,—материя скучная писать об этом, но что-нибудь скажу. Занимался я прежде по совету глупому Арсеньева²⁾ извозом бревен в казну, имел 14 лошадей; потерял на этом убытку до 900 руб. и бросил. Взялся по совету других за мыло, потерял до 2.000 рублей,—и главное все по совету Ильинского, покойника,—и кажется, и это брошу, потому все с убытком действую. Мы с Ильинским думали чудеса делать, и он же взялся продавать все оптом; взялся в первый раз продать, и я получил убытку 600 руб.; второй раз—убытку около 400 руб.; наконец, он умер. У меня теперь денег нет; губернатор иркутский задержал остальные 2.000 руб.³⁾ до будущего года, и теперь я не знаю, что делать: без денег и калача не получишь, не только мыла еварить. Буду жить целый год в долг, а что работать и делать, не знаю; придется продавать то, что в запасе. Вы скажите, зачем

¹⁾ И. И. Пущин и кн. Е. П. Оболенский, который был переведен в Турунск в 1842 г.; он просился туда, чтобы быть с Пущиным.

²⁾ Александр Ильич Арсеньев, горный инженер, управлявший заводом.

³⁾ Из наследства после брата, пересланного сестрами.

предпринимать то, от чего не ожидаешь выгоды. Что ж мне делать, когда ошибаются в этом знатоки, местные жители, торговцы, а мне и подавно можно ошибиться. К тому же меня многие обманули: взяли деньги и пропали, в том числе и 200 руб., которые я чрез одного каналью жида послал Борисову.

Теперь скажу в ответ вам еще на второе ваше письмо, господа турины экономы, думая однако же, что я уже вам наскучил своим вздором. Пущин пишет: „Не понимаю, почему ты не ищешь соединиться с близкими товарищами“, и прибавляет: „С самого начала меня удивило твое намерение оставаться там“ и проч. Вспомни, ты, любезный Пущин, то время, когда мы собирались на поселение и когда объявили свое желание куда быть поселенным. Скажи мне, кто меня приглашал с собою ехать и жить вместе. Никто. Близкие мне нашли других; я оставался один. Я просился (кажется с Оболенским) в Удинск, а потом в Петровский; нас в Удинск не пустили. Я сначала радовался, что меня на старом пепелище оставили; и точно, я сначала против других выигрывал своим положением. Но ты сам знаешь, все ли остались на тех местах, где были прежде поселены: все говорились, перепросились и соединились; а я впоследствии остался один. Обстоятельства и местность доверили то, что неопытность и незнание жить одному с чужими людьми показывало начало хорошее. Проситься же с другими жить теперь я ни за что не стану, потому что ко мне не пишут; а насильно милым не хочу быть; лучше буду горевать, страдать, но быть в тягость кому-либо ни за какие благополучия не соглашусь.

Все, чего не дописал, доскажу Николаю Ивановичу. Жаль только, что он у нас мало проживет. Насонов трудится в поте лица и отлично себя ведет—перестал пить и кланяется вам; у меня бывает очень часто и у нас всегда разговор с ним о вас. София¹⁾ живет в бедности; Лука в казенной работе день, ночью хворает. Отец Капитон здоров, усердно клянется обоим вам и никуда не был назначен. Отец Поликарп²⁾ жив, здоров, кланяется. Анна Васильевна тоже; Хариеса³⁾ чудесная и прекрасная девица,—мне кума и еще не вышла замуж, да никто и не сватался.

Ничего мне так не обидно, что Оболенский утверждает, будто бы я на его письма не отвечал; свидетельствуясь отцом Поликарпом, что я писал к тебе, любезный Оболенский, но между тем этот Жданов кучумоих писем затерял и после мне при отце Поликарпе отдал назад; и ежели бы ты дал знать мне, которого числа будешь в Удинске, я бы непременно приехал бы с тобою лично проститься⁴⁾. Ты желаешь, чтобы я женился; мне это все говорят, все мои знакомые советуют, а сестра просит

¹⁾ Софья Михайловна, крестница кн. М. Н. Волконской (см. письмо от 20 мая 1841 г.).

²⁾ Поликарп Павлович Сычев, священник в Петровском Заводе.

³⁾ Хариеса Поликарповна Сычева, дочь священника Сычева, позднее жена Селенгинского купца Д. Д. Старцева.

⁴⁾ Во время переезда Е. П. Оболенского из дер. Туругаевой Иркутской губ. в Турийск.

даже, чтобы я женился. По моему мне бы самая лучшая жена была бы или бы Пущин, или бы Борисов, или ты, или бы Поджио. Вот мои жены, с которыми я готов жить целый свой век. Что же касается до женщин—не наша, брат, еда лимоны¹⁾!

Обнимаю мысленно вас, целую, мои милые, любезные, Иван Иванович и Евгений; будьте здоровы; простите, ежели письмо мое вам наскучит. Когда бы я с вами увиделся, мне кажется я проговорил бы с вами три месяца. Многое я вам еще не досказал: ни время, ни место не позволяет продолжать с вами беседу. Прощайте и пишите

(Приписка вверху страницы)

к вампemu навсегда И. Горбачевскому.

Завалишин вместо поселения оставлен в работе, а в прибавок наделал грубости помощнику и теперь по приказанию генерал - губернатора сидит в кандалах и работает.

6.

Петровский Завод. 1843. Октября 30-го дня.
(Пом. Пущина: Пол. 2 декабря).

Долго я ждал твоих писем, любезнейший Иван Иванович, и видя, что ожидания мои напрасны, решился сам к тебе писать. Не верю, чтобы ты меня забыл; может быть болезнь или другие причины твоего молчания. Не знаю и не помню—это так давно было,—от которого числа ты писал ко мне последнее письмо. Скажи мне откровенно причину твоей ко мне немилости; странно для меня будет, неужто и ты умеешь сердиться. Было бы за что,—пожалуй, сердись и молчи; но так как, по-моему, ничего этого быть не может, то что же причиной твоего молчания? Больно уже и этого утешения последнего для меня лишиться—читать письма тех, которые были некогда близки ко мне.

Описывать тебе мою жизнь не стану: она однообразна от начала до конца; тут ничего нет интересного ни для кого. Завидна ваша участь быть вместе с теми, с которыми жили прежде: моя одинокая жизнь без друга, приятеля, близкого товарища прежнего—тяжела физически и неносна нравственно.

Прошу тебя, любезный Пущин, поклонись от меня Ивану Александровичу Анненкову и скажи ему, что у меня недавно была старуха Овчинникова, бывшая нянька у них и приехавшая сюда к родным, кажется мне, еще прошлого года; просила меня написать к нему о высылке денег, которые, как она сказывает, ей принадлежат (не знаю сколько) и которые она оставила у Ивана Александровича, боявшись взять их с собою в дорогу от разбойников. Я обещал ей это сделать: остальное—не мое дело.

Кланяйся от меня всем товарищам. Оболенскому можно бы обо мне вспомнить; ему кланяется отец Поликарп с семейством, которое все живо

¹⁾ Поговорка, перевятая Горбачевским у Вас. Льв. Давыдова.

и здорово. Крокодилов кланяется Барятинскому, Насонов — тебе: живут вместе. Шишкины — в ужасной крайности. Кланяйся от меня и засвидетельствуй мое почтение Николаю Ивановичу. Письма редко получаю из дома: все больны и хворы — только и новостей оттуда получаю.

Прощай, Пущин; будь здоров. Пиши ко мне.
Твой Иван Горбачевский.

Сообщил *В. Сыроечковский*.

Из воспоминаний А. Н. Хвостова.

От лица, встречавшего б. министра внутр. дел А. Н. Хвостова после его отставки, мы получили запись тех разговоров, которые между нами проходили. Записи были потом систематизированы, но никаких изменений в существе первоначального текста не делалось. Отсюда—некоторая шероховатость изложения. В № 20 и 21 журн. „Былое“ напечатана ст. „Григорий Распутин“. Из воспоминаний С. П. Белецкого. Помещаемые нами записи воспоминаний А. Н. Хвостова частично дополняют, частично исправляют те места воспоминаний Белецкого, в которых идет речь о Хвостове.—*Редакция*.

До первой моей встречи с Распутиным, царь всегда относился ко мне милостиво, на докладах моих касаясь не только дел губернских, но и общеполитических моих взглядов.

Эти отношения с ним установились со времени моего губернаторства в Вологде, когда я знакомил его с положением печерского края.

В бытность мою нижегородским губернатором, столь далеко от Петроградской и придворной жизни, я недостаточно хорошо был знаком с тем, что представлял из себя Распутин, а между тем за неделю до убийства Столыпина он неожиданно явился ко мне и стал вести со мной переговоры от имени царя о принятии мною поста министра внутренних дел.

Меня забавляла эта история, его причтания, словечки, молитвы и другие выходки, и я сперва не противоречил ему. Но мне надо было куда-то срочно ехать, и я его покинул, сказав, что он может, если хочет продолжать начатый разговор, дожидаться моего возвращения.

Вернувшись обратно, я узнал от чиновника особых поручений, что в мое отсутствие Распутин передал ему телеграмму для отправки в Петроград на имя Вырубовой. Чиновник особых поручений копию с нее послал на телеграф, а подлинник передал мне. Телеграмма была составлена в благосклонном духе. Хорошо помню из нее одну фразу: „благодать божия почнет на нем“.

Мы возобновили наш разговор. В конце своего предложения о назначении меня министром внутренних дел, он заявил лишь об одном условии, которое ставится мне, а именно: „Быть наружно в холодных отношениях с Витте, но вполне подчиняться ему“.

Повидимому, подыскивали министра внутренних дел на место Столыпина, так как назначение его наместником на Кавказ тотчас же по окончании киевских торжеств было предрешено.

Из поставленного Распутиным условия можно заключить, что последний, поддерживался Витте, а, может быть, был даже его ставленником в целях дискредитировать царский дом.

В виде решительного и окончательного ответа на сделанное мне Распутиным предложение, я, во-первых, приказал полицмейстеру Ушакову, человеку очень внушительного вида и решительному, посадить Распутина в вагон поезда, отходящего из Петрограда, выпроводив из пределов Нижнего,—а, во-вторых, на прощание сказал Распупину, что, если бы царю я понадобился, так он сам бы сделал мне это предложение, вызвав меня к себе или подняв об этом вопрос при последнем моем личном докладе, а что рассматривать его, Распутина, как генерал-адъютанта, посланного мне царем с таким поручением, я не могу; если же он подослан ко мне Витте, то я прошу ему от меня кланяться.

Распутина выпроводили, а мне с почты прислали копию телеграммы, посланной им с дороги, в которой он отзывался обо мне не лестно.

Результатом этого инцидента было то, что при следующем моем очередном докладе царю, он не подал мне руки, стал и, глядя в окно, выслушал мой доклад, ни слова не промолвил и кивком головы отпустил меня.

Приблизительно в это время скончалась моя мать и надо было заняться хозяйством в моем имении, Елецкого уезда. Совмещать это с губернаторством было невозможно, и я замыслил пройти в государственную думу.

Сперва я думал пройти по Вологодской губернии; однако, туда приехал Гурлянд и предупредил, что допускать этого не следует. Получив эти сведения от Вологодской полиции, я стал усиленно муссировать слухи о моей кандидатуре в члены государственной думы именно по Вологодской губернии, а между тем через Ветчинина¹⁾ подготовил почву к выбору меня в члены государственной думы по Орловской, что мне и удалось.

В думе, встретили меня очень враждебно, я год не выступал, ограничиваясь собиранием материалов по синдикату нефтепромышленников, затем по синдикату электрических обществ и т. д.

До меня, министрами внутренних дел были: Макаров, который не удовлетворил царя, потом Маклаков, который, напротив, его очаровал. Но тут, однажды, Николай Николаевич ультимативно потребовал от царя отставки всего кабинета; тогда ушли и Маклаков, и Щегловитов, и другие. Ему подсунули Щербатова, человека не имеющего никаких административных способностей и царю неприятного именно тем, что он был подсунут Николаем Николаевичем.

В этот же период времени я выступил в думе с речью по вопросу о немецком засилии.

На речь мою обратили внимание.

В ту пору мне приходилось бывать у императрицы Марии Федоровны, определенной германофобки.

Однажды она мне сказала, что сын ее хотел бы, чтобы я ему представился. Приемы в то время были отменены, и потому она посоветовала подать об этом прошение.

¹⁾ Елецкий уездный предводитель дворянства, член государственной думы и влиятельный „правый“ в среде Орловских дворян.

Я прошение подал, не ставя мотивировки своего ходатайства. Царь на этом прошении написал, что хочет меня видеть для разговора по вопросу о немецком засилии.

Я был им принят. Он был очень любезен, долго со мною говорил по общим вопросам политики и под конец сказал, что мне было бы хорошо представиться и Александре Федоровне (как человек в высшей степени упрямый, он, повидимому, поддавшись влиянию Александры Федоровны после моей истории с Распутиным, все же продолжал питать ко мне доверие и симпатию). Когда я спросил, как мне это сделать, он сказал, что сам с ней об этом говорить не будет, и что мое дело, как это устроить.

Будучи всем этим заинтересован и не зная, как исполнить его желание, я обратился к Вырубовой, которая с восторгом на следующей же день устроила мне частный прием у Александры Федоровны. Этому делу способствовал и Михаил Михайлович Авдюнников, бывший одним из немецких агентов во всеобщей компании электричества 1886 года (на это у меня впоследствии были документы).

Вообще, к моему удивлению, немецкая партия определенно сочувственно относилась к моему назначению на пост министра внутренних дел. Впоследствии мне удалось выяснить причины такого ко мне отношения Александра Федоровна меня не любила и сперва была против моего назначения, но немецкая партия учла то обстоятельство, что у меня было подготовлено еще несколько речей по поводу немецкого засилия, основанных на огромном количестве материалов, собранных и полученных мною по этому вопросу. Своими намерениями я делился в фракционных заседаниях правого крыла государственной думы и, повидимому, это дошло и до правых немецкой партии.

Речи мои могли иметь большое значение, почему партия и решила обезвредить меня, как члена думы, убедив Александру Федоровну, что я буду гораздо менее опасен, как министр внутренних дел, чем как член думы, и что поэтому мое назначение на этот пост желательно.

Я чувствовал, что меня кто-то подталкивает—все само шло мне на встречу.

Через день после свидания с Вырубовой мне был назначен прием у царицы; при этом я был предупрежден, что ехать к ней надо не в мундире, а во фраке.

На вокзале в Царском Селе меня встретил придворный лакей, проводивший меня к высланной за мною карете. Подвезли меня к малому подъезду и сейчас же провели к Александре Федоровне. Перед ней стояла бульотка, она пригласила меня сесть, предложила чаю и начала разговор, сказав, что помнит меня и очень ценит, но что сердце и душа не соответствуют у меня уму, что они загрубели. При этом она вспомнила мой инцидент с Распутиным в Нижнем. Затем, предупредивши, что ей нужно поговорить со мною серьезно и обстоятельно, она сказала приблизительно следующее:

— Мой муж не раз уже подумывал о назначении вашем на пост министра внутренних дел, и, действительно, Щербатов совершенно не годится.

Но сознаюсь, что я этому препятствовала вследствие того, что вы так отрицательно относитесь к Григорию Ефимовичу. Вот почему назначение ваше возможно, но на известных условиях. А условия эти таковы: 1) назначение товарищем министра внутренних дел Белецкого; 2) передача в его исключительное ведение всех дел как по охране нашей семьи и Григория Ефимовича, ввиду загрубелости вашей души и вашего отношения к нему, так и по политическому разыску; 3) абсолютное ваше невмешательство в круг его деятельности. Ведь, строго говоря, следовало бы образовать для этого особое министерство, но во избежание лишних разговоров, делать это нежелательно. За то я вам гарантирую полное его невмешательство в остальные дела министерства. Если же ваши области в каком-либо вопросе столкнутся, то прошу обращаться за окончательным разрешением ко мне, так как муж, проводя большую часть времени в ставке, просил меня помочь ему в этом деле. Ваше назначение теперь тем более возможно, что я получила от Григория Ефимовича телеграмму, в которой он благословляет это намерение наше. Если вы на эти условия согласны, то дня через два состоится ваше назначение.

Я попросил времени, чтобы обдумать этот вопрос.

Она спросила: „Ведь вам два-три дня будет для этого достаточно?“ Я ответил утвердительно.

Она попросила меня привезти ей ответ, приехав на этот раз в сюртуке, и отпустила.

Обдумывать мне пришлось одному, так как никого из близких мне людей в то время в Петрограде не было (с дядей, Александром Алексеевичем*), я не советовался, так как отношения у меня с ним недостаточно близки и политически мы не сходимся: он разрушал все то, что было создано Иваном Григорьевичем Щегловитовым, понимавшим положение; он широко стал допускать евреев в присяжные поверенные и проводил другие „либеральные“ реформы, очень нравившиеся обществу. Делал он это под влиянием Манухина, который, в свою очередь, после поездки на Ленские прииски, находился под влиянием Керенского).

Обдумав все, я пришел к следующим заключениям и положениям:

1) Делать мне нечего, никакой определенной и продуктивной работы не имеется, а тут, может быть, удастся провести законы о немцах, что я считал в то время одним из важнейших вопросов.

2) Может быть, несмотря на охрану Распутина дворцовой охраной, департаментом полиции, с Белецким во главе, контр-разведкой, евреями, банками и проч., — все же, благодаря своему положению, удастся разделаться с ним.

3) При условии, что я продержусь год, я буду председателем совета министров, потому что Горемыкин стар и плох, а министерство внутренних дел органически связано с креслом председателя.

Тогда общая политика будет в моих руках и что-нибудь удастся сделать. А я считал необходимым провести целый ряд „либеральных“ законов, но,

^{*}) Министр юстиции (Ред.).

при этом, поступать так, как практикуется заграницей, т.-е. ослабив режим в смысле управления „через приставов“, взять рублем, а именно: заинтересовать и привлечь на сторону правительства бакчи, промышленность и т. п., одновременно с этим завалив ту пропасть, которая начала образовываться между дворянством и купечеством, т. е. здоровыми элементами страны.

4) Назначение Белецкого мне не помешает. Он знаток своего дела, техника которого мне мало известна и меня не интересует, а необходимое мне, т.-е. окончательные результаты его деятельности, я получать буду.

Основываясь на этих соображениях, я поехал к Александре Федоровне и сказал ей, что согласен. Она, в ответ на это, сообщила мне, что меня хотел бы видеть государь.

Я был принят им. Он поговорил со мной о политике вообще и на прощанье сказал, что теперь будет особенно интересоваться моими речами в думе.

Только что я вернулся домой в Петроград, как мне передали по телефону, что меня просит к себе Горемыкин.

Когда я приехал к нему, он показал мне письмо царя о моем назначении (следовательно, царь со мною говорил после посыпке этого письма, что, впрочем, мне удалось впоследствии проверить. Характерный для царя штрих). При этом он сказал мне, что это сделано против его желания (он вел в министры внутренних дел Крыжановского).

Затем он долго говорил о том, что все происходящее и эта глупая война так ему надоели, что все так скучно, что так мало и война и наши неудачи его интересуют, что военный министр все время делает глупости, но что и пусть делает, так как нас это не касается, что нам нечего в его дела и неудачи вмешиваться, так как у нас есть свое дело и т. д. на ту же тему; а в заключение, что конечно я могу к нему обращаться, если это понадобится, но это хорошо будет, если я этого делать не буду, так как все это ему так надоело и все что так скучно.

Это был разговор председателя совета министров с министром внутренних дел¹.

С Белецким у меня сперва отношения были средние,—после нижегородской истории с Распутиным департамент полиции меня преследовал, но как знаток своего дела он был незаменим.

После того, как состоялось мое назначение, я предупредил его о намерении Александры Федоровны назначить его товарищем министра и поручить ему охранное отделение и политический розыск.

Он был назначен, и я принялся за работу, преследуя две цели: восстановление сыска, который разрушил предатель Джунковский, и разработку законопроектов по борьбе с немецким засильем.

Вы у меня спрашиваете, почему я называю Джунковского предателем? А вот почему. Я еще понял бы Джунковского, если бы он, будучи назначен директором департамента полиции*) и ужаснувшись системы сыска,

¹) В действительности тов. мин. вн. дел., завед. полицией (Ред.).

сразу уничтожил ее, как бы желая отрясти прах от ног своих, но в том-то и дело, что в течение целого года он терпел эту систему, пользуясь плодами трудов его предшественников, собирая сливки достигнутых результатов, а затем вдруг выдал председателю государственной думы Малиновского — самого ценного для нас агента, руководителя крайней группы. Вследствие такого высокого положения Малиновского в партии, министерство внутренних дел было осведомлено обо всех ее намерениях — это был человек совершенно незаменимый.

Чем объясняет такого рода поступок? Я его объясняю влиянием масонов, к которым Джунковский, повидимому, имел касательство.

Пришлось все это восстанавливать. В техническую сторону я не входил, а только все время поддавал перцу. Повлиял и на членов комитета, делавшего постановления об административной ссылке, поговоривши с каждым из них. „В восточнуюсибирь! В восточнуюсибирь!“ Туда понемногу отправлялись Крыленко и другие. Всего за пять месяцев мы таким образом ликвидировали не один десяток организаций.

Попутно с этой работой в департаменте духовных дел, куда я передал все имевшиеся у меня документы по борьбе с немецким засильем, разрабатывались соответственные законопроекты для внесения в ближайшую сессию государственной думы. В результате у меня их было подготовлено штук двенадцать.

В это время в России обращала на себя внимание немецкая ячейка в Харькове. В виде примера указу на харьковский химический завод, изготавливший жидкость для противогазовых масок. По получении такого рода противогазовых масок на фронте выяснилось, что они от газов не предохраняют и люди мрут. Так погибло сперва тысячи две солдат, потом тысяч пять — шесть...

Тогда спохватились, и удалось через принца Ольденбурского настоять на расследовании этого дела. С этой целью остановили в пути поезд, шедший с масками на фронт, исследовали содержание противогазовой жидкости и выяснили, что состав ее был вдвое слабее, чем полагалось. Стали расследовать дело на заводе, директором которого оказался немец. Показания его очень интересны; он написал, что он офицер ландштурма и что „русские свиньи должны были дойти до совершенного идиотизма, думая, что немецкий офицер мог поступить иначе, т. е. не помогать Германии в этой войне, даже находясь в России“.

И видно было, как систематично, всюду, где они были, клались палки в колеса нашей промышленности или фальсифицировались изготовленные предметы, делая их к употреблению не пригодными.

Вот почему я счел необходимым обратить на эту сторону нашей внутренней жизни особое внимание.

По приезде Распутина в Петроград, Александра Федоровна пожелала свести меня с ним.

Произошло это у Вырубовой. Александра Федоровна и я уже были, когда появился этот мужик. Она встала, сделала земной поклон и поцеловала подол его поддевки.

Тут я имел случай наблюдать, что она находится под его гипнозом совершенно.

Одно могу сказать с уверенностью, что физических отношений между ними не было. В этом я уверен потому, что с целью выяснения их отношений, мною была подкуплена вся дворцовая прислуга: лакеи, повара, кучера,—и ничего подобного не оказалось. Да ему и не было в этом надобности—у него в распоряжении было достаточно женщин всех сортов, хотя должен сказать, что я не только считал Александру Федоровну умной, но что она мне нравилась и как вообще интересная женщина. Кроме того, как умный мужик, он может быть, даже понимал (чувствовал), что после физической связи с ней, он может потерять над ней ту силу, которой обладал и пользовался. С другой стороны, он никогда ни от нее, ни от царя не взял ни одной колейки, тем самым являясь в их глазах бессребренником,—ему достаточно было тех денег, которые он получал со стороны, которые ему отсыпали столь многие: и Митька Рубинштейн, и Манус, который был с ним очень близок, и другие.

Понятно, что, тратя большие суммы на подкуп всех окружающих ее, мне было так трудно объяснить, куда девался тот миллион, об израсходовании которого с меня требовало объяснения временное правительство.

Я считаю, что могущество Распутина заключалось в его громадной гипнотической силе. Такие гипнотизеры, как он, рождаются раз в столетие. Скажу например, о том, что я лично ощущал; так, когда я однажды несколько лет перед тем захотел по просьбе жены лечиться гипнозом от грызения ногтей и обратился к доктору Далю, ему не удалось меня загипнотизировать, несмотря на все мое желание поддаться его силе, и он тогда сказал, что во мне есть известная противодействующая сила, от моей воли даже независящая. Силу же гипноза Распутина я на себе ощущал очень определенно. Не смотря на него и поворачивая голову затылком к нему, я чувствовал тяжесть в затылке и что будто какие-то токи начинали проходить по голове. Благодаря особой системе усаживаться в своем кабинете, когда он посещал меня, таким образом, что, отворачиваясь от него, мне удавалось в зеркале видеть его лицо, я выяснил, что, стоило мне от него отвернуться, как он сейчас же сосредоточивал на моем затылке стальной пронизывающий взгляд, концентрируя на моей голове, если можно так выражаться, свои лучи, исходившие из его глаз. И, одновременно с этим, я начинал ощущать эту тяжесть и эти токи. Я боролся против этой окутывавшей и пронизывавшей меня силы, направлял всю свою волю (а она у меня не слабая), чтобы не поддаться его влиянию, и мне стоило это огромных усилий—даже во сне он преследовал меня.

Я считаю его креатурой Витте, который всячески старался дискредитировать царскую семью. Со смертью Витте, по-моему, „хозяина“ у него не было, почему и определенной системы в его действиях не замечалось. На него тогда влияли больше других, я полагаю, его секретари: то один то другой урвет, а у него их одновременно бывало до шести и, между ними, Манасевич-Мануйлов, несомненно немецкий агент. Большинство остальных были какие-то еврейчики.

Поэтому он действовал под влиянием и немецких агентов, и массонов. К влиянию последних можно отнести и создание карьеры Питириму, этому озлобленному латышу, проворовавшемуся в бытность свою Тульским епископом, оставшемуся после этого времени в тени, впоследствии, благодаря Распутину, сделавшемуся экзархом Грузии и, наконец, митрополитом. Как экзарх Грузии, он всячески проводил автокефалию грузинской церкви и впоследствии определенно работал над раздроблением и разрушением православной церкви.

Меня погубили, с одной стороны, неудавшиеся и раскрытие покушения на жизнь Распутина, которых было четыре, а во-вторых, беспокойство немецкой партии, опасавшейся выработанных мною законопроектов о ликвидации немецкого засилия. В скором времени должна была начаться сессия государственной думы, и законопроекты эти имели все шансы пройти.

Немецкая партия предотвратила эту опасность, свалив меня и посадив на мое место определенно своего кандидата — Штурмера...

Письма И. А. Гончарова В. П. Боткину¹⁾.

Знакомство и приятельство Гончарова с В. П. Боткиным вероятно завязалось в конце сороковых годов через петербургский кружок Белинского. В. П. Боткин, как известно, был личным близким другом критика с тридцатых годов прошлого века. С конца сороковых годов Боткин по делам торгового дома Боткиных стал часто наезжать в Петербург, и здесь не мог не встретиться с Гончаровым или у Белинского, или может быть в литературном салоне Майковых (художник Майков и его сыновья, Аполлон и литературный критик Валериан Майковы), где Гончаров был своим человеком. Литературную известность Гончарову дала его „Обыкновенная история“. Прослушав в конце 1846 г. или начале 1847 г. рукопись романа, Белинский осыпал автора „добрими ласковыми словами“, рисуя, как вспоминает Гончаров, „свой критический взгляд на меня мне самому и заглядывая в мое будущее“. Гончаров при этом невольно задел Белинского, выразив пожелание, чтоб через пять лет он повторил хоть десятую часть теперешних похвал. В письме Боткину 4 марта 1847 г. Белинский пишет ему, между прочим, свое о Гончарове откровенное мнение, но вполне не лестное, как о человеке, ставящем его тем не менее очень высоко, в сравнении со старым приятелем по московскому кружку И. Н. Кудрявцевым: „Ты видел Гончарова. Это человек пошлый и гаденький (между нами будь сказано). В этом отношении смешно и сравнивать его с Кудрявцевым. Но сильно ли понравится тебе его повесть или и совсем не понравится, — во всяком случае, ты увидишь великую разницу между Гончаровым и Кудрявцевым в пользу первого. Эта разница состоит в том, что Гончаров — человек взрослый, Кудрявцев — духовно малолетний, нравственный и внутренний недоросль“... М. б., неудовольствие на Гончарова было вызвано тем, что он проявил большую расчетливость, подняв тогда значительно свой гонорар, при чем по словам Некрасова „хныкал, и жаловался, и скучел“. (Белинский, письма, III, стр. 359). „Обыкновенная история“ была напечатана в № № 3 и 4 „Современника“ и произвела „фурор— успех неслыханный“, по словам Белинского, в письме Боткину 15-17 марта говорившего об этом восторженно и в печатной своей статье повторившего свое восхищение. В. П. Боткин принимал в судьбе и успехах „Современника“ близкое участие и сотрудничеством, и прямыми субсидиями. Естественно, что и с Гончаровым у него завязались отношения, перешедшие в дружеские, о чем и говорят пять далее помещаемых писем Гончарова

¹⁾ Из архива В. П. Боткина.

В дневнике Никитенко встречи Боткина и Гончарова на разных собраниях литературного круга отмечены под числами: 1 янв. 1859 г., 8 янв. 1861 г., 2 февр. 1864 г. и 1 марта 1868 г.

В. Чешихин-Бетринский

I.

Любезнейший Василий Петрович,

Всем приятелям хочется сказать хоть по одному слову перед отъездом в дальний и неверный путь. Мне осталось пробыть в Петербурге всего несколько часов: что-ж могу сказать, кроме прости, но прости до свидания. Языков Вам объяснит куда и зачем я еду—еду везде, но зачем, еще сам хорошенько не знаю! Еду вокруг света, но далеко ли уеду с своим здоровьем и не вернусь ли с дороги—это вопрос, которого теперь разрешить не берусь.

Во всяком случае до свидания: я увезу с собой воспоминание о Вашем дружеском слове, которым Вы приветствовали мое появление на литературном поприще и однажды даже письменно. Я помню, что это мне сделало большое удовольствие: Ваше одобрение чего-нибудь да стоит.

Поклонясь добрейшему и любезнейшему Николаю Петровичу.

До свидания, до свидания, до свидания.

Ваш Гончаров.

26 Сентября 1852

Накануне отъезда.

Это письмо Гончарова Боткину писано накануне предполагаемого выхода из Кронштадта в море „Фрегата Паллада“. Гончаров на нем ехал вокруг Европы, Африки и Азии в Японию в качестве секретаря дипломатической миссии адмирала Путятина. Но „Паллада“, прославленная впоследствии Гончаровым, отплыла не 27 сентября 1852 года, как предполагалось, а только 7 октября. Об этих отсрочких отъезда см. в начале книги Гончарова, который, в конце-концов, после пребывания с фрегатом в Англии, одолел свою нерешительность и проделал свое знаменитое путешествие. Упоминание Гончарова о том, как приятны были ему отзывы Боткина, признанного тогда в кружке знатока и ценителя художественной литературы, относятся видимо к устным его отзывам, может быть, подсказанным и авторитетом Белинского. „Языков“—Михаил Александрович Языков, известный приятель Белинского и его кружков. „Николай Петрович“—брать Вас. Петр. Боткина, близко стоявший к тем же кружкам. З письма Гончарова к Н. П. Боткину опубликованы в № 1—4 „Голоса Минувшего“ за 1919 г., стр. 236.

II.

30 января [1859] г..

Сейчас только получил я Ваше письмо, сладчайший Василий Петрович, и сейчас же посыпаю Вам рекомендательное письмо к Директору Кяхтинской Т-ни для Влад. Петров. Я прилагаю и пакетик, чтобы Вы прежде прочитали, годится ли письмо; и если годится, то вложите в пакет, на котором есть и клей, чтоб закрыть его наглухо, без всякой печати. А если не годится, то напишите поскорей, что надо сказать в письме, и я пришлю другое (Адрес мой в доме Устинова, а не Щербатова).

Видите, как мерзко пишу, не назовете „сладкопевцем“, что делать: некогда! Кругом я обложен корректурами, как катаплазмами, которые так и тянут все здоровые соки и взамен дают геморрой. А Вы таки не можете не читать Обломова: что бы подождал до Апреля! Тогда бы зорким оком обозрели все разом и излили бы на меня—или яд, или мед—смотря по заслугам.

Тургеневская повесть делает фурор, начиная от дворцов до чиновничих углов включительно.— Я все непокоен, пока не кончится последняя часть в Апреле, только тогда вдохну свободно, а вчера еще сдал всего вторую часть в печать: теперь ее оттiskивают. Неожиданно выходит, вместо 3-х, четыре части, несмотря на убористый шрифт От. Зап.

Сегодня мы обедали у Тургенева и наелись ужасно, по обыкновению. Вспоминали Вас и бралили, что Вы не здесь. Он все по княгивам да по графиням, т. е. Тургенев: если не побывает в один вечер в трех домах то печален. Нового ничего нет.

В ожидании скоро видеть Вас, прощайте.

Жму Вашу руку

И. Гончаров.

В письме к Мессу я немного распространился о Вас: это ничего, лучше поможет.

Второе письмо Гончарова от 30 января относится к 1859 году, так как в письме речь о романе „Обломов“, печатавшемся в 1—4 книжках журнала „Отечественные Записки“ за этот год. Тогда же в „Современнике“ в 1-й книге, появилось „Дворянское гнездо“, о котором и говорит далее Гончаров. Фурор „от дворцов до чиновничих углов“, произведенный „Дворянским гнездом“ на первое время совершенно заслонил собою „Обломова“. Отношения между Тургеневым и Гончаровым в данный момент еще вполне дружественные, вскоре испортились, вследствие подозрительности и интриг Гончарова, вообразившего, что тот пользуется для своих произведений тем, что слышит от него при чтении „Обрыва“, тогда существовавшего лишь незаконченными частями. Еще раньше претензии Гончарова Тургенев вычеркнул какое-то место из „Дворянского гнезда“, а „Накауве“ в следующем году подало повод к третейскому суду между обоими писателями, после чего Гончаров навсегда сохранил злой зуб против своего соперника.

Письмо к директору Кяхтинской таможни Мессу (назван в ковше этого письма) было написано И. А. Гончаровым, служившим до поездки на фрегате „Паллада“ в министерстве финансов, для брата Вас. Петр. Боткина очевидно по делам чайной торговли Боткиных. Упоминание и забота о пакетике с готовым клеем довольно характерны для Гончарова, аккуратного поклонника „комфорта“. Коверты с клеем были тогда новым изобретением и долго еще не вытеснили старых сургучных печатей на письмах. „Дом Устинова“—на Моховой, в котором Гончаров прожил до смерти.

„Кругом я обложен корректурами“—корректуры романа „Обломов“ и цензорские.

III.

23/4 Июня/ля 1866.

Мариенбад.

Hôtel Stadt Brüssel, № 9.

Я ужасно обрадовался Вашему письму, дражайший Василий Петрович, и если в это глупое время можно расчитывать, что через неделю или через две будешь там, где хочется, то я расчитываю сойтись с Вами или в Баден-Бадене, или же вместе тешиться волною морской в Трувилле. Я купался

всегда в Булони, где берег восхитительный, песок мягок, как бархат, волна сильная, где есть и Casino, в роде клуба, и отели на самом берегу, с англичанами, с комфортом, с отличным столом, наконец, театр и проч. Но я могу приехать и в Трувилль, если только не помешают — Прусский король и Бисмарк, с одной, и Австрийский император с Бенедеком, с другой стороны. Мы здесь — в осадном положении: недавно Пруссаки были на богемской дороге и я, пивши, накануне занятия ими Саксонии, победы их в Берлине, за *table d'hôte*, на другой день бежал от них же с Саксонцами и другими немецкими национальностями, что есть мочи, в Австроию и насилиу спасся, не сочувствуя успеху ни той, ни другой стороны и сочувствуя только неуспеху всех немцев вообще.

Мой курс кончается здесь ровно через две недели от нынешнего дня; я постараюсь дотянуть до конца, если только какая-нибудь внезапная суматоха не заставит нас разбежаться ранее, или же, наоборот, не запрет нас здесь надолго. Если Пруссаки проникнут до сих мест, то они сейчас, по своей мерзкой привычке, снимут рельсы с дорог и уничтожат телеграфические проволоки, так что ни конному, ни пешему проезда не будет. А они, по слухам, будто бы уже под Прагой. — Письма из России приходят сюда в десятый день, вместо четырех — значит и дороги в Польшу близь Кракова повреждены. Газеты получаются тоже поздно и новостей с театра войны, несмотря на наше соседство с ним, мало: только юмористическое положение Саксонского и Ганноверского королей и развлекает нас немного.

От этого ли общего здесь для всех положения, которое и немцы выражают французским словом *récaige*, или от гнусной моей старости, только я не работаю ничего, хотя одного Вашего тончайшего, артистически-критического одобрения было бы довольно, чтобы заставить меня продолжать труд. Вашим сочувствием только я и измеряю достоинство некоторых, читанных Вам глав — и это живое впечатление, которые они на Вас производили, мешает мне еще бросить эти тетради в огонь и сознаться с благородною откровенностию самому себе, что наше время прошло, как говорит Иван Сергеевич, и притворяется, шалит и кокетничает играя своей артистической силой. Хорошо что он, как атлант, поддерживает на здоровых плечах здоровую литературу и пробивает искусству и поэзии путь сквозь современные плевелы. Теперь сильнее, нежели прежде, будет встречено с сочувствием новое его произведение.

Вы читали, на Вас действует прекрасно — значит, зимой в литературе раздастся — ура!

Прощайте, любезнейший Василий Петрович, оставьте на всякий случай у Ивана Сергеевича Ваш Парижский адрес — и до свидания, если позволит глупейшая из войн.

Ваш И. Гончаров.

Третье письмо Гончарова Боткину писано летом 1866 года из Мариенбада в Австроию, где его захватила „глупейшая из войн“ по его выражению, т.-е. австро-прусская война, испортившая Гончарову спокойное прохождение лечебного курса на водах, заставившая пережить несколько тревожных дней. В Мариенбад Гончаров привозил рукописи своего

, „Обрыва“, из которого продолжал читать отрывки друзьям. В 1864 г. у него на похоронах Дружинина произошло примирение с Тургеневым, последний в 1866 г. подготовлял к печати свой роман „Дым“. С ним Гончаров встречался заграницей миролюбиво.

IV.

4/16 Октября 1866

СПБург,
Моховая улица, дом Устинова.

Спешу уведомить Вас, наилюбезнейший Василий Петрович, что я, встретив несколько раз в клубе Г. Бутовского, нашел случай поговорить с вами о том, что вы желали сообщить ему, и именно: что полезно бы было учредить в Париже посреднический дом, по случаю предстоящей выставки, и что в настоящее время есть там надежная торговая почтенная фирма, которая охотно бы взяла на себя обязанности посреднического агента как между парижской публикой и русскими экспонентами, так и вообще по сношениям с торговыми домами в России и проч. и проч.

Г. Бутовский, не дождавшись конца моего объяснения, объявил, что он знает, о чем и о ком я говорю, что он уже слышал об этом деле, а также и о Г. Дюлу, что об этом ему писал Г. Григорович.

Предложение это, говорил далее Г. Бутовский, чисто-коммерческое, частное, и может быть приведено в исполнение на частных, коммерческих основаниях, что такого рода предприятия предоставляются на волю каждого желающего. Мы можем оказать, заключил он, содействие, но официального значения подобному предприятию придать не можем. Тем и кончился разговор.

Об агентстве Протопопова он также знает и отзывался о нем очень неблагосклонно, как о таком, которое не пользуется ничьим доверием. Между прочим он очень хвалил посредническую деятельность Григоровича и говорил, что он им доволен.

Вот, к сожалению, все, что могу сообщить Вам об этом деле.

По другим делам нового немногого, или я еще не успел вникнуть в новое, едва успев показать сюда нос. Из газет Вы узнаете, что завтра назначена казнь другого главного преступника Иштутина и ссылка некоторых других. Еще неизвестно, будет ли он казнен, или помилован. Но этим эпизодом, кажется, и закончится происшествие 4-го Апреля.

Получая *Московск. Ведомости*, Вы сами прочтете о неладах с *Вестью* за то, что Катков выразил сочувствие к суду, оправдавшему статью Жуковского „Новое поколение“. Завтра уже в заседании здешней судебной Палаты будет рассматриваться это дело, перенесено туда по аппеляции Министерства Внутр. Дел.

По возвращении сюда я нашел, что общественное мнение значительно занято действиями мировых судов и занято субъективно, так как влияние этих судов непосредственно касается почти всех явлений общественной жизни. Ходит по городу несколько анекдотов о забавных исках, об оригинальных решениях, о некотором нигилистическом оттенке в этих

решениях, но очень мало: вообще же дело идет довольно гладко и ровно и для первых шагов удовлетворительно.

Печальную новость о нашем приятеле Дудышкине, конечно, Вы знаете. Он умер за несколько дней до моего приезда от аневризма. Та же история, что с Панаевым: раза два было у него удушье; врачи думали, что это просто прилив крови, дали ему рвотное и от натуги у него ускорился разрыв вены. За час до смерти он еще был здоров и весел.

Отеч. Записки пока продолжаются под редакцией Краевского.

Вам очень кланяются наши общие знакомые дамы. Старшая из них поручила мне напомнить им Ваше обещание побывать у них; другая все помнит Ваши любезно-сатирические улыбки и старается примирить их с подаренным ей перед отъездом букетом, а третья, отроковица, мило благодарит за ласки и персики. Они живут здесь тихо, просто, с предобой маменькой. Прощайте, любезнейший Василий Петрович, — до удовольствия видеть Вас, жму Вашу руку. И. Гончаров.

Извините, что не франкирую письма, за этим надо ехать от меня на Почтамт, а ящик для писем — через два дома от меня. Если вздумаете написать, и Вас прошу не франкировать.

В четвертом письме Гончарова из Петербурга осенью того же года идет речь о предстоявшей в Париже в 1867 г. всемирной выставке. По делам ее В. П. Боткин видимо наводил справки в министерстве финансов, где раньше служил Гончаров. Упоминаемый в письме Бутовский — это м. б., Александр Иваиович Бутовский, экономист, сенатор (1817 — 1890), упоминаемый в „Крит. Биогр. словаре“ Венгерова (СПБ. 1915). Письмо говорит далее о тогдашних общественных злобах дня.

„Григорович“ — известный писатель, Д. В. Григорович, прикованный во второй половине жизни к миру художников.

„Иштия“ — участник известного дела „каракозовцев“. Казнь над ним была отменена в последний момент, после чего он сошел с ума.

„Получая Московск. Ведомости, Вы сами прочтете...“ — Речь идет о деле Пыпина и Жуковского, редакторов „Современника“. Летом 1866 г. они были судом оправданы, судебная палата приговорила их к штрафу по 100 руб. и трехнедельному аресту на военной гауптвахте.

„...Общественное мнение значительно занято действиями мировых судов...“ — Мировые суды были тогда только что введены в столицах.

„Дудышкин“ — известный Степан Семенович Дудышкин, журналист и критик, редактор „Отечеств. Записок“ А. Краевского. Род. 1820 г., умер 16 сентября 1866 г. О его смерти и сообщает Гончаров.

„Панаев“ — вероятно И. И. Панаев, писатель, умерший в 1861 г. „Отечественные Записки“ продолжаются под ред. Краевского — Отеч. Зап. вскоре перешли в аренду Некрасова.

V.

Не совсем безопасный змей геморроя произвел у меня вчера резь, которая и обнаружилась хотя и не сильным, но безмерно ядовитым поносом.

Поэтому я и спешу предупредить Вас, что мне лучше вовсе не обедать сегодня, а то я не утерплю — в милой компании, чтоб не съесть чего-нибудь неподходящего, или не выпить, под Вашим руководством, от гроздий Шампаньи холмистой — и погублю себя перед отъездом.

Я сам забегу к Вам утром, а теперь спешу, пока Вы дома, предупредить (на случай, если Вы заранее, с утра заказали обед), что я, в наказание за неумеренное употребление вчера двух больших груш, наказан лишением обеда вообще, с Вами в особенности.

Надеюсь, Вы еще дома, а я только что восстал и вылезу разве через час из дома.

У меня сегодня и насморк опять.

Ваш И. Гончаров.

Пятое письмо относится к моменту перед одной из поездок Гончарова заграницу

Мелочи прошлого.

Попытка артистки Е. С. Сандуновой нанять дачу.

В июле 1812 г. известная актриса придворного театра Елизавета Семеновна Сандунова пожелала снять в подмосковной Шереметевых, с. Кускове, так называемый „Уединенный дом“. Цена ему была 500 руб. в лето. Но так как половина лета прошла, то Кусковское правление за-прашивало Московское домовое правление, нельзя ли уступить этот дом за 350 р. На это последовало согласие. Однако, уже на другой день Кусковское правление уже совершенно изменило свое решение и писало в Москву следующее: „но как известно, что она (т.-е. Сандунова) с мужем в разводе и при том какого она состояния тоже неизвестно, то лучше от найти того дома ей отказать и более по тем причинам, дабы от приезжающих для посещения ее не благопристойных компаний не могло произойти каких-либо неблагоприятных и вредных для дома казусов или какого калоброду“. Кроме того оно опасалось, что, например, в случае пожара с Сандуновой нечего будет взыскать.

Московское правление ответило на это следующее: „будущего впредь узнать никак неможно, а актрисы Сандуновой ни состояние, ни характер неизвестен—итак буде сумнительно, то лучше не отдавать“. Было решено отказать „политическим образом“—в виду предстоящего якобы приезда из Петербурга опекуна. Так Сандунова и не попала на дачу в Кусково.

(Бумаги Щукина, в Архиве Рос. Ист. Музея в Москве).

К. Сивков.



Е. Н. Водовозова-Семевская
(1898 г.).

ПАМЯТИ УШЕДШИХ.

Елизавета Николаевна Водовозова-Семевская (1844—1923 г.г.).

I.

Если бы нужно было в немногих словах охарактеризовать покойную Елизавету Николаевну Водовозову-Семевскую, то едва ли это можно было бы сделать лучше, чем сказавши: это был человек 60-х годов. Все то светлое, сильное, возвышенное, что характеризует людей той эпохи, нашло в Е. Н. чрезвычайное яркое выражение. Вот что писала Е. Н. на склоне своих лет о людях 60-х годов (Воспоминания. На заре жизни, стр. 607—8): „Люди 60-х годов, конечно, не водворили счастья на земле, не добились они ни равенства, ни свободы, о чем так страстно мечтали, но идеи, которые они разрабатывали и пропагандировали в литературе, с кафедры и в частных беседах, нарушали общественный застой, шевелили мысль, расширяли умственный горизонт русского общества, делали его более восприимчивым к участии обездоленных и трудящихся классов, а мысль о необходимости всеобщего обучения сделалась с тех пор аксиомой. Мало того, только эпоха 60-х годов внесла в сознание русских людей идеалы общественного характера — бескорыстное служение родине и своему народу“... Вот этим-то идеалам — демократическим, борьбе за равенство всех перед законом, за уничтожение сословных привилегий и предрассудков, борьбе с „безнравственностью и лживостью обывательской морали“, горячей проповеди „гуманных идей“, борьбе с тем, что, по словам Е. Н., „наиболее развращало целые поколения в дореформенной России“; — взглядом на труд, „как на настоящий позор“ — и была посвящена долгая и поистине трудовая жизнь Е. Н.

А между тем, казалось, судьба с самого начала не благоприятствовала выработке из нее человека 60-х годов. Е. Н. родилась в 1844 г. в глухом уездном городишке Смоленской губ., в семье небогатого помещика. Отец ее Н. Г. Цевловский, человек культурный и чуждый того крепостнического духа, которым было проникнуто большинство провинциального дворянства, имел благотворное влияние на старших из своих детей. Но в 1848 г., во время холерной эпидемии он умер, и потому Е. Н. не испытала на себе его влияния. Мать Е. Н. — человек со странностями, далеко не мягкого нрава, мало обращала внимание на своих детей. Переехав после смерти мужа в деревню, она вскоре вся ушла в хозяйство. Дети никогда не видели от нее ласки, теплого слова. Эта была та пора жизни Е. Н., которую она потом называла „злосчастным детством“. Единственное ее

утешение и отрада — няня, всей душой преданная семье и детям. Ко всему тому присоединялось гнетущее влияние окружающей крепостнической обстановки, которая, говоря словами Е. Н., „все глубже и глубже погружала русских людей в тину рабства и отчаянного произвола“. Описанию быта крепостной деревни посвящены едва ли не лучшие страницы книги Е. Н. — „На заре жизни“: Васька-музыкант, управляющий „Карла“, дядя Макс, барышни Тончевы, это типы, которые без сомнения занимают одно из лучших мест в русской мемуарной литературе. За этой порой детства Е. Н. наступила другая, не менее тяжкая пора пребывания в Смольном институте. Ярко описывая быт и нравы института в 40—50 г.г. XIX века, Е. Н. с необыкновенной выпуклостью показывает, что Смольный институт той эпохи менее всего мог выработать из своих питомиц „кисейных барышень“: грубость, бессердечие, сухой формализм, двоедущие, лукавство, — вот что характеризует главным образом институтское воспитание той эпохи, вот черты, которые были свойственны тогда как воспитательницам, так и многим воспитанницам. Но если институтки не были „кисейными барышнями“, то еще менее они подготовлялись к тому, чтобы занять потом то место в русской общественной жизни, которое однако многие из них заняли. И тем не менее тот сдвиг в русской общественности, который характеризует конец 50-х и начало 60-х г.г., коснулся и Смольного, и в начале 1859 г. инспектором классов туда был назначен К. Д. Ушинский. Его недолгое пребывание в этой должности коренным образом однако изменило быт и нравы Смольного, а для Е. Н. имело решающее значение на всю жизнь. Под влиянием Ушинского в ней пробудился и развился глубокий интерес к знанию, изменился взгляд на труд — и на труд педагогический в частности, пробудились те „гражданские мотивы“, которые так характерны для людей 60-х годов, и последние годы ее пребывания в институте полны напряженного умственного труда. Наконец, среди новых учителей, привлеченных Ушинским, Е. Н. нашла и своего будущего первого мужа В. И. Водовозова (1825—1886 г.). Выйдя за него замуж вскоре же после окончания института (в 1862 г.), Е. Н. под его влиянием и совместно с ним усиленно занялась теорией и практикой педагогического дела. Поездка за границу преследовала прежде всего эту цель. В Берлине и Швейцарии Е. Н. изучала систему Фребеля — там только что стали возникать так называемые „детские сады“. Результатом этого изучения и этих наблюдений явилась книга „Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста“, вышедшая в 1871 г. и выдержавшая несколько изданий (в 1907 г. вышло 6-е издание). Злосчастное детство и не менее злосчастное (в первые годы) пребывание в Смольном не только не убили в Е. Н. „душу живу“, но наоборот заставили ее выступить на борьбу с тем, от чего она так страдала сама, и что было уделом громадного большинства тогдашнего подрастающего поколения. Эту борьбу она и повела в только что названной книге.

Однако Е. Н. дебютировала на литературном поприще не педагогической работой, а статьей по поводу романа Чернышевского „Что делать?“,

что очень характерно как для эпохи, так и для нее самой. Эта статья появилась в 1863 г. (т.е. когда Е. Н. было всего 19 лет) в „Библиотеке для чтения“. Влияние эпохи сказалось на выборе и на трактовке и другой темы: „Жизнь европейских народов“. Эта работа появилась в 1875 г. и составила 3 тома, которые выдержали несколько изданий. Захват автора очень широкий: природа, нравы, культурное и экономическое положение, государственное устройство, вот под каким углом рассматривалась жизнь европейских народов.

Скудость нашей научно-популярной и детской литературы заставила Е. Н. обратить свое внимание в эту сторону. Результатом этого были книги: „Из русской жизни и природы. „Рассказы для детей“ (1871—1872 г.; в 1905 г. вышло 8-е издание).—„На отдых“ Иллюстрированные рассказы для детей (СПб. 1880 г.)—„Как люди на белом свете живут“, в 10 выпусках (переработка книги „Жизнь европейских народов“). В то же время Е. Н. не переставала работать и в области специальной педагогической литературы, помещая статьи в „Голосе Учителя“, „Педагогическом Сборнике“ (1867—68 г.г.) и проч.¹⁾, а также выпустив книгу „Одноголосые детские песни с русскими народными мелодиями“, книгу, одобренную Худож. Совет. Петерб. Консерватории и выдержанную 6 изданий.

Вся эта напряженная деятельность, проникнутая лучшими заветами эпохи 60-х г.г., создала Е. Н.—не громкую известность в научно-литературных и педагогических кругах. Поэтому ее 35-летний юбилей в 1898 г. нашел громкий отклик как в столичной так и в провинциальной прессе: юбилейные статьи, приветствия, портреты следовали одни за другим.

В последние годы жизни Е. Н. много времени и сил уделяла своим мемуарам. Ее интерес к прошлому—тут было совпадение со специальностью ее второго мужа (с 1886 г.), известного историка В. И. Семевского, побудил ее написать воспоминания „На заре жизни“, охватывающие ее жизнь до окончания института. Продолжением их являются очерки „Среди петербургской молодежи 60-х г. г. Из личных переживаний“, напечатанные в „Современнике“, №№ 3, 4 и 6 за 1911 г. и очерки „Из давно прошедшего“, напечатанные в 1915 году в „Голосе Минувшего“ (№ 10) и „К свету“ (там же, 1916 г. № 4, 5—6, 7—8). Они вошли потом в книгу „Грезы и действительность“ вышедшую в 1918 г. (М. Кн-ство „Задруга“). Сравнительно недавнему прошлому, 1880—1890 г.г., посвящены очерки „Из недавнего прошлого“ („Голос Минувшего“, № 1 и 2 за 1915 г.). в которых Е. Н. рассказывает о той поре тяжелой реакции, которую переживало русское общество при Александре III. Дурново, Делянов, прокурор Котляревский—вот главные персонажи этих очерков. Кроме того в № 12 „Гол. Мин.“ за 1915 г. ею был напечатан очерк „В. А. Слепцов (1836—1878)“.

¹⁾ О ее журнальной работе см. очерк „Житейские Невзгоды“ в № 1 „Гол. Мин.“ за 1923 г.

Таковы итоги продолжительной и многотрудной жизни Е. Н. Водовозовой-Семевской. Среди русских женщин второй половины XIX и начала XX вв., потрудившихся на ниве русской культуры, Е. Н.-не принадлежит одно из видных и почетных мест¹⁾.

Редакция.

II.

С Елизаветой Николаевной Семевской я был знаком без малого сорок лет, но не могу сказать, чтобы это знакомство было особенно тесным и чтобы, значит, я мог написать о ней так, как могли бы писать о ней более интимные ее друзья. Но я считаю необходимым, чтобы кончина Елизаветы Николаевны послужила поводом для появления в печати возможно большего числа сведений о ее жизни.

Это знакомство произошло в начале 1885 года, когда я переселился на жительство в Петербург. Тогда еще был жив первый муж Елизаветы Николаевны, известный в свое время учитель русской словесности Василий Иванович Водовозов, вскоре после того, впрочем, скончавшийся. Водовозовы жили тогда в доме № 11 по второй линии Васильевского Острова, занимая большую квартиру, где по вторникам вечером собиралось много народа. Водовозовские журфикссы были популярны в передовых кругах интеллигенции. Помню, кто то мне даже сказал, что это — одна из достопримечательностей Петербурга, с которой мне, только что приехавшему человеку, следует познакомиться. Мое знакомство с Водовозовыми произошло через В. И. Семевского, жившего в том же доме, в соседней квартире, но не имевшего своего хозяйства. Водовозовские вторники были и людны и шумны. Собирались на них и литераторы, и ученые, и педагоги, и учащаяся молодежь. Вероятно, с некоторыми лицами я и познакомился на этих вечерах, на которых сам время от времени бывал. Елизавета Николаевна, женщина в то время лет сорока, была очень любезной хозяйкой и всегда была окружена более близкими ей людьми, и я даже не помню, приходилось ли мне с нею разговаривать. Большое оживление вносило в эти вечера сам хозяин, несмотря на то, что это был уже старик лет шестидесяти. Это был человек, не лишенный остроумия, любивший шутить и даже дурачиться. В 1885 г. одною из тем, постоянно всплывавших в разговорах, был провал диссертации В. И. Семевского в Петербургском университете, главным виновником чего был проф. Бестужев-Рюмин²⁾ и я помню произносившиеся Водовозовым смехотворные по его адресу акафисты и пародии. Общий тон этих вечеров был оппозиционный, и на них хорошо отдыхалось от впечатлений от царившей тогда реакции. До известной степени журфикссы Водовозовых были салоном, где царила Елизавета Николаевна. Впоследствии

¹⁾ Двоих сыновей Е. Н. от первого брака получили значительную известность, как писатели и общественные деятели. Старший Василий Васильевич Водовозов, здравствующий доныне, известен работами по политическим вопросам, государственному праву и новейшей истории. Младший Николай Васильевич — один из первых русских с.-д. Особенно известна его работа „Экономические Этюды“. Он скончался 26 лет, в 1896 г.

²⁾ См. об этом „Голос Минувшего“ 1916 г. № 10 и 1917 № 9—10. Ред.

она имела несчастье оглохнуть, что лишило ее возможности принимать участие в общем разговоре.

Когда я познакомился с Водовозовыми, у них было два сына. Старшему, известному теперь писателю (Василию Васильевичу), было тогда лет двадцать, и он был студентом, младший Николай, умерший на двадцать шестом году, уже имея несколько печатных работ, был еще пятнадцатилетним мальчиком и гимназистом. Матери нередко приходилось переживать очень тревожные дни, когда ее сыновья подвергались преследованиям за неблагонадежность. Старший сын высыпался на пять лет в Архангельскую губернию, младший исключался из Петербургского университета и мог кончить курс только в Дерптском. Елизавете Николаевне то и дело предстояло хлопотать за того или другого сына у полицейских властей, или у учебного начальства. Неосоно, например, было легко получить старшему ее сыну отпуск из ссылки для сдачи государственного экзамена, а младшему быть принятим в другой университет. Но мать умела постоять за своих детей. Она ездила к министрам, попечителям, директорам департаментов, но являлась там не скромной просительницей, а настойчивым ходатаем за своих детей; она умела настаивать на том, чтобы ее хлопоты увенчались успехом. Говорили, что особенно боялся ее иатиска министр народного просвещения Делянов, да и Дурново в должности директора департамента полиции ей в конце-концов уступал. В последний раз ей пришлось играть такую же роль в 1905 году, когда В. И. Семевский был посажен после 9 января в Петропавловскую крепость.

Я не помню, когда прекратились модные журфикссы Елизаветы Николаевны и заменились более интимными воскресеньями, на которых собирались большою частью сотрудники „Русского Богатства“. Во всяком случае, и по выходе замуж за В. И. Семевского Елизавета Николаевна продолжала вращаться в литературном кругу. Время от времени, довольно, впрочем редко, раз в год, например, Семевские устраивали большие (человек на 20—25) обеды, на которых бывали Н. К. Михайловский, В. А. Мякотин и др., а в последние годы жизни своей всегда у Е. Н. и после того, как она овдовела и во второй раз, к ней постоянно приходил по воскресеньям обедать Г. А. Лопатин, остававшийся и на вечер. Одно такое воскресное собрание у Е. Н., уже после смерти ее второго мужа, особенно мне запомнилось: в этот день происходило на улицах Петербурга движение, скоро перешедшее в революцию.

Со вторым мужем Е. Н. я был близок. Мне часто приходилось с ним видеться по делам литературного фонда, Союза взаимопомощи русских писателей, комиссии по выработке „Программы чтения самообразования“, и я часто заходил к Василию Ивановичу. Это был период, когда журфикссы у Семевских не было, и тогда я очень редко видел Е. Н. Оба они были очень заняты, каждый в своем кабинете. Е. Н. постоянно работала, сама издавая свои сочинения, имея свой собственный книжный склад, вступая в сношения с книгопродавцами, земскими управами и пр. Незаменимой помощницей ее по этому складу и по домашнему хозяйству была жившая в доме более сорока лет Мария Александровна Шепельская, заботами

которой Е. Н. пользовалась до своей смерти и на руках которой она скончалась, так что и хоронить покойную пришлось этой самоотверженной спутнице ее жизни. Все бывавшие в доме не могли не знать и не уважать Марию Александровну (нужно в объяснение сказанного о похоронах Е. Н. прибавить, что ее сын в это время находился в Берлине).

После смерти В. И. Семевского я довольно часто стал заходить к Е. Н. по утрам, зная, как она скучает, но разговаривать с нею было очень трудно: без помощи слуховой трубы она ничего не могла слышать. В последние годы она ликвидировала всю свою обстановку и свою библиотеку и жила с Марией Александровной в двух проходных комнатах в квартире одной родственницы. В последний раз я ее видел за день или за два до ее смерти. Она была в постоянном забытьи, но тут как-то очнулась и с интересом спрашивала меня о том, что делается на белом свете. Никакого ослабления умственных способностей у нее вообще я не замечал. Это был человек полный жизни, интересовавшийся жизнью, и с нею приятно было беседовать даже при неудобстве, происходившем от ее глухоты.

Елизавета Николаевна была женщина умная, с большим здравым смыслом, умудренная опытом долгой жизни. Многие находили удовольствие в разговорах с этой старушкой, хотя казалось бы, ничего особенного в этих разговорах не было, и она, напротив, совсем не была охотницей что-либо рассказывать о прошлом, о котором, наоборот, очень интересно писала. Тяжело ей приходилось переживать последние годы. У нее остались внуки, дети ее сына Николая, но они жили всегда далеко от своей бабушки, в Москве, в Крыму. Одно время в ее доме воспитывалась, как родная дочь, одна сирота, племянница С. Н. Южакова по сестре его, каторжанке, но и та, вышедши замуж, уехала из Петербурга. Удалось было Е. Н. поселиться у сына, но последнему грозило немедленное выселение из занимавшейся им квартиры, и Е. Н. пришлось спешно искать себе другого жилища. Но она бодро переносила тягостно для нее сложившиеся условия жизни. Круг близких людей сократился: одни умирали, другие покидали Петербург, третьим мешали ее посещать всякие внешние обстоятельства. Невелико было и число лиц, отдавших ей последний долг. По желанию, высказанному ею, похороны ее были по старому, и прах ее был погребен на Смоленском кладбище рядом с могилой ее первого мужа и первого ее сына, умершего еще в раннем юношеском возрасте.

Повидимому, Елизавета Николаевна не подозревала, что конец так близок, хотя по временам и прихварывала. Превосходно сохранив свои душевые способности, телесно она давно одряхлела, по целым месяцам давно уже не выходила на воздух, сидела неподвижно. До оставления ею последней собственной квартиры на шестой линии Вас. Острова, я, часто проходя мимо этого дома, видел ее сидящую на стуле, приносившемся из квартиры, или на тротуаре, или на бульварчике, идущем вдоль этой улицы, но потом и такие прогулки прекратились.

Пришлось Е. Н. изведать и холод, и голод. Особенно тяжко было ей переносить, одно время, по состоянию здоровья, полное отсутствие пшеничного хлеба, и для нее было настоящим благодеянием, когда откуда-

нибудь издалека, например, из Сибири присыпались какие-нибудь съестные припасы. Но дух ее был бодр, а состояние зрения таким, что она могла попрежнему много читать, перечитывая по преимуществу старое. Не знаю, когда она написала свои последние воспоминания и осталось ли еще что-либо ненапечатанным из ее рукописей, но все это относится к прошлому. Кто нам рассказал бы ее интимные переживания последних лет?

Н. Кареев.

Профessor Александр Николаевич Савин.

(Студенческие воспоминания).

Это было давно, более 30 лет назад. В светлые и ясные сентябрьские дни 1891 г., только что поступив на первый курс историко-филологического факультета Московского университета, я старался разобраться в моих первых университетских впечатлениях и в тех новых товарищах, которых послала мне судьба. Нас было довольно много, более ста человек — число в то время необычное даже для первого курса нашего факультета. Среди новеньких форменных сюртуков, мелькавших в чистых и светлых, хотя и не очень удобно расположенных, „словесных“ аудиториях нового здания — большой и малой, — в которых мы слушали тогда лекции, мне в первые же дни бросились в глаза два моих товарища. Один — высокий, стройный, с курчавыми волосами, в очках, румяный, живой, с звонким голосом; другой среднего роста, немного сутулый, бледный, с характерным, необычного типа лицом, в котором прежде всего обращал внимание высокий открытый лоб; он тоже носил очки, и была сразу видна его сильная близорукость. Оба избрали одну и ту же специальность — всеобщую историю; обоим было суждено создать себе видное имя в русской науке; оба много для нее поработали; оба были украшением нашего курса. Обоих их больше нет. Первый был М. М. Хвостов, впоследствии талантливый специалист по древней истории, профессор Казанского университета, безжалостно и безвременно унесенный смертью в расцвете сил; второй — был А. Н. Савин — один из блестящих представителей плеяды историков мединевистов, созданной нашим незабываемым общим учителем П. Г. Виноградовым. И Александр Николаевич также вырван из передышки среди русских ученых; он угас также безвременно и еще более может быть неожиданно, чем его университетский и ученый товарищ. Он угас в расцвете могучего таланта, лишив историческую науку очень многого, что могло быть им высказано и написано, если бы жизнь его продолжалась доле.

В наше время студенты не всегда скоро сближались между собой. Сходились земляки, приезжавшие из провинции в Москву учиться, но я не знаю, был ли сдержанный и замкнутый А. Н. близок к своим землякам-калужанам. Что касается коренных москвичей, к которым принадлежал я, то, в первое время, мы по инерции держались наших старых гимназических товарищей и с новыми, университетскими, сближались медленно. Я не могу припомнить, когда именно я познакомился с А. Н. При-

веденные сейчас причины несколько отдалили этот момент от времени нашего поступления в университет, но знакомство наше во всяком случае началось еще на первом курсе, чтобы затем оборваться только его кончиной.

С первых дней личного знакомства меня поразили некоторые черты моего товарища и ровесника. Сразу был виден его уже тогда глубокий и сознательный интерес к исторической науке. Он внимательно слушал лекции, в особенности лекции П. Г. Виноградова по истории Греции и по истории Средних веков, (обязательных семинариев в то время на 1 курсе не было). Чувствовалось, что он подходит к делу с глубоким интересом и с сериозностью, необычной не только для среднего, но и для выдающегося студента. Если о ком, так именно о нем можно было уже на первом курсе сказать: из этого студента выйдет ученый историк, энтузиаст своего дела. Другим свойством А. Н., которое замечалось уже в ранние студенческие годы, была его сдержанность, переходившая в замкнутость. Он не искал популярности среди своих товарищей и едва ли интересовался их мнением о себе; он держался скорее особняком и многие его считали нелюдимом. Однако, непосредственное общение с ним, даже не очень близкое, всегда приводило к иным заключениям. Когда бы и с чем к нему ни обращались, он шел навстречу с такой вежливой и милой предупредительностью, с такой товарищеской приветливостью, что приходивший к нему немедленно подпадал под его тихое обаяние и убеждался, что перед ним был не нелюдим, чуждавшийся товарищей, а чуткий, полный внутреннего достоинства человек, которого сдерживала во внешних проявлениях врожденная застенчивость и постоянное недоверие к самому себе.

Обязательные семинарии начинались в наше время на 3-м курсе. Однако, когда мы перешли на 2-й курс, П. Г. Виноградов объявил необязательный семинарий по истории Греции, а на следующий год за ним последовал новый необязательный семинарий по средней истории. Мы все, или почти все, будущие студенты исторического отделения, увлеченные его лекциями еще на первом курсе, едва ли не в полном составе хлынули на этот семинарий и продолжали в нем занятия, когда от Греции П. Г. Виноградов перешел к средним векам. Самая необязательность этих семинариев возбуждала наше рвение и наш интерес. Компактной группой мы перешли и в третий семинарий П. Г. Виноградова, на 4-ом курсе; на этот раз это был семинарий обязательный, он был посвящен Афинской политии Аристотеля. Само собою разумеется, что А. Н. Савин был одним из самых ревностных и самых деятельных участников Виноградовских семинариев. Это была та настоящая серьезная историческая школа, которой он искал; она заскалила его; в ней он сформировался. Его работы были всегда из наиболее выдающихся, если не самыми выдающимися. Именно в эти годы он воспринял и усвоил себе тот критический осторожный подход к историческим первоисточникам, который ясно виден во всех его позднейших учченых трудах и который так подходил к его сдержанному, дисциплинированному, несколько скептическому и недоверчивому уму. Для его одно-

курсника и сотоварища по Виноградовским семинариям, М. М. Хвостова, решающее значение имели занятия по истории Греции; для А. Н., думается мне, такое значение получил семинарий по средним векам. Именно эта эпоха, составлявшая всегда специальный предмет занятий его учителя П. Г. Виноградова, увлекла А. Н. Работа по первоисточникам в области средневековой Англии сделалась областью, в которой А. Н. почерпнул темы для своих обеих диссертаций: „Английская деревня в эпоху Тюдоров“ (М. 1903 г.) и „Английская секуляризация“ (М. 1906 г.).

Впрочем, прежде чем окончательно остановиться на средневековой истории Англии, А. Н. Савин посвятил свою молодую научную энергию другому вопросу из истории средних веков. Когда мы были на 3-ем курсе, П. Г. Виноградов объявил медальную тему об Ассизах Иерусалимского королевства. Сочинение на золотую медаль было большим делом в старом университетском быту. Требования к такой работе были серьезные и для студента, мечтавшего посвятить себя ученой деятельности, это было очень хорошим средством проявить свою способность и свое умение подойти к историческому материалу. Мы скоро узнали, что А. Н. в числе тех, кто пишет на объявленную тему. Сознаюсь, что как только я узнал об этом, у меня не было ни малейшего сомнения, что никто лучше А. Н. не разработает вопроса, что сочинение выйдет прекрасным и что нет кандидата на золотую медаль достойнее А. Н. Савина. Конечно, так и случилось. Я думаю, что то, что думал я, думало и большинство наших товарищей, к тому времени отлично знавших, что может дать А. Н. Савин с его талантом и с его фанатическим интересом к исторической науке. Думается мне, что только беспредельная скромность А. Н. и его безграничная требовательность к самому себе были причиной, почему работа об Ассизах Иерусалимского королевства осталась в рукописи.

В эти годы хороший, деловой студенческой работы, когда закладывались основания его будущего научного облика, А. Н. оставался все тем же—тихим, скромным, сдержаным. Как раз в то время мне пришлось посещать его на его квартире. Он жил рядом с университетом, в Шереметевском переулке, в старом доме, ранее вероятно имевшем служебное назначение в огромном Шереметевском подворье. На месте его позднее вырос большой дом № 3. Довольно просторная комната была обмеблирована аскетически скромно; простая постель, несколько стульев, рабочий стол и множество книг, свидетельствовавших о напряженной научной работе юного студента. Эти посещения оставили во мне впечатление, будто я побывал в келье средневекового ученого монаха.

Когда мы были на 4 курсе, в нашей жизни произошло явление, которое оказало большое влияние на все наше дальнейшее ученое мировоззрение. Участники серьезных семинариев последнего года объединились в учебный кружок под руководством С. Н. Трубецкого и П. Н. Милюкова, тогда приват-доцентов, и П. Г. Виноградова, ставшего председателем кружка. Занятия кружка начались, помнится, в ноябре 1894 г. и продолжались до конца учебного года; они продолжались и в последующие годы, причем и мы, тогда уже окончившие курс, по прежнему принимали в них участие.

А. Н. сразу занял выдающееся положение в этом ученом кружке, объединившем профессоров и студентов; его доклады, его отдельные выступления обращали на себя внимание глубиною и уже отчетливой чеканкой научной мысли. По отношению к нему нас охватывало одно общее чувство: мы видели в нем настоящего ученого „божией милостью“; его дальнейшее призвание и назначение для нас всех было вполне ясным.

Наконец весной 1895 г. настал последний момент нашей студенческой жизни—экзамены в государственной испытательной комиссии. Комиссия 1895 г., возглавляемая казанским профессором Д. Ф. Беляевым, была вероятно самой трудной и неприятной из всех комиссий, действовавших при ист.—фил. факультете. Достаточно вспомнить, что из числа 49 человек приступивших к экзаменам, дошли до конца только 32, из которых первую степень получили не более 12 человек. На историческом отделении, наиболее многочисленном, по первой степени окончило 7—8 лиц. Несмотря на неприятные моменты, на требовательность и не слишком приятное отношение к нам председателя комиссии, это было все-таки светлое, живое время, время молодой борьбы за достижение цели—победоносно пройти через комиссионные препятствия. Как это обычно бывало, из нашей среды сама собой, никем специально не избранная и не уполномоченная, образовалась группа из 4 человек, которая вела всякие переговоры с председателем комиссии и с профессорами. Очень характерно, что А. Н. не вошел в нее. Всеми нами чтимый за его ученость и добрые товарищеские чувства, он нами рассматривался как человек не от мира сего, не практик. Мы и не подозревали, что четверть века спустя он будет отличным проектором родного университета. С ним советовались, спрашивали его мнение, но в деловые сношения нетягивали, как бы понимая, что ученейшего из наших товарищей не следует отвлекать от прямых занятий, от сдачи экзаменов, ведших его к определенной предначертанной ему дороге, ибо мы знали, что Савин уже во всяком случае будет оставлен при университете. Само собой разумеется, что из двух наших товарищей, которые получили высшую отметку по всем предметам,—один был А. Н.

Страдная пора закончилась дружеским товарищеским ужином при участии любимого нами П. Г. Виноградова. Для небольшой группы участников, в числе которых были А. Н. Савин, М. М. Хвостов и я, ужин завершился последним поклоном дорогой *alma mater*, с которой нам, впрочем, не суждено было расстаться навсегда: на рассвете, ранней июньской заре, мы дружно пропели, *“Gaudeamus”* у подножия памятника Ломоносову.

Таким восстает из дальних лет в моей памяти облик одного из крупнейших русских историков, профессора Александра Николаевича Савина, моего дорогого товарища и однокурсника. С самого начала созревший и готовый, чтобы начать свою ученую деятельность, он был как бы создан, чтобы быть настоящим ученым; в нем был соединено все для этого необходимое: большой талант, редкая энергия и особенно необходимый для историка ум,—в одно и тоже время глубоко критический и совершенно объективный. И как человек, он прошел перед нами в свои юные годы также почти готовым, отлитым в законченные формы. Неизменно добрый и благо-

желательный к людям, ровный, сдержанный, он на первый взгляд казался слишком замкнутым; на самом деле это был целомудренно застенчивый человек; он как бы не доверял своим громадным способностям и душевным силам, а сокровища своей души открывал только немногим близким, избранным людям.

Ю. Готье.

В дополнение к воспоминаниям Ю. В. Готье, сообщаем несколько биографических данных об А. Н. Савине.

Професор А. Н. Савин родился в 1873 г. в Полтавской губ. Среднее образование получил в Калужской гимназии, которую окончил в 1891 г. с золотой медалью. В 1895 г. он окончил курс на ист.-фил. факультете Московск. университета и был оставлен для подготовления к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории. После окончания магистерских экзаменов А. Н. Савин был командирован за границу. И первую и вторую командировку (в первые годы нового столетия) А. Н. Савин провел преимущественно в занятиях в Лондонском Record Office, дававших ему материалы для его обеих диссертаций (Английская деревня при Тюдорах. М. 1903 г. Английская секуляризация, М. 1906 г.). После защиты докторской диссертации весной 1907 г. А. Н. был избран на кафедру всеобщей истории в Московском университете, которую и занимал до своей кончины. С момента получения самостоятельной кафедры для А. Н. начался длинный и плодотворный период ученого-педагогической деятельности, выразившейся более чем в 15 отдельных, оригинально и самостоятельно разработанных курсах и в таком же примерно количестве углубленных исследовательских семинариев, в которых руководитель вел научную разработку изучаемых вопросов, направляя вместе с тем ученые занятия своих учеников. Ученые интересы А. Н. Савина, центром которых до конца жизни оставалась хозяйственная история Англии, постепенно, в течение его профессорской деятельности, от средних веков перемещались к новому времени. В последние годы он много занимался дипломатической историей Европы XIX столетия, что естественно подвело его к изучению вопроса о возникновении мировой войны 1914 г. Не менее понятен был интерес, который А. Н. Савин обнаружил к некоторым вопросам новейшей русской истории, которой посвящены несколько очень ценных этюдов, написанных в последние 2—3 года по архивным материалам. От общей дипломатической истории XIX в. А. Н. через войну подошел к дипломатической истории родной страны в эпоху, предшествовавшую мировой войне.

В конце ноября 1922 г. А. Н. Савин отправился в ученую командировку в Англию, намереваясь продолжать там свои ученые занятия в архивах. 29 января 1923 г. он скончался в Лондоне, унесенный в 4 дня злокачественной инфлюенцией.

В „Голосе Минувшего“ А. Н. Савин напечатал рецензию книги: Ernst Troelsch. „Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen“, 1913 г. кн. II, а также статью: „Воспоминания Бисмарка и переписка Шувалова с Гирсом“, 1922 г., кн I.

Оглавление

Стр.

1. А. А. Кизеветтер. Совестные суды при Екатерине II (окончание)	3
2. В. Гейман. Сумасшедший генерал-губернатор (быль)	35
3. П. Шванбах. Записка (1906 г.)	39
4. Ю. Кащин. В гейдельбергском университете	43
5. С. М. Уездный город 100 лет назад (из воспом. А. И. Ишимовой)	47
6. Н. В. Сивков. Донесения раба и холопа помещику Ром. у. Яросл. губ.	51
7. И. П. Белоконский. Отрывки из воспоминаний	59
8. П. А. Антонов. Автобиография (с предисл. В. Н. Фигнер)	77
9. Л. М. Клейнборт. В. Г. Короленко	97
10. В. Н. Фигнер. Студенческие годы	125
11. Г. А. Лопатин. Письмо о беседе с Энгельсом о России	146
12. Б. Е. Сыроечковский. Шесть писем декабриста И. И. Горбачевского	149
13. А. Н. Хвостов. Из воспоминаний	161
14. В. Чешихин-Ветринский. Письма И. А. Гончарова к В. П. Боткину	169
15. Памяти ушедших:	
Редакция. Е. Н. Водовоза-Семевская. Н. И. Кареев. Е. Н. Водовозова-Семевская. Ю. В. Гольте. А. Н. Савин	177
16. Мелочи прошлого:	
1) Стихотворение Г. А. Лопатина (34). Символический кабинет (49). К материалам для биографии М. А. Антоновича (58). Крестьянские мечтания о земле (124). Попытка арт. Сандуновой нанять дачу (176).	
17. Портрет Е. Н. Водовозовой-Семевской (1898 г.)	

Издатель: Кооперативное Т-во „Голос Минувшего“. Редактор: М. А. Цяловский.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

комплекты „Голоса Минувшего“ за 1914 г. и 1918 г.
и отдельные №№ за 1913—18 гг.

„ГОЛОС МИНУВШЕГО“ ЗА 1919 Г.

Книга первая
(посвященная истории литературы)

и книга вторая

(ВОСПОМИНАНИЯ и СТАТЬИ Л. Дейча, В. Н. Фигнер, В. М. Голицына, А. Ф. Кони, и др.).

„ГОЛОС МИНУВШЕГО“ ЗА 1920-21 Г.

(В одной книге).

(ВОСПОМИНАНИЯ и СТАТЬИ В. Г. Короленко, Р. Попова, Е. А. Шаховской, А. А. Кизеветтера, Н. И. Кареева, М. А. Цявловского и др.).

„ГОЛОС МИНУВШЕГО“ ЗА 1922 Г.

№ 1. ИЗ СОДЕРЖАНИЯ: Вл. Короленко—Земли, земли! В. Быстрицкий—Уходящее. А. Ф. Кони—Житейские встречи. В. Алексеев—Студ. кружок Аргиропуло и Зайчневского. А. Савин—Воспоминания Бисмарка и переписка Шувалова с Гирсом.

№ 2. ИЗ СОДЕРЖАНИЯ: В. Г. Короленко—Пугачевская легенда на Урале. Козьма Прутков—Военные афоризмы. Из переписки московских славянофилов. М. А. Цявловский—Пушкин и графиня Фикельмон. К 70-летию В. Н. Фигнер: ст. Федорова и Новорусского. Восп. В. Н. Фигнер. Письма Л. В. Дуббельта к Н. И. Гречу.

Цена отдельной кн. журнала 75 к. (зол.).

Склад издания: Москва, Кузнецкий Мост, 2, кн. маг. Центросоюза.

КНИГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ НАЛОЖ. ПЛАТЕЖОМ.

Год издания XI.

ЖУРНАЛ

ИСТОРИИ и ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ

ГОЛОС
МИНУВШЕГО

Программа журнала и состав сотрудников остаются без изменений.

Печатается № 3-й за 1923 год.

Имеется в продаже
№ 1-й за 1923 год

СОДЕРЖАНИЕ: Редакция: 1913—1923. Б. Е. Кетриц—К воспоминаниям о В. И. Семевском. Н. И. Кареев—В. И. Семевский и „Программы чтения для самообразования“. П. А. Кролоткин—Федерация, как путь к об'единению. М. А. Цявловский—Автограф стихотворения Пушкина „Кинжал“. В. Н. Фигнер—Студенческие годы. Е. Н. Водовозова-Семевская—Житейские невзгоды. П. С. Попов—Уцелевшие строки из переписки друзей (В. Соловьев и Л. М. Лопатин). К. В. Сивков—Жандарм-бытописатель. А. Е. Грузинский—Первый период работ над „Войной и миром“. И. И. Попов—Минувшее и пережитое. А. А. Кизеветтер—Совестные суды при Екатерине II. С. И. Демидова—Из воспоминаний. В. П. Быстровинин—Уходящее. Б. Д. Федоров—Из переписки В. Г. Короленко с Ф. Ф. Павленковым. С. П. Мельгунов—Встречи: II—П. Д. Боборыкин. И. Н. Розанов—Два письма Некрасова к Боткину. Систематический указатель содержания „Гол. Минувш.“ за десять лет (1913—1922 гг.). Мелочи прошлого. Портрет В. И. Семевского.

Цена 1 р. 60 к. (зол.).

Склад издания: Москва, Кузнецкий Мост, 2, ин. маг. Центросоюза.
МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ НАЛОЖ. ПЛАТЕЖОМ.

—○—

Адрес Редакции и Конторы: Москва, Гранатный, 2, кв. 31.